

КОНТИНЕНТ 20

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNETT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

...СССР является такой развитой индустриально страной, в которой сохраняется пролетариат в самом первообытном смысле этого слова. Положение миллионов граждан... можно было бы сравнить с положением крепостных уральских рабочих...

Юрий Орлов

...я счастлив, когда я ей аккомпанирую. И теперь ничуть не меньше, чем в первый раз. И счастье это творчества, сотворчества. Не стань я ее аккомпаниатором, и музыкальная моя биография сложилась бы по-другому.

Мстислав Ростропович

Восход Галины Вишневской был триумфальным. Она покорила слушателя сразу и навсегда. Двадцать пять лет назад певица переступила порог Большого театра, и с тех пор голос ее звучал в лучших оперных и концертных залах всех пяти континентов, завораживая нас своей необычайной силой и глубиной. В нашей стране она достигла всего, о чем может мечтать актриса: прима-солистка, профессор Москов-



ской консерватории, Народная артистка Советского Союза, кавалер ордена Ленина и так далее.

...она прежде всего поет для своей страны и своего народа, и никакие запреты не в состоянии заглушить ее голос, ибо это голос самой России.

Если бы в деталях описать всё, содеянное идеологическим аппаратом марксизма за годы советской истории, даже враги марксизма не поверили бы в правдивость этой картины... А для властей марксизм дает чудесный метод... для оправдания любой их пакости.

Александр Зиновьев

В этом накале острого неприятия советского «миропорядка» важна та техническая одаренность, которая действительно ведет художника к улучшению техники некоторых временных мастеров в трактовке отраженного света, полного подания любой их сознательных озарений.

Алексис Раннит



Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Ежи Гедройц · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Николаус Лобковиц · Михайло Михайлов
Эрнст Неизвестный · Андрей Сахаров
Виктор Спарре · Странник · Александра Толстая
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

- Англия Владимир Тельников
Wladimir Telnikov, 28 St Luke's Rd
London W 11
- Израиль Михаил Агурский
Michael Agoursky, P O B 7433,
Jerusalem, Israel
- Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia
- США Юрий Ольховский
George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W.
Washington D. C. 200 16, USA
- Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

К



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

20

Издательство «Континент»
1979

СОДЕРЖАНИЕ

Кубинские поэты — политзаключенные.	
В переводе Василия Бетаки	7
Феликс К а н д е л ь — Зона отдыха, или 15 суток на размышление	13
Алексей Ц в е т к о в — Новые стихи	89
Вячеслав С о р о к и н — Маленькие истории из цикла «Любимый человек»	94
СТИХИ	
Александр В е р н и к — ... Как ручей и листок	107
Константин К у з ь м и н с к и й — Вавилонская башня. Отрывки из поэмы	112
Даниил Н а д е ж д и н — Два стихотворения	118
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Игорь Е ф и м о в - М о с к о в и т — Политические выгоды нищеты	121
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Эдуард О г а н е с я н — Философия национализма	145
ЗАПАД — ВОСТОК	
Родольфо К в а д р е л л и — Двойная утопия	155
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
О положении заключенных в лагерях СССР	165
РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ	
Доминик М о р а в с к и й — Под знаком перелома	199
ФИЛОСОФИЯ	
Александр З и н о в ь е в — Заметки об идеологии	209
ИСТОРИЯ	
Борис П а р а м о н о в — Парадоксы и комплексы Александра Янова	231

ИСТОКИ	
Измаил А х м е д о в — Война	275
ИСКУССТВО	
Дора Р о м а д и н о в а — За порогом серебряного юбилея	301
Алексис Р а н н и т — Генрих Элинсон — художник сверхреальностей	333
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Памяти ушедших	
Арман М а л у м я н — И даже наши слезы...	337
Герман Ф а й н — Памяти Толи Якобсона	358
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	367
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
А. Г и м е й н — Нулевой час	369
Н. Г о р б а н е в с к а я — Поговорим о зверюшках, милые детки...	373
Л. А л е к с е е в а — Путеводитель по аду психиатрических тюрем	378
Сергей Ю р ь е н е н — Охота жить	383
В. К а р л и н с к и й — Наука вступает в партию	388
В. Р ы б а к о в — Костер для «новых философов»	392
Василий Б е т а к и — «Проба подняться из гроба»	397
В. И в е р н и — В конце века, в начале века...	402
КОРОТКО О КНИГАХ	407
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	421
НАША АНКЕТА	
Мстислав Р о с т р о п о в и ч о Галине Вишневской	433

КУБИНСКИЕ ПОЭТЫ — ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ

В переводах Василия Бетаки

Армандо В а л ь я д а р е с

ГОЛОСА МОИХ РЕШЕТОК

Рыжий ветер львиным рыком
будит вечер —
Волчьим воем отзываются решетки.
Безнадежно бесконечной
ночи пенье,
Бесноватые прожекторные
вскрики,
И колючей ржавой проволоки
скрипы,
И на вышках по углам
шаги сухие,
Да порой в ночи рычанье
пулеметов,
Сквозь которое не слышен
рыжий ветер...

* * *

Эй, что ты бродишь без дела
В чужом саду? Подойди-ка
Вот к этой черной решетке,
Которая рассекает
Мое лицо на квадраты,
Которая разрезает
Глаза мои на четвертушки...

Не прячься в фонарном свете —
И тебе ведь должно быть больно,
Ведь твоя — эта боль, эти тени,
Эта доля штыка и страха,
Догорающего, как лампа,
Которую я годами
Жгу, чтобы выполнить то, что должен
За себя, за тебя, за кого-то...
Подойди... Или... Или — хотя бы
Одолжи на часок твои ноги!

Эрнесто Диас Родригес

ВСЕ КАЖЕТСЯ ИГРОЙ

Когда

Исхудавшая осень
листок за листком бесшумно
снимает с горького леса.

Белки и обезьяны
пьют вино прокисших кокосов.

А небо — стальная мышца —
напряглось до того, что сочится
кровь на слонов молчаливых
на Западном побережье.

Кажется все — игрой,
когда в серебряных брызгах
взлетают лиловые рыбы
над прибрежными валунами.

Кажется все игрой,
Но —
там, где спутаны ветви,
земля к нашим пальцам тянется,
облизывается довольно,
заглотив свою порцию трупов...

СТРАХ

Вчера...
У ствола апельсина,
Где мы подолгу стояли
Не разжимая рук...
Вчера...
узловатые ветви
Со следами татуировки
Наши имена обнимали...
Вчера —
я искал тебя взглядом,
Глаза — в зеленеющих листьях,
А волосы — в листьях желтых...
Вчера
я так и заснул там,
от запаха воспоминаний...
Вчера,
увидав свои пальцы,
Искореженные, как ветви,
Я спросить у них побоялся —
А смогли бы они
сегодня
Тебя понять?

ТВОЙ ГРУСТНЫЙ ЛИК УХОДИТ ДЫМОМ

Твой грустный лик уходит дымом
В туман вечерний и стеклянный,
Осенний ветер
Пророчит зиму...

И у моей тоски есть имя —
О, как звучит оно знакомо!
И вечером поверить странно,
Что утром ты была — моя!
Еще моя!

...Миг без даты, место без имени.
Струйки дыма, пустые мгновенья.
Распилили на дни и часы меня.
Остается одно: возвращенье
В сон.

Как тонкая нить, музыкальны
Ветры с моря... Но нет в них твоей
той улыбки. Той самой. Прощальной,
Что меня пробрала до костей.

ТЮРЕМНОЕ

Прядильщик слов, осточертевший ветер,
Что будешь делать,
Когда мои слова иссякнут,
Иссохнут,
Когда останутся одни сухие кости?

Хлеб
Наш
Насущный
В молчаньи
Строгой мысли
все черствей от каждого рассвета.
Так иссыхает стимул жизни.
И это —
День
Наш
Насущный.

ВАЛЬЯДАРЕС Армандо — родился в Пинаре дель Рио (Куба) в 1937 году. Поэт и художник, католик, участник борьбы против режима Батисты, с самого начала встал в оппозицию к режиму Кастро. В 1960 году осужден на 30 лет тюремного заключения. Как и другие публикуемые нами поэты, Вальядарес в тюрьме вошел в число не принявших «план перевоспитания». За отказ от работы был подвергнут вместе с товарищами по заключению насильственной голодовке и на 49-й день лишения пищи был разбит параличом. Несмотря на протесты множества международных организаций, поэт, парализованный и оглохший, остается в тюрьме без всякой медицинской помощи. Состоявшийся в апреле 1979 года в Париже Первый конгресс кубинской диссидентской интеллигенции в изгнании заочно выбрал Вальядареса — символ кубинского сопротивления — своим почетным президентом. Стихи Вальядареса вышли в разных странах по-испански и в переводах на другие языки.

РОДРИГЕС Эрнесто Диас — родился в Кохимаре (Куба) в 1939 году в семье рыбаков. В 1968 году арестован за активную антикастровскую деятельность и осужден на 15 лет тюрьмы. В тюрьме был снова обвинен в заговоре против режима и осужден еще на 25 лет. (Всего — на 40!)

Стихи Родригеса, тайно вынесенные из тюрьмы, издаются за границей.

САЛЕС Мигель — родился в Гаване в 1951 году. Осужден в 16 лет за попытку бежать с Кубы. 5 лет просидел в тюрьме. Оказавшись на свободе, попытался вторично бежать на плоту, за что снова осужден на 25 лет. Стихи его — достояние кубинского самиздата (три сборника). В конце 1978 года освобожден по «кастровской амнистии», поселился в США. Активно участвует в защите кубинских политзаключенных.

v

ЗОНА ОТДЫХА,
или
15 СУТОК НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Было у тещи
Семеро зятьев...
Хомка сел,
И Пахомка сел,
И Гришка сел,
И Гаврюшка сел,
И Макарка сел,
И Захарка сел,
«Зятюшка Ванюшка,
Поди и ты сядь!»

(Русская народная песня)

Друзьям моим — призадуматься на бегу...

Друг мой!

Мой наивный, доверчивый друг!

Вот тебе мой совет.

Если ты, мой друг, веришь всем, а тебе не верит никто;

если ты, мой друг, любишь всех, а тебя не любит никто;

если ты, мой друг, распахиваешь себя каждому, но в ответ не распахивается никто;

если ты готов обнять весь мир, но мир не желает обнять тебя, —

в зону отдыха, мой друг, в зону отдыха!

Публикуемая часть представляет собой одну из двух чередующихся линий книги. Полностью «Зона отдыха, или 15 суток на размышление» вскоре выйдет в Израиле отдельным изданием.
— П р и м. р е д.

Друг мой!

Мой удивительный, неповторимый друг!

Вот тебе еще совет.

Если ты, мой друг, снисходишь порой до мира, но мир не желает снисходить до тебя;
если ты, мой друг, изрекаешь удивительные истины, но мир пропускает их мимо ушей;
если ты, мой друг, несешь миру свет, а мир зажмуривает в ответ глаза;
если ты давно уже согласен на всеобщее признание, а признание почему-то запаздывает, —
в зону отдыха, мой друг, в зону отдыха!

Друг мой!

Мой терпеливый, многострадальный друг!

Вот тебе последний совет.

Если ты устал, мой друг, или от тебя устали;
если ты, издергался, мой друг, или от тебя издергались;
если ты кидаешься на всех с кулаками или все кидаются на тебя;
если тебе не вмоготу больше с ними, а им не вмоготу с тобой, —
в зону отдыха, мой друг, в зону отдыха!

Дай поскорее руку: будем попутчиками!

Доверься мне: я знаю куда!

Ехать нам с тобой недолго, мой друг. Ехать нам с тобою — не соскучишься. Мы помчимся прочь — поскорее из этого города. По Дмитровскому шоссе. За кольцевую дорогу. Через поселок «Северный». Поворот направо, на табличку «Пансионат».

Только не торопись с выводами, мой друг! Не торопись, друг, с выводами!

И пейзаж будет поначалу не ахти какой, и строения убогие по сторонам, и горизонты не отпахнутые, и небо провисшее, и тоска пригнувшая, но обещанием, надеждой, слабым намеком на лучшее встанут у доро-

ги трафареты-утешения: «Зона отдыха Тимирязевского района», «Зона отдыха»...

Потерпи немного, мой друг! Самую потерпи малость!

Мы доедем до зеленой ограды. Мы свернем налево. Мы уткнемся в сплошной забор с будкой. Поворотная площадка. Тупик. Дальше ехать некуда.

А дальше нам и не надо.

Ты дома, мой друг! Ты здесь почти как дома!

Зона отдыха ждет тебя...

Заходи!

Вот тебе помои — умойся

Вот тебе онучи — утрися

Вот тебе лопата — помолися

Вот тебе кирпичик — подавися

Друг мой!

Мой бледный, взволнованный друг!

Что же ты встал на пороге? Что нерешительно топчешься на крыльце? Что боязливо оглядываешь непробиваемый забор-великан, толстые доски встык, без щелей, хмурые вышки по углам, бельма прожекторов?

Не обращай внимания, мой друг. Ведь это бутафория — и только. Разве ты не видишь, что забор обветшал, и доски потемнели от многолетней сырости, и на вышках никто не топчется с карабином через плечо, и прожектора давно уже ослепли от старости? Разве ты этого не видишь?

Смелее, мой друг, смелее!

Шаг за дверь, и ты в зоне отдыха...

Тут, конечно, свои правила. Тут — свои порядки. При входе отдыхающего обыскивают. Для его же, естественно, пользы. Прощупывают воротник и шапку, подкладку и обшлага. Вывертывают карманы, снимают ботинки с носками. Чтобы ничто не мешало твоему отдыху. Ничто и никто!

Часы у тебя заберут. Зачем тебе на отдыхе часы?
Счастливые часов не наблюдают.

Деньги у тебя тоже заберут. Все равно покупать нечего. Тут тебя и накормят, и напоят, и спать уложат.

И сигареты заберут. Курить вредно.

И газеты с книгами. Чтобы не портил зрение.

И ножи, булавки со скрепками: не дай Бог, обрежешься!

И записную книжку: тут нет телефонов.

И портрет любимой. Чтобы не тосковал.

И ремень брючный: зачем он тебе? Расслабься, мой друг, ты же на отдыхе.

На отдыхе, мой друг, ты на отдыхе...

И вот ты уже прошел через обыск. Через первый обыск в твоей жизни.

Вот ты уже вышел из караулки и стоишь ошеломленный, еще ощущая чужие руки на своем теле, неумело поддерживая спадающие брюки.

Что же тебя опять смутило?

Колючая проволока вкруговую, изнутри забора?

Барак — длинный, нелепый и приземистый?

Конвоир в форме за твоей спиной?

Делай шаг, мой друг, еще один шаг. И ты исчезнешь. Ты растворишься в толпе отдыхающих. Ты потеряешь вмиг неповторимую свою индивидуальность. Будто ее отобрали при обыске.

Прощай, мой друг!

Встретимся после отдыха.

Тогда и поговорим.

А теперь смело иди в барак. Иди туда, куда тебя поведут. Доверься провожатому в форме.

Здесь тебя уравниют в правах.

Здесь тебя освободят от всех забот.

Здесь тебя выслушают, поймут и оценят.

Здесь ты выслушаешь других.

Слушай, мой друг, слушай внимательно. Из ушей мат выковыривай.

БАРАК

Архитектура его проста.

Архитектура его предельно целесообразна.

Барак — это дом, из которого убрано все лишнее.

Барак — это строение, доведенное до простейшего абсурда.

Барак — это коридор. Коридор и комнаты по сторонам.

Ограничений по длине нет. Коридор может быть бесконечным. Только подстраивай да подстраивай.

Можно поставить барак-коротышку. Можно размахнуться широко, раздольно, от границы до границы. Чтобы на Западе жил белорус, к востоку русский, потом мордвин, чуваш, татарин, башкир, бурят, эвенк, якут и коряк... Можно проложить рельсы и пустить по коридору поезд.

Еще лучше сговориться всем миром и опоясать барак земной шар.

Через материки, острова и архипелаги. По рифам и сваям.

Не дом — дружба народов. С пограничными пергородками поперек коридора.

Совсем хорошо бы запустить барак в космос, на круговую орбиту. Чтобы обхватил снаружи землю Сатурновым кольцом, гигантским, нескончаемым строением, для окончательного решения жилищной проблемы.

Можно вообще ничего не делать. Ни строить, ни изобретать, ни запускать. Замерзнут — сами построят. Топор есть, гвозди купят, доски украдут — вот тебе и барак!

И время нынче другое, и с жильем побогаче, но на всяком новом месте первыми встают бараки. И стоят дольше всех. Нелепые видом, нелепые смыслом, нелепые содержанием.

Судьба каждого — книга ненаписанная, история нерассказанная, горе незамеченное.

О печаль душ наших, зеркало застойного времени!
О строение шаткое, недолгое, на века!

Рушатся блочные дома, трескаются без труда кирпичные, прахом осыпается благородный мрамор, а барак стоит вечно. Починить его — пара пустяков. Залатать — доска да горстка гвоздей. И живи дальше.

Только тазик подставляй под потолочную капель. Да к углам промерзшим не прикасайся. Да плесень со стен соскребай...

В зоне отдыха тоже барак.

Длинный, косоватый, несуразный видом своим. Один вход сбоку, два спереди, окна прорезаны неравномерно, крылечки разные: видно, достраивали его как попало, когда не хватало места.

Внутри барака — коридор. Коридор и камеры по сторонам. И столовая посередке. И еще медпункт. И карцер с туалетом. И комнаты для начальства. Вот и всё.

А вокруг — березки рядами, в окна засматривают, с шумной листвой, со стволами нежно светлыми, с голубыми воркующими, с капелью звонкой, со снегом искристым... Потому и название: пансионат «Березка». Отдыхай — не хочу!

Говорят, жили тут военнопленные. Потом была женская тюрьма. Что будет дальше — неизвестно. Прошрое его удивительно, настоящее замечательно, будущее не поддается самым смелым прогнозам. Ибо барак этот, безусловно, переживет столетия и явит еще себя в истории.

Теперь тут живут мелкие хулиганы. Пьяницы, скандалисты, матерщинники, случайный люд. Кто приходит в барак на десять суток, а кто и на пятнадцать. И таких тут — человек триста, триста пятьдесят.

За месяц — до восьмисот.

За год — тысяч до десяти.

За десять последних лет прошло через него тысячу сто москвичей.

А за двадцать!..

И каждый оставляет тут след свой, запах и пот, кашель и стон, сип и хрип, кусок жизни и крупицу здоровья, крохи надежд, страха и иллюзий.

Барак работает круглый год, без выходных, отпусков и праздников. Каждый день, к вечеру, завозят сюда новую партию. Пока их осудят, да пока соберут по городу, да помоют в бане, да прожарят в вошебойке, да привезут на место — время к ужину.

Здравствуй, пансионат «Березка»!

Наше вам с кисточкой!

Пожалуйста в камеру!..

КАМЕРА

Камера — это помещение, в котором сидят заключенные. Вернее, не сидят, а лежат. «Сидят» — это только так говорится, потому что на самом деле сидеть там негде да и незачем. Стоять — тоже. Ходить — тем более. Камера предназначена только для лежания. По функции это гроб. По размерам — тоже.

Слева от двери — нары в два этажа. Справа от двери — тоже нары и тоже в два этажа. В стене напротив — кособокое, щелястое оконце с решеткой и с мелкой форточкой.

Пустое пространство между нарами коротко. Три метра. От двери до стены — те же три. Хошь стой, хошь танцуй, хошь гуляй — что хошь!

Нары деревянные, с деревянными подголовниками. Покрашены масляной краской в густой коричневый цвет. И стены. И пол. И батареи. И трубы к ним. Все коричневое, мрачное, глухо безжизненное. Хоть садись на пол и волком с тоски вой...

Дверь тоже коричневая. В двери — «кормушка», откидывающееся окошко. В «кормушке» — глазок.

Что еще? Инструкция в рамочке — по содержанию мелких хулиганов. Распорядок дня, по которому не живут. Громкоговоритель, вечно молчащий. Две лампы под потолком, вечно слепящие. Ящик с ячейками для мыла и полотенец. Ведро с водой — отхаркаться.

Камера эта мала — не разгуляешься. В камере этой и вдесятером тесно.

Сидит в ней всегда 30 человек, 30 человек на двадцати квадратных метрах.

Порой — 35.

28 на нарах, остальные на полу...

Грязь. Теснота. Окурки грудой под нарами. Пепел за подголовниками. Штукатурка пылью с потолка. Вонючие полотенца в ячейках. Вонючие носки. Вонючее белье. Липкие стекла. Лужи на подоконнике. Пыль на батареях. Вонь, круто замешанная на всех нечистотах сразу.

Четырьмя правилами арифметики несложно определить, сколько воздуха приходится на одного человека. А приходится его — по два кубических метра. Если его, конечно, можно назвать воздухом.

Что это такое — два кубических метра?

А вот что: ящик длиной в два метра, шириной в метр и высотой тоже в метр.

Чуть побольше хорошего гроба.

Переночуйте, если сумеете...

НОЧЬ

В гробу хоть не курят.

В гробу не сморкаются, не кашляют, не пыхтят, не кричат, не харкают, не портят воздух от некачественной пищи. А тут — непрерывно, из разных мест:

стрёкотом, залпами, пулеметной дробью, змеиным шипом и редкими, мощными взрывами...

К ночи на пол укладывают «вертолеты» — пляжные лежаки. Парно, головами друг к другу, ногами на нижние нары. И пар таких — три, а то и четыре. Ночью через них перешагивают. Через ноги, головы, туловища — только не наступить!

Семь на одной наре — это боком, вплотную, носом к носу, затылком к затылку, впритирку потными голыми спинами. Чихают в лицо друг другу, кашляют, дышат и сморкаются: заболел один — заболеют все, по цепочке.

Спят на голых досках, голова тоже на деревяшке. У кого что есть, тот то и подстилает. Пальто под себя, шапку под голову. Летом попадают сюда без пальто, без пиджака и свитера: вертятся всю ночь на жестких нарах, мозоли натирают на костях, головой елозят по дереву. За пятнадцать дней стирается на досках пальто, брюки, рубашка. Если попал сюда прямо из гостей, из театра или с праздника — конец хорошему костюму. В нем тебе тут работать, в нем и спать, в нем и туалет мыть.

Условия в камере разные. На разных уровнях разные климатические пояса.

Этим, на полу, холодно. Задувает остренький сквознячок из-под двери, тянет морозом из форточки. Закутываются как могут и во что могут. А во что они могут, когда нет ничего? Переночевал на полу — простуда обеспечена.

На нижних нарах — терпимо. Нижние нары — самые лучшие в камере. Голова и грудь — в жаре-духоте, ноги торчат наружу, в сквозняке-холоде. Сложи вместе, раздели пополам — жить можно. И потому на нижних нарах снимают рубашки с майками, накидывают на ноги. Им можно только позавидовать!

На верхних нарах, под потолком — влажные тропики. Воздуха нет, духота адовая. Бока болят. Лампы

в глаза светят. Сердце подступает к горлу. Тяжесть и удушье. В какой-то момент кажется, что из этой душегубки никогда не выйдешь. Мечутся на голых досках: раздетые, грязные, потные, очумелые — под низко провисшим потолком. Многие не спят совсем. Особенно те, кто постарше. Сидят всю ночь, скорчившись, кашляют, сморкаются, дышат загнанно, со всхлипами, курят тайком, в кулак, потому что курить запрещено по правилам. Выйти в коридор нельзя, подойти к форточке невозможно. На полу нет места для прогулок, на полу и ногу-то поставить негде — везде лежат. Отупелые, раздавленные, распластанные — забываются к подъему тяжелым, мучительным сном-обмороком.

И при этом: вечная борьба из-за форточки. Самые нижние ее захлопывают: им дует. Верхние открывают: им не вздохнуть. Средние — то так, то этак. Когда форточка открыта, белесый факел рвется в камеру, факел водяных испарений от морозного воздуха. Мелкая капель оседает на стенах, на потолке. Влаги в камере много, влагу приносят с собой с улицы. После дождя или снега все сохнет тут же — пальто, обувь, — влага остается в камере.

Утром на легких как вуаль накинута. От дыма, от сырости, от пепла и грязи. Не продохнешь. Не прокашляешь. Царапает горло, щекочет гортань, продурует сухостью и раздражением, выворачивает легкие наизнанку. После пятнадцати ночевок в гробу кашель обеспечен на недели вперед. И если бы один только кашель!

В шесть утра — долгожданный подъем.

Кому рано, а кому — радость!

Вырваться из камеры, глотнуть упоительно вкусный, застоялый коридорный воздух, в котором та же вонь, но пожиже...

После ночи все мятые, патлатые, лица жеваные, в складках, круги черные под глазами. Не люди — при-

зраки: в драных одеждах, дурно пахнувшие, невнятно матерящиеся, толпой спешащие к единой цели. Бегом. Отпихивая отстающих. Протискиваясь в заветную дверь.

Куда это?

А туда. Куда же еще?

В столовую...

ЕДА

В столовую бегут, как на пожар.

Прибегают, хватают миски, ложки, хлеб: вдруг не достанется! Толкотня у столов, как толкотня вокзальная. Вон, на железной дороге: все с билетами, каждый на свое место, а бегут при посадке, давятся, дерутся у вагона, на проводника робко взглядывают: пустит ли? Так и тут: хлеб меряный, порции считающие, по головам, а все равно боязно: хватит ли?

Едят быстро, сосредоточенно, носом в миску, локтями наизготовку, будто сейчас отнимут. А командиры ходят по проходу, подгоняют, покрикивают, чтобы скорей запереть обратно в камеру. Так оно им спокойнее...

Еда эта чудовищна.

Еда эта оскорбительна.

Еда эта не для человеческого потребления.

Еду эту привозят в термосах из Бутырской тюрьмы.

У нее есть запах, у нее есть вкус, у нее есть цвет, но все это имеет мало общего с представлениями, которые возникают у человека при слове «еда», «пища», «завтрак» или «обед».

Сколько лет упорного безразличия надо потратить, сколько надо забыть и заглушить в себе, как ненавидеть труд свой и людей, чтобы придумать и сварить подобное!

Жиденькая кашица на воде: дрожащий сероватый клейстер, размазанный по сальной алюминиевой миске, со слипшимися катышками непроваренного зерна.

«Солянка по-бутырски» из размочаленной капусты со свеклой: пресная, безвкусная, красноватого оттенка, безотказно отправляющая в туалет новые толпы.

«Рыбкин суп» — густой отвар из переваренных костей и хвостов мелких рыбешек: соленый, едкий, затхлый — пища для неприхотливых свиней.

Суп перловый, чуть тепленький, совсем без гущи, будто пропущенный через ситечко: крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой.

Много воды в гигантской металлической посудине, горячей, чуть желтенькой на просвет, будто ополоснули в ней стаканы с опивками. На посудине написано «ЧАЙ».

Пару раз в неделю выдают на ужин водянистое пюре из промятой сладковатой картошки и по четыре кильки впридачу. После килек всю ночь камера помирает от жажды. А воды в камере нет. Вода только в ведре, куда плюют.

В день отпускается на еду по 37 копеек на брата.

На такие деньги, конечно, не разгуляешься.

Голодно на такие деньги. И порции больно уж крохотные.

На еду в столовой уходит три минуты. От силы пять.

После еды — дружно куда?

После еды дружно туда — в туалет...

ТУАЛЕТ

Туалет — дело не простое.

Туалет — дело государственное.

Не когда ты хочешь, а когда разрешают.

Не когда подопрет, а когда выпустят.

Камеру открывают ночью через каждые два часа. Проспал — жди. Не проспал — беги, пока пускают. Даже если не хочется.

Бегут многие. Бегут почти все. Не от необходимости порой, а от страха, что подопрет тебя не вовремя, когда камера закрыта. И потому ночь выходит рваная, пуганая, дерганая. Открыли — и беги! Закрыли — спи! Беги — спи, беги — спи, беги — спи...

И все равно кто-то не рассчитает, или холодом проберет, или организм посвоевольничает: вот он и прыгает у двери, зажимается, трется коленками, стучит робко, призывая дежурного:

— Командир, пусти...

А командир еще и подумает. Командир и подойдет-то нескоро. Смотри какой командир! Ему чего? Ему не хочется.

— Жди, — скажет.

И будешь ждать.

— Со всеми надо было.

И не возразишь.

Или:

— А ну, бегом!

Ему, командиру, двадцать, тебе, камернику, шестьдесят:

— Голубчик, смилостивился...

И бегом по коридору, на ходу расстегивая пуговицы, распутывая лохматую веревочку на поясе. А они не расстегиваются, проклятые, а она не распутывается, подлая, а у стариков свои отношения с туалетом, долгие и затрудненные, старики никак не попадут в установленные законом сроки.

И потому робко, подобострастно, с застарелой российской боязнью должностных лиц:

— Командир, пусти... А, командир?

А если не пустят, не разрываться же...

Если не пустят, становись ногами на батарею, делай малые дела в форточку. Страшно тебе и безза-

щитно, стыдно и унизительно, а чтобы не журчало — направляй струю на стекло, стекать будет бесшумно. И оттого форточка — в вечной моче... И запах в камеру почище, чем из камеры... И снег под окном желтый, голуби по нему не гуляют, брезгают...

С большими делами, конечно, хуже.

С большими делами через форточку не управиться.

В бараке — 300 человек. Под завязку — 350.

На всё про всё — один туалет. Четыре очка да четыре писсуара.

Очки вечно забиты — диаметры труб не справляются с эдакой прорвой, смывная вода не в силах столкнуть громоздкую тяжесть.

Писсуары вечно засорены: зловонная жижа стекает по стенам и хлюпает на полу, под ногами. Отсюда ее разносят на подошвах по коридору, по камерам, в столовую.

Толпа гудит в туалете, густая, нетерпеливая толпа. Один сидит на корточках — пятеро ждут, потопрапливают. Один стоит у писсуара — еще пятеро подталкивают в спину.

Не у всякого и получится, когда зрители стоят над душой, наблюдают и советуют. Не всякий и сумеет, когда дышат ему в затылок, уже изготавившись для малого дела...

О туалеты наши! Городские и сельские, уличные и станционные, ресторанные и вокзальные, большие и малые, тесные и убогие, омерзительные и не очень, со служителями и без! Одни избегают вас, с содроганием вспоминая редкие свои посещения. Другие терпелись, свыклись с неизбежным, стремясь укоротить неприятные свидания. А третьим уже все равно, еще все равно, всегда все равно. О туалеты наши! Примета быта нашего, равнодушия, терпеливости, безразличия и некультурья! Вдуматься бы, понять бы, отчего вы такие, отчего мы такие, отчего все та-

кое... Но не болят этим наши головы. Болят наши животы...

Здесь, в бараке, нет выбора.

Хочешь — не хочешь, а надо идти.

350 человек — и один туалет.

В нем не засидишься.

А порой хочется.

И как еще хочется!

Помереть можно...

КТО ЕСТЬ КТО

или

КОГО ЗА ЧТО

Токарь, шофер, журналист, сапожник, директор столовой, начальник строительного участка, мясник с рынка, слесарь, дворник, еще токарь, пенсионер, художник, старший инженер, повар, каменщик, три официанта, врач, телефонист, вор-профессионал, еврей-музыкант, еще шофер, продавец мебели, расточник шестого разряда, студент, воришка-любитель, цеховой мастер, инженер-программист, грузчик, про-раб, садовник, истопник, реставратор, мастер по наладке — и прочее, и прочее, и прочее, и прочее...

Вова-наркоман: парень лет восемнадцати, наркоман с двенадцати. «Кто тебя приучил?» — «Да ребята, кто еще...» Лечился не раз, в дурдоме сидел, в тихом и в буйном. Работает на обувной фабрике, делает модельную обувь, когда удается — перекидывает через забор готовую продукцию, продает дешевле магазинного. Толстый, рыхлый, женоподобный, со свисающей жирной грудью. Волосы длинные, сальные, путаные. Глаза пустые, зрачки расширенные — боязно взглянуть. Серые брюки на заду в обтяжку, рубашка короткая, выше пупа. Под рубашкой розовые

пороссячи складки. Спал мало, ел без аппетита, будто томился все время. После ужина забирался на нару, обхватывал колени руками, слушал чужие рассказы. Сначала с интересом, потом равнодушно, потом перебирался на другую нару, к другим рассказчикам. Сам говорил редко, вяло, без оживления, тусклым, ровным голосом. Как ограбил с пацанами ларек на улице, взяли товару на шестьдесят рублей — шоколадом да папиросами, а сказали на них — девятьсот. Получил два года, отсидел по малолетству полтора. Как поймали беременную кошку, бритвой разрезали ей живот, ухохатывались на копошащихся, не родившихся еще котят. Как подвесили за хвост матерого кота, били его железными прутьями, переломали все кости, устали — нет сил, а ему, заразе, хоть бы что: висит, мяучит. Как наглатывался всяких лекарств, накуривался, нанюхивался, накалывался, дурел потом, балдел, видел галлюцинации — «глюки». «Иду в метро, в толпе, а нога вдруг выросла, длинная-предлинная, и пошла себе вперед, змеей петляет меж людей. Я еще внизу, а она воон где едет, на эскалаторе...» Как женился с месяц назад, очень удачно: теща на красильной фабрике работает, таскает оттуда спирт канистрами... В конце срока не хотел домой уходить: «Тут хорошо, весело, ребята все свои. Чего дома делать? Работать?» — «Дурак, у тебя жена молодая, ждет, небось». — «Да пошла она...» Глаза пустые, зрачки расширенные — боязно взглянуть...

Старший инженер: маленький, усатый, тараканистый, мелкозубый, узкоплечий и востроносый, с длинными гребучими руками. С уважением к себе, с достоинством, важный до идиотизма, приобщенный к тайнам-секретам государственным, к КГБ, МВД и Министерству обороны. Говорил строго, значительно, будто знал то, чего никто не знает, с общей массой не смешивался: больно уж она мелка для него, общая

масса. Всех знает, всё видел, везде побывал. Самолетами облетал весь Союз с таинственным спецоборудованием. Вездеходами пробивался сквозь тайгу. Спецмашинами кружил по городам. Ответственные задания, нулевая секретность, интересы государственные, происки сверхдержав. Очень он действовал на простодушных новичков и потому подходил первым, заводил разговоры, намекал на свою невероятную осведомленность, сообщал, что держит в страхе всю охрану барака. «Мне только свистнуть: прибегут мои мальчишки, наведут тут порядок...» Усатая губа беспокойно шевелилась под востреньким носиком, мелкого размера голова задиралась подбородком кверху. Пару раз его посылали подальше, материли за чванство по-черному, и тогда он затихал на наре, терпел вечерок, а там, глядишь, прорезался, задрезжал с важностью: про секреты, про спецмашины, про генералов, с которыми знаком лично, вась-вась. Одна была неувязка: как же он, такой важный, а влип-таки на пятнадцать суток? Чего ж генералы не защитили? «Просить не хотелось. Время у них отнимать. А так — только свистнуть...» Был он человек мелкий, пустой, никудышный, вовсе бы недостойный упоминания, кабы не одно обстоятельство: ругал Брежнева. Его одного. Изошренно и с наслаждением. Что тот ему сделал, чем навредил лично, где дорогу перебежал — неизвестно. Валялся на жесткой наре и клял на всю камеру. Жрал пойло свиное и оплевывал. Сидел на вонючем толчке и материл почем зря на весь сортир. Но никто ему не поддакивал. Никто не встревал. И хоть ругал он, видимо, от души, а ощущение было — провоцировал... Ушел старший инженер в свой срок, сообщил напоследок, между прочим, что пришлют за ним черную «Волгу», с адъютантом. При всеобщей засекреченности, при склонности всеобщей к тайнам, сколько расплодилось таких идиотов, гордых своей приобщенностью, скрывающих за секретностью безделие свое и бездарность,

тупость и фанфаронство! Носик вздернут, усики торчком, в глазах важность до идиотизма... «Мудак», — подытожила камера. И сразу о нем позабыла...

Колька-садовник, лет 25-27: косой, слюнявый, косязычный, в грязной коросте, с объединенными до костей ногтями. Зубы черные, порченые. Штаны тренировочные — мотней до колен. На задку дыра, гвоздем продранная. Истлевшие носки закручивались на черных пятках закорузлыми спиралями. Рассказывал, как кончил техникум, пришел в оранжерею, а там — зелень чахлая, цветочки дохлые, земля пересохшая: всем до лампочки. Он прихватился, он заработал без халтуры, по науке, выгнал зимой гладиолусы с тюльпанами: все ахнули! Дурак был, молодой, вкалывал всю: первая поливка в шесть утра, последняя — к ночи. «Молодец, — сказал директор и глазами подморгнул, двумя сразу. — Вези в магазин, сдавай». Он срезал, он и повез: цветок к цветку, бутон к бутону. А там баба сидит, у бабы глаз тертый: «Приму третьим сортом, продам первым. Разницу пополам. Идет?» — «Идет». Она ему — шестьсот рублей. Сразу! Он обалдел — и в загул. Неделю гудел: опух, посинел, пришел в оранжерею — его уволили. Директор в обиде: не поделился, подлец! Мест сменил потом много, работал везде помалу. Всюду крал, всюду попадался, и гнали его по-тихому, без шума. С шумом гнать — внимание привлекать. С шумом — самим дороже станет. Работает теперь грузчиком на базе цветмета, до десятки в день выколачивает. «Если ба кто болванки покупал, я ба всю эту базу пропил». Разговоры у него одни: где бы что украсть да как бы все пропить. Тихий и беззлобный, на чужую ругань необидчивый, заводился от одной только темы: где достать выпить, когда достать негде. Вспыхивали по этому поводу жаркие споры в камере, назывались верные средства — политура, одеколон, чесночная настойка, зубная паста,

клей БФ, шампунь для волос, стиральный порошок и многое-многое другое, от чего человек немедленно и надолго балдеет. Упоминалось на много голосов райское Эльдorado, приют для страждущих, некая подмосковная станция Косино, а на ней магазин, где торгуют водкой с восьми, а не с одиннадцати, как везде. Колька-садовник кричал громче всех, мятые, полупонятные слова вылетали наружу вместе со слюной. Кончалась тема — он тут же терял интерес, заваливался спать на нару: наружу торчали закорузные носки на черных пятках. Как-то признался под настроение, что есть у него соседка, баба годов под сорок, одинокая, с пацаном: замуж за него просится. Баба с деньгой, буфетчица: с такой жить будешь богато, не просяхая, с вечной бутылкой на столе. Послал ее подальше, суку старую, вот она и мстит: пока спит с ней, все нормально, накормит и постирает, как не хочет спать — тут же царапает себе лицо, звонит в милицию, визжит, что дерется: ей вера. «Выселит она тебя, Колька!» — «Ну и выселит... Мне один хрен. Водка везде есть». Что ни день, возвращался с работы тепленький, перехватив по случаю пару стаканов, дрых потом до утра. Утром, на плодоовощной базе, первым делом воровал яблоки, апельсины, бананы — что попадется, — перемахивал шустро через забор, бежал к ближайшему магазину. «Когда выпить охота, я что хошь сделаю!» А охота ему — всегда. Вставал у прилавка, товар в пакетах отборный, цены пониженные: расхватывали ворованное в полминуты. Все быстро, в момент: украсть, продать, пропить, пока не отняли, — и на нару, и до утра. Это он сказал: «Мне один хрен: что тут валяться, что дома. Выпил, пожрал — и спать». И он же: «Я до двенадцати лет умным был. А теперь все глупею и глупею. Дураком, видно, помру». И опять же он: «Помирать станешь — без бутылки и вспомнить нечего...»

Начальник строительного участка: белое, мучное лицо, светлые, рассыпчатые волосы, быстрые, как в панике, глаза за толстыми линзами — никак взгляд не перехватишь. Весь в страхе, в смятении от случившегося. Жена осталась дома: не иначе, гуляет без него. Руководство осердится: из начальников в простые прорабы переведет. Разговоры в камере опасные, сердце заходится: про Сталина с Брежневым. «Мужики! — орал. — Кончай треп! Мы же не политические. Мы — мелкие хулиганы!» И шмыг под нару, головой под пиджак... Бояться-то он боялся, переживать-то переживал, а вот с пола на нару не в очередь перебрался, а пораньше, да и сигареты курил тайком, с другими не делился. Сперва у чужих настреляет, а как кончатся — принимался за свои... Первый день не смешивался с народом, жил отдельно, в пальто и шляпе, даже на «вертолете» спал в галстук: строго и официально. Потом пообвык, ходил в грязной белой рубашке, рукава закатаны. Потом анекдоты без страха слушал. Потом и сам рискнул... Посадила его жена. Посадила, чтобы праздник с хахалем провести. Позвонила в милицию, вызвала наряд, наговорила Бог знает чего — они и забрали его у телевизора, тепленького, пьяненького, в мягких домашних тапочках. Первое время стervenел, зубами скрипел, зверем метался по камере, на стены лез от ревности. «Разведусь, мать ее перемать! Будет знать, как мужа в тюрьму сажать!» Потом поостыл: «Куда я денусь? Все равно ворочусь на тот же диван. Спина к спине». И перед выходом, уже мирно: «Она, верно, четвертиночку приготовила. Со свиданьем...» И так не он один. Так они все, женами посаженные. А таких в бараке — процентов шестьдесят, а то и все семьдесят. Жена хочет отдохнуть от пьянчуги и матерщинника. Жена хочет отомстить. У жены корысть: комнату отобрать. Или просто под горячую руку. Заявление в милицию и две подписи: жена и дочь, жена и теща, жена и соседка... И не отвер-

тишься. Не открутишься. Не отговоришься... Тень Павлика Морозова витает над нашими семьями. Тень Павлика Морозова, канонизированного стукача, незабвенной памяти домашнего осведомителя, осеняет наш священный семейный очаг. Сеет рознь и недоверие к близким, развращает безнаказанными возможностями, натравливает и поощряет. Вроде бы все правильно, все средства хороши в борьбе с пьянством, но если наши жены приучатся нас сажать, что же тогда ждать от посторонних? И, борясь с пьянством, не насаждаем ли мы предательство? И вместо женской гордости не прививаем ли мы всеобщую подлость? И, сажая мужей на глазах у детей наших, не готовим ли мы новых Павликов? Замкнутый круг, граждане товарищи! Вся наша жизнь — замкнутый круг... Это он сказал, начальник строительного участка: «Больно много власти бабе дали. Раньше стукнул кулаком — жену ветром сдуло. Теперь стукнул — тебя сдуло...» Это им всем сказал сержант-караульщик: «Дураки вы, вот и сидите. Пишите на жен жалобы, и они сядут...»

Вор-профессионал: худой, ладный, тонкий и сутулый, как стальная пластина согнутая. Лет тридцать, не больше, роста невысокого, шага неслышного, силы невидной, но страшной взрывной мощи, упрямой до случая: не дай Бог, пластина разогнется! Ловкий и увилистый, по-кошачьи подбористый: такого можно связать и бить, а он расслабится — и не больно. В ковбойке, в черных брюках с бечевкой на поясе: щеголевато и по фигуре, будто портным пригнано. После тюрьмы живет у матери, под надзором милиции. С шести вечера должен быть дома, с восьми утра — на работе. Милиция не застанет — предупреждение. Еще не застанет — вышлют из Москвы. Попал на сутки просто и бесхитростно. Стоял у ларька, пил пиво. Подошел участковый, сказал: «Иди домой». Время на часах — шесть без четверти. Он ему резонно: «А по-

шел бы ты...» И обозначил направление. Участковый взъелся: «Ты чего мне тыкаешь?» — «Извините, — поправился, — а пошли бы вы...» И послал в то же место. Дальше — простая технология: отделение — протокол — суд — барак. Мотался по камере часами, взад-вперед, молча, вдумчиво, голова книзу, будто вслушивался в себя, будто мысль обдумывал, будто цель имел — додуматься. В разговоры не влезал, только слушал, и по лицу было заметно, что ему нравится, а что нет. Его не задевали попусту, перед ним чуть заискивали. Кто хотел поговорить, пристраивался рядом, шагал с ним от стены к стене, вполоборота, и отставал сконфуженный, чувствуя явную свою ненадобность. Была у него многолетняя лагерная выучка: сигарету передать — не уследишь, через шмон пронести — не найдешь. Много спал, впрок, про запас: во сне срок быстрее идет. Исчезал вдруг надолго, в тени под верхней нарой, тихо, молчком, как не было. Раз сказал оттуда, из-под нары, оборвав пустой непрофессиональный треп: «Квартиру взять не трудно. Главное — подготовить заранее. Кто живет. Какие привычки. Распорядок дня. Переписку изучить. Какие у них родственники. Откуда. Как звать. В нужный момент посылаешь телеграмму: «Встречайте. Целую. Зина». Пока они по вокзалу бегают, поезда оглядывают — ты квартиру берешь». Когда заговаривали о политике, он оживлялся, ускорял бег по камере, кидал в ответ реплики. Без боязни и без бравады, всем и никому, продуманно и осмысленно. «У нас в стране нет политических. С высшим образованием — все сумасшедшие. Без высшего — хулиганы». Или: «Эти, наверху, до сих пор Ильичевой лысиной прикрываются». Или: «Тюремщики при любой власти хорошо живут. Им все одно, кого запирать». А то вдруг, с изумлением: «Братцы! Ну до чего же нами легко править!..» В бараке было правило: кого поймали с недозволенной сигаретой, тот идет мыть туалет.

Дело, в общем, нехитрое, дело совсем нетрудное: берут шланг, открывают пожарный кран и мощными атмосферами прошибают залежи в засорившемся очке, промывают на расстоянии писсуары, струей омывают пол. Его не поймали с сигаретой — больно уж ловок! — но все равно послали в туалет. «Нет», — сказал твердо. «Тогда карцер». — «Пусть карцер». — «И еще пятнадцать суток. За неподчинение». — «Пусть еще». Вся камера упрасивала: «Ладно тебе... Иди вымой. Не убудет с этого». Он их даже не понял: «Вы что... Меня же не поймали». И ушел в карцер. А они его тут же осудили. Его, единственно гордого и независимого. И даже сигаретку в карцер не подсунули... Это он сказал однажды, горько и изумленно, наслушавшись их разговоров о всеобщем, разгульном воровстве: «Это надо же! Все вокруг воруют, один я попадаюсь...»

Мишка-хват: молодой поджарый красавец, длиннорукий и длинноногий, рыжеватый и кучерявый, гибкий как хлыст, глаза шальные, нараспашку, взглянешь — а там черт-те чего: бесы скачут, девки плачут, парни скулы воротят... По вечерам ждал с нетерпением новую партию: кого Бог пошлет? — старые давно уже надоели, — орал с нары всякий раз, весело и бесшабашно: «Ништо, мужики! Это все нехуть! Ильич тоже поначалу пятнадцать суток сидел...» Болтал что попал: понесет — не остановишь. Где правда, где вранье — пойди угадай. Про баб, про девок, про мужиков с ишаками, про ишаков с мужиками: кто с кем, кто с чем, да как, да куда, да сколько раз... Уровень откровенности чрезвычайный. Степень доверительности крайняя. Камера уши развесит, камера ухает от удовольствия, а он несет себе да несет... «Я, мужики, везде побывал. В дурдоме, в тюрьме, в лагере, на химии...» — «Когда это ты успел?» — «А тогда... Меня шпана в лагере употребить хотела. Как девочку. Под-

ходят два амбала: наш, говорят, будешь. Я им штаны расстегнул, показываю: а это видали? Один меня по зубам, другой — отверткой в бок. Крови вытекло — лохань подставляй. Три месяца на койке кантовался...» А камера в ответ: «Врешь! Ой, врешь!» Вот он опять: «У меня, мужики, три пацана. Я их всех в лагере сделал». — «Как так?» — «А так... Нинка приедет, спирту привезет. Мне за спирт начальник кабинет давал. На всю ночь. Сами голые, на голой клеенке, под портретами вождей. Мы стараемся, вожди сверху смотрят, на плакате призыв: «Верным путем идете, товарищи!» Утром меня в зону, а Нинка домой едет, рожать». А камера ему: «Врешь! Ну, врешь!» Он по-новой: «У меня Нинка, мужики, баба-ягода. У нее зад двухспальный. Раньше четвертинкой мерял, теперь поллитровка проходит. Увидал ее узбек на рынке, домой пришел, у двери на колени встал: «Выходи за меня, в Ташкент поедем. Денег много, фруктов много. Вдвоем торговать станем». Я вышел с молотком, дал ему по черепу: он и отрубился. Лежит, а из кармана червонцы выглядывают: пачка, что твой кирпич... Через час оклемался, обратно на рынок ушел, дынями торговать». Камера хором: «А червонцы?!» — «Я не взял». — «Врет! Ох и врет!» Врет — не врет, а слушать интересно. Врет — не врет, а время бежит скоро. Врет — не врет, а спал как-то, рубаха задралась: шрам на боку, страшный, глубокий, наискосок, будто и правда отверткой ткнуто... Вот он опять за свое: «Я, мужики, баб перепробовал — не поверите! На Дальнем Востоке с якуткой жил. В одном спальном мешке. Утром я на работу, а мешок на молнию: пусть лежит в нем, дожидается. Вечером ворочусь, нырк к ней! — а она тепленькая... Муж через неделю хватился, с ружьем за мной бегал. «Убью! — орет. — Одной дробиной в глаз, чтоб не портить шкуру!» Потом пообвык — куда денешься? — сказал на прощанье: «Приезжай давай. Втроем жить будем. В одном мешке». Камера

орет: «Врешь! Вреошь!» — «Вру — не вру, соврите лучше. Я, мужики, с цыганкой на мельнице гужевался. Прямо в муке. Верткая такая, гибучая: одни мониста на ней. Дзынь-дзынь — позванивают. Я ей: «Дашь — бери мешок с мукой. Еще дашь — еще мешок». Бой в Крыму, Крым в муке... Мельница гудит, мука летит, цыгане из табора мешки оттаскивают!» А камера: «Больно дорого платил. Мешок за раз». — «Мне что? Мука не моя». — «Врешь! Ай, врешь!» — «Вру — не вру, соврите лучше. Я, мужики, Нинку свою бросил, к Шурке ушел. Пожил месяц — дохлое дело, пора назад. Я и воротился. А Шурка прибегает к Нинке — и с кулаками: «Где он? Где да где?!» А я где? Я на голубятне, с двумя девками. А на голубятне, мужики, благодать! Ветерок продувает, пух летит, девки гулькают, голубочки вспархивают... Потом девки вспархивают, а я гулькаю... Тут они меня и застучали, Нинка с Шуркой, они и заявление в четыре руки написали, и милицию дружно вызвали. Нарушение общественного порядка на голубятне: мне — пятнадцать суток, девкам по десять». Помолчал, пощурился, добавил: «Тут я, конечно, сам виноват. Не надо шишку распускать. Но Нинку свою накажу. Ворочусь — месяц с ней спать не буду». — «А с Шуркой?» — «И с Шуркой — месяц». Все: «Врешь! Вреошь!» — «Вру, — улыбался. — Разве утерпишь?» И еще рассказ: «Я, мужики, электромонтер. Я на мясокомбинате вкальваю. Всегда с мясом, в любые времена. Берешь баллон от кислорода, дно вышибаешь, туда мясо: пуда два влезет. Ты его за проходную везешь, вахтер сам ворота открывает. Колбасы захотел — через забор перекинул, на пузе пронес, в штанину подвесил, сосисками под рубахой обмотался — вздохнуть нечем. Вахтерша раз увидела: «У тебя чего там висит, в штанине?» А я: «Чего, чего... Будто сама не знаешь. Колбаса чайная, вот чего. Хошь — расстегну, пощупай...» Она в краску: «Иди, охальник, грубиян, морда бесстыжая...» Я и

пошел, я и пронес». Вот в этот рассказ все поверили, как один, никто «врешь» не заорал. Сидел он вечно на наре, ноги по-турецки, вокруг слушателей десятков. Легкий, пустой, звонкий парень, Мишка-хват: балабол, язык без костей. Все просто, все весело: что бабу впрок, что отвертку в бок... А однажды рассказал вот что: «Вызвали нас, мужики, в одно место. Не соврать, человек семьдесят. Только я из армии пришел... Предложили идти в органы, топтунами: деньги хорошие, работа непыльная, то-се. Из семидесяти согласились двое. Да кто к ним пойдет? Кто работать не умеет — те туда». — «А ты чего ж?» — «Перебьются... Лучше мясо воровать, чем людей сторожить». С этим все согласились. Вся камера. Воровать — это нормально. Сторожить — последнее дело...

Колобок-матерщинник, лет под 30: омерзительный с виду, лицо кошачье, похабное, сальное, будто жирком смазанное, усы торчком вокруг пухлой губы, редкие волосы зачесаны набок, со старательным пробормом, залысины на висках, плешь на затылке, зуб золотой, зуб металлический, и неожиданно печальные, тоскующие глаза, запрятавшиеся глубоко в провалах. В углу, на нижней наре, их залегала целая компания. С наслаждением и шумом портили и без того порченный воздух, гоготали, соревнуясь, кто громче, кто дольше, кто выразительнее, порой выскакивали очумело из-под нары, удирая от собственной вони. Сколько их материли, сколько упрашивали — все бесполезно. После ужина уползали на нижнюю нару, пятками упирались в верхнюю — и пошло! Сидел в камере Ваня-самосвал, здоровый амбал под два метра, в полущубке до полу. Терпел он, терпел, а потом как-ак даст в ответ: всех с нар снесло. Те и сдались, сконфуженные: не та сила, мощь не та — дилетанты рядом с профессионалом. Колобка-матерщинника посадил отец, «папашка-топтун на пенсии». «Всю жизнь, гад,

под чужими окнами стоял, в щели подглядывал, а теперь жить учит». По воскресеньям они пьют вместе, а выпив, ругаются из-за Сталина, которого папашка боготворит, а сын материт без усталости. У папашки на склоне лет одни вздохи: при великом вожде паек был, зарплата, выслуга, премиальные, северные, награды к праздникам: ты только служи честно, тебе все будет. «Я об его лысину четыре стула обломал, а он все за Сталина держится...» И захохочет, заверещит тоненько, жирненько, мерзким упитанным смешком. И матом, сплошным матом без передышки. А глаза на лице не смеются, глаза печальные, вопрошающие, безо всякой надежды на ответ... Накатывало на него порой: сорвется, прицепится к кому-нибудь и давай издеваться, изошренно, выразительно — на радость камере. Сидел тут же Афоня-дурачок, тихий и безответный сумасшедший, который от болезненного укола изматерил врача и попал на пятнадцать суток, так колобок ему житья не давал, в грязь втоптывал, с дерьмом смешивал. Потом затихнет на час, как застыдится, и снова за Афоню... Работает колобок на санитарной машине, подхалтуривает между делом. «Останавливает меня грузин с бабой: давай, говорит, за четвертной три круга по Садовому кольцу. Давай, говорю. А куда ему три круга, ему и раз не продержаться. Я себе фары включил, сирену врубил, жму посерединке на красный свет, а они там, в фургоне, на носилках забавляются. Круг, ору, еще круг, всё — приехали! Кольца одного не прокрутили, а он уже спекся. Лежит — не дышит, хоть в больницу вези...» И он же: «Ночью едешь, глядишь: девочка мерзнет. Подвезешь ее бесплатно, за любовь да за ласку, попользуешься на носилках. Только рессоры стонут...» И опять с хохотком, с матерком, с бесстыдной порчей воздуха... А однажды наговорил вдруг много, сумбурно и яростно: не разберешь чего. В кратком пересказе так: кто пьет много, у того в душе гложет. Пьют самые

ранимые, самые уязвимые. Пьющие — они и есть те страдальцы, которые за всех отдуваются. Непьющие дома сидят, перед телевизором: они молчуны. А эти переговоят, обсудят, попытаются додуматься... Никто не понял его речей, он и сам вроде не очень уловил, утих, как застыдился, да и накинулся потом на Афоню-дурачка — от того только пух полетел! Это его слова, колобка-матерщинника, в тоске и изумлении, ночью, в поту и грязи, задохнувшись от собственной вони: «Как же на эту жизнь трезвыми глазами смотреть?!..»

Матросик в тельнике и бушлате — мясник из гастронома. Невысокий, квадратный крепыш: грудь крутая, бицепсы вздутые, челочка наискосок, на низенький лоб. Самостоятельный, солидный, с большим к себе уважением. «У меня дом, семья. Я редко прихожу трезвый, но прихожу домой всегда». На работу отправляется затемно — мяса нарубить до открытия, — а дошлые мужички уже по дворам хоронятся, водкой промышляют. Ночная продажа: пятерка с бутылки. Матросик платит, у него деньги всегда при себе. Утром, до работы — бутылочку, в обед — бутылочку, под закрытие — еще одну. В магазине варят мясо на плитке, лучшие куски, в обед едят много и жирно. «У меня жена — шелковая. Я ее раз в месяц бью. Дней двадцать прошло, а она уж знает: скоро вломлю». — «Так кто же тебя посадил?» — «Теща». И смеется: «Га-га-га!» Смеется, как работает. Как камни выплевывает. «Га-га-га» — три камня. «Га-га-га» — еще три. Пришел домой выпивши, за ужином еще добавил, сел к телевизору хоккей глядеть. Всё в норме, культурненько: наши с канадцами. А теща желает другую программу, теща за ручки хватается: там детектив, с продолжением. Слово за слово: он ее по матушке. Она в крик, он ей в лоб! «Га-га-га...» Прискакала милиция, он и им в лоб! «Га-га-га...» Сволокли его в отде-

ление, выскочил на шум майор, он и майору в лоб! «Га-га-га...» Связали его «ласточкой», руки за спиной прикрутили к ногам, пришел майор с фингалом под глазом, размеренно и неторопливо бил сапогами по ребрам, не спеша приговаривал: «Будешь знать, как милицию бить. Будешь знать...» Матросик крутился по полу, уворачивался от ударов, а тот обходил кругом, бил в нужное место. Потом держали его пять дней в милиции, чтобы сошли синяки. Потом отвезли в суд, дали еще десять суток. «Я не в обиде, не... Нормально поступил, по-человечески. Могли бы дело завести, срок навесить года на три...» Очень ему понравилось такое обращение, вспоминал майора часто и с благодарностью, только на наре не мог улежать: ребра болели, и вздохнуть было трудно. Сидел, скорчившись, под потолком, анекдоты слушал, — «га-га-га...» — сам рассказывал. Тупые, примитивные, похабные сверх меры: никто не смеялся, один он. «Га-га-га...» Видно было, что яркие эротические картины натужно ворочались в его мозгу, но слов не хватало, жесты не помогали, выразить себя было ему не дано. Еще рассказывал о работе, о своей: как деньги делает. Две гири у него, малость облегченные. Пятьсотграммовая на пятьдесят граммов, килограммовая — на сто. Все мясо идет первым сортом: и ребра, и голяшки, и прочее другое. Страшно, конечно, под топором ходить, но зато копейка хорошая. Одному директору магазина пятачок полагается с проданного килограмма. Тонну мяса нарубил — директору полсотни. «Ну и сколько у тебя на день?» — «Да тридцаточка, не меньше». — «Чего ж так бедно?» Сидел до него в камере Толикшкет, мясник с рынка, мелкий, невидный, соплей перешибешь: полсотни в день делал. Вот это мясник! Больше ворует — больше к тебе уважения. Потому и уважали-то матросика не шибко: сила есть, а ловкостью Бог обидел. Сидел еще в камере Гоша-хипарь, шофер на продуктовой машине, быстрый, смышле-

ный, храбрый, шустрячок в дорогом джинсовом костюме с понарошечными заплатками: тот в иные дни и до сотни наработывал. На баб, на выпивку, на взятки. «Хочешь жить — делись с другими». В гараже плати: дадут новую машину. На комбинате плати: дадут хорошее мясо. Грузчикам плати: чтобы у тебя много не украли. Зато ему директор магазина тоже приплачивает: крал чтобы поменьше, мясо привозил лучше. Зимой Гоша-хипарь берет брандспойт, обильно поливает туши: вода леденеет, мясо тяжелеет. Летом открывает в кузове люк, чтобы влагу на ходу втягивало. «Я гоню себе, мясо влагу тянет, вес нагоняет на мой карман». Вырезки везет — снимает пару десятков нижних лотков. Везет фарш — воду в него, будет фарш «со слезой». Рассказывал охотно, со многими подробностями, в любой разговор встревал авторитетно, только в политику не лез. Уяснил себе твердо, с малых лет: делай, что хочешь, кроме политики, — и будешь в порядке. Это он сказал, Гоша-хипарь, молодой еще — вся жизнь впереди: «У нас от любого можно откупиться. Дал участковому по роже — и четвертной в карман, чтобы не вякал. Начальнику милиции — две сотни». Слушали его жадно, как зачарованные, в рот заглядывали богатею, всякое слово ловили. У Гоши — машина, у Толика-шкета — машина, у матросика и то мотоцикл. Работяга заводской, токарь высокого разряда, наслушавшись его речей, заорал в запале: «У меня за всю жизнь халтуры не было! У меня железо одно в цехе: не продашь! У меня получка да аванс, аванс да получка: можешь ты такое понять?!...» Гоша-хипарь подумал, искренне удивился: «Не, не могу... Чем на зарплату одну жить, я бы лучше свой хрен на пятаки порезал». А матросик заржал в голос, как камни выплюнул: «Га-га-га!»

Каменщик годов под сорок: человек, измученный жизнью. Жена, двое детей, мать в параличе который

уж год. Жена не хочет жить с матерью, мать обижается на сына: разрывается на два дома. Работа тяжелая, обстановка дома нервная: тянет по-лошадиному, без всякого просвета. Коренастый мужчина с седым бобриком, широкое крестьянское лицо с глубокими морщинами: выгладит намного старше своих лет. Попал в камеру нестандартно, как по анекдоту. Пришел домой, выпил, затосковал, застонал от такой жизни — хотел руки на себя наложить. Жена с перепугу побежала в милицию, чтобы предупредить самоубийство, а они не разобрались — пьяный и пьяный, чего там еще? — укатали его в барак, на пятнадцать суток. Сидел первое время, как заледенелый. Все ржут на анекдоты, а он нет. Все историями делятся, а он не шелохнется. Тихий, сумрачный, закостеневший, только глаза изнутри взглядывают. Их много таких, усталых людей, невидных молчунов — полкамеры. Кто они, что они, о чем думают, чего хотят — загадка. Сила взрывная, тупость сплошная, безразличие или гнев — не уловишь. Хорошо, если один раскроется на миг, выдаст себя словом, фразой, взглядом, а другие так и уходят непонятые. Появился, побыл и исчез. Эти — шустрые, шумные, наглые — забивают всех, они на поверхности, они на глазах, по ним вроде и нужен этот барак, оправдан и осмыслен, но приглядишься внимательно: сколько тихих, тоскующих, потерянных, страдающих в неведении, в заблуждении, хаосе неосмысленных дел и мыслей! Сколько замученных людей, которые пьют, чтобы снять усталость, чувство вечной тяжести, что просто так не стряхнешь: сколько по камерам таких людей! Каменщик отдохнул к концу срока, камера для него, что больница, с освобождением от работы и домашних забот. Каменщик отогрелся и оттаял, и сказал вдруг, всем на удивление, неумело улыбнувшись углом рта: «Я на стройке всю жизнь. Я промерз на верхотуре. Думаю в Молдавию рвануть. Там тепло, зима легкая, вина много. Брошу

всех к едрене матери, один уеду. Женщину себе найду, пьющую. Я ее буду слушаться, она меня пусть слушается. Месяц для начала поработаю, покажу себя, пить не буду. А потом мы с ней как дадим!..» И удивился на свои слова, сам себе не поверил. К последнему дню заскучал, загрустил, снова затих, как заледенел, за порог шагнул без охоты...

Сергеа-токарь по кличке Цыган, 47 лет: смуглый, курчавый, еще красивый гуляка. Волос с проседью, лицо в складках, крест-накрест, будто саблей рубленое, глаза большие, карие, с поволокой, мешки под глазами набрякшие, особенно по утрам, на груди татуировка: портрет Ленина в траурной рамке и надпись каемочкой — «С юных лет счастья нет». В первые дни клокотал от ярости, вскидывался, в который уж раз пересказывал свою историю. Бежал Серега в магазин, торопился до закрытия взять бутылку. Без десяти минут до срока выбил в кассе три шестьдесят две — и в винный отдел. А продавщица уже сворачивается, грузчики ящики внутрь уволокивают. Все уволокли, два оставили: с семи вечера продажа тихая, тайная, с наценкой. Четыре пятьдесят — бутылка. «Иди, — велит продавщица, — сдай чек в кассу. Так мне заплатишь». Он пошел, он и сдал. Возвращается, дает ей три шестьдесят две. А она требует уже четыре пятьдесят. Вывернул карманы, наскреб медью до четырех. «Еще давай». — «Нету больше». — «Нету — сиди голодный». А время на часах — семь без минуты. Его время, законное, без наценки. «Ах ты, сука! — на нее. — На ком ты, падлюга, наживаешься?!» И замахнулся, конечно. Она в крик! Она к грузчикам: «Вы свидетели!» Подхватили его под руки — и в отделение. Объясняй — не объясняй: пятнадцать суток. Очень он выделялся в камере, Серега-токарь, актер одаренный, талант несомненный. Историй знал сотни, рассказывал мастерски, вдохновенно: изображал, подражал,

показывал, пел, даже танцевал. Ночью очнешься, а он ведет свое, голосом хрипатым, прокуренным, простуженным и пропитым, на радость слушателям. Рассказывал истории из жизни своей и дружков своих закадычных, увлекался, добавлял подробности фантастические, сам умирал со смеху в отдельных местах: видно, только что выдумал и удержаться не может. «Это еще что, мужики! Это все ништо. В прошлый раз я в Бутырке сутки свои сидел. А там клопы, что шляпки от гвоздей: не раздавишь! Сроку моему конец под первое мая, под самую демонстрацию. Выкинули меня из дверей, пинком под зад — и прямо в колонну. Гляжу, наши идут. «Серег! — орут. — Цыган!! Урра!» Влили в меня стакан водки — и пошли в обнимку с плакатами, дружными рядами. Тут ответственный бежит: «Нельзя ему! Его не утверждали!..» А мне и не больно надо. «Ребята! — ору. — Айда за мной! Тут рядом — пивная!» Всю колонну за собой заворотил...» Как-то вечером разыграл Серега целый спектакль, на три голоса: Ленин, Горький, Дзержинский. Баском, картавя, окая — всё, как надо. «Голубчик, Алексей Максимович, что-то вы плохо выглядите. Голодаете, должно быть. Наденька, покорми Алексея Максимовича». — «Премного благодарен, Владимир Ильич, у меня все есть, сыт-обут, премного вам благодарен». — «Вы не стесняйтесь, не скромничайте, батенька. Феликс Эдмундович, позаботьтесь об Алексее Максимовиче. Он, батенька, талантище, он нам нужен и очень нужен!» Странно было слышать эти голоса в грязной, вонючей камере, странно до дикости... «Серег, откуда ты это взял?!» — «С радио запомнил...» Был он быстрый, цепкий, сообразительный, Серега-токарь, с уважением к самому себе, к делу, которое умеет делать: атаман, «бугор», командир. Без такого и работа не работается, и гулянка не гуляется. Вечно он шел впереди — камера следом. Возили их на плодоовощную базу: воруи — не хочу. Приходил вагон с хорошим товаром

— мухами облепляли, волокли, кто сколько может. У Сереги заранее все учтено, все спланировано. Двоих сразу к костру — картошку варить, двоих в магазин, остальным — работать. Собирали бутылки, воровали яблоки с апельсинами, продавали на улице, на вырученные деньги покупали на всех хлеб, колбасу, селедку, сигареты. Обедали зато по-царски: горячая картошечка, селедка с колбаской, огурцы свежие, пара здоровенных банок маринованных помидоров, лук, чеснок, яблоки, апельсины, пяток арбузов на закуску — все ворованное. «Мы так и на воле-то не едим», — жмурились камерники. Конечно, не едят. На воле всякий рубль на выпивку. На воле всякая еда — закуска, не больше. Во время работы Серега-токарь королем стоял на разгрузке у дверей вагона, по-хозяйски покрикивал на шоферов: «Хочешь хороший товар? Беги за куревом». Те бежали, приносили пачками. Потом сами подходили, принимали Серегу за начальство, совали рублевки: «Сделай товар получше». Рублевки эти шли на общий стол, на прокорм и на курево. Как-то попался камерник-жулик, который припрятал для себя общие деньги. Серега врезал ему пару раз, сбил на землю, еще врезал... Тот изловчился, завалил Серегу на снег, озверел, бил сапогами по голове. Воротился Серега в камеру — синяки на лбу, ссадина на щеке, сосуд в глазу лопнувший, — долго кряхтел, сипел, сморкался, курил яростно, потом сказал с болью: «Я бы тоже мог ногами... Я за мастеров в футбол играл... Я же не бил лежачего...» И замолк надолго, до ночи. А ночью опять его хрипатый голос, простуженный, прокуренный и пропитый... В дыму, смраде и копоти... Истории смешные, фантастические — животики надорвешь... Милый ты мой, неунывающий человек!

В одну из ночей мне стало плохо.

Прихватило сердце, думал, не выберусь.

Достал пузырек с заветным нитроглицерином, отвернул пробку... и в первый раз испугался. Нитроглицерин высох от несусветной жары.

Душной подушкой заткнуло горло. Сердце трепыхалось в тесном кулаке. Липкая испарина заливала лицо, грудь и плечи: я был приплюснут носом к раскаленной батарее. Отодвинуться некуда: на наре нас лежало семеро, каждый на боку, носом в чужой затылок. Ноги мои торчали над форточкой, и ногам было ночью холодно, а голове — жарко. Когда я загоразживал батарею свитером, зябли ноги. Когда клал его на ноги, сгорало лицо и грудь. За спиной Вова-наркоман раскидывался широко, клал руку на мою голову. Я сбрасывал ее, а он опять клал. И так всю ночь... Вова-наркоман привык спать вольготно.

Я лежал на наре, лизал горлышко пузырька, языком пытался залезть в узкое отверстие, чтобы снять горький налет высохшего нитроглицерина. Потом сосал валидол, который дала мне медсестра. У валидола давно прошли все сроки годности: ментола не чувствовалось, просто сладенькая конфетка.

Я лежал без сна на спине, а вокруг кашляла, хрипела, стонала, портила воздух, задыхалась в поту, в духоте, в вони моя родная камера номер три. А всего их было по коридору одиннадцать, и в каждой лежал такой же гусь, как я, и, значит, нас было тоже одиннадцать.

Два кандидата наук, математик, студент, юрист, вчерашний школьник, журналист, техник, писатель, два радиоинженера...

Не дрались, не ругались, жен не били, водку не пили, соседей не материли, вещи из дома не уносили...

А влипли!..

И началось все это с события простого, незначительного, за которым и не ожидалось столь удивительного продолжения...

Тринадцать человек пришли в приемную президента страны.

Тринадцать человек хотели знать, почему их не выпускают в Израиль.

И сроки, которые им осталось ждать.

К ночи они воротились домой, избитые и окровавленные...

Они рассказали, как их взяли прямо из приемной, посадили в автобус, отвезли в лес, в темень, за шестьдесят километров от Москвы, и жестоко избили. Пьяные мужики в штатском — по трое, по пятеро на одного — проламывали носы, профессионально сбивали с ног, окунали в кювет с ледяной водой, били ботинками по ребрам, по головам, по лицам, в пах... «Жи́ды проклятые!», «Жи́довские морды!», «Бейте их, ребята! За это ничего не будет, только лишняя жалоба...». Они рассказали, как здоровенный парень с зажженной сигаретой сказал с ненавистью: «Хочешь, о твой лоб потушу?» — и занес руку. «Попробуй». «Нет, — решил парень, поколебавшись. — Подожду, пожалуй. Еще успею». В стороне все время стояла «Волга» с потушенными фарами, из нее наблюдали за событиями. Только один из штатских, ужаснувшись происходящим, бормотал в сторонке, что он не такой, как эти, фашисты, что у него много друзей-евреев, он никого не бил, он здесь случайно: жить-то надо... Во время избиения на лесной дороге остановился военный грузовик с офицером в кабине. Ему объяснили, что все нормально: бьют евреев. Грузовик уехал. Потом они все уехали, и автобус, и «Волга», бросив избитых в темноте, в лесу, на снегу...

На другое утро в приемную президента пришли 25 человек.

На третье — 40.

Потом — за пятьдесят.

Когда милиция арестовала четырех из нас, остальные вышли на демонстрацию. В центре города. С желтыми звездами Давида на груди.

Мы шли мимо университета.

Мимо Госплана.

Мимо Большого театра, Метрополя, по площади Дзержинского.

Агенты сбегались со всех сторон и подстраивались сзади.

Прохожие останавливались и столбенели.

Ужас плескался в глазах встречных евреев.

«Жи́ды идут», — сказал кто-то. «Шерифы!» — заорал чумазый цыганенок, углядев огромные шестиконечные звезды.

Нас не трогали: очевидно, не было команды. Нас даже не перехватили в подземном переходе: наверно, не успели. Плотным заслоном двигались позади агенты, отсекая от нас толпы прохожих.

На повороте к улице Куйбышева случилось неожиданное. Прямо на нас, почти вплотную, выскочил из-за угла маленький человечек в потертом светлом плащике, в зимней шапке-ушанке, с лицом белым, морщинистым, старческим. Был он, наверно, не стар, просто потрепан жизнью, выглядел подростком с пожилым лицом. Человечек взмахнул руками, и перед ним развернулся плакат — рулон бумаги с лохматой бечевкой. Он накинуд бечевку на шею, вздернул кверху голову и шагнул вперед, как на амбразуру, с плакатом на груди, слепой и отчаянный, весь напряжинившийся, закостеневший, уже мертвый, будто пулями изрешеченный. На плакате было написано: «Брежнев! Не обагрй руки кровью! Даже животные не убивают детей...» И еще какое-то слово, внизу, как подпись, которое никто не успел прочитать. Человечек прошел мимо нас, демонстрируя неизвестно что, неизвестно кому, и сразу за нашей колонной наткнулся на заслон

агентов. Они рванулись к нему, сомкнулись группой, и человек исчез... Будто его и не было. Где он теперь? В какой тюрьме-психушке? За какими стенами? Как ему не повезло! Не будь нас, он бы сумел пройти свои сто метров, чтобы хоть кто-нибудь увидел его и прочитал плакат. Сколько он, наверно, готовился, сколько времени не мог решиться! Увидели его только мы, тоже демонстранты, и плакат прочитали одни мы...

В приемной ЦК партии первыми всполошились посетители. Долго нас разглядывали, расспрашивали, удивлялись, негодовали, не верили...

Высоченный мужчина с Донбасса заорал в поддержку:

— Да я десять месяцев без работы! Я тоже, может, уеду...

Старик с клюкой затопал ногами:

— Позор! Я ранен был! Я воевал за вас! Снимите эти звезды!..

Пожилой интеллигент даже испугался, замахал руками, будто отгонял близкую напасть:

— Избили?.. У нас это невозможно! Нет, нет...

Скромная женщина в сторонке, наглядевшись на нас, дружно сплоченных, спросила тихонько, с неподдельным изумлением:

— Как же вы нашли друг друга?..

Вечером нас увозили на автобусах.

Милиция перекрыла дворы и улицу.

Их было человек двести, сплошь почти одни офицеры. Нас — во много раз меньше...

Наши жены прыгали за оцеплением и махали руками.

Недоумевающим прохожим объясняли, что увозят сумасшедших.

Майор в нашем автобусе в спешке не спросил, куда же нас везти. Он остановил машину у Василия Блаженного и побежал к постовому лейтенанту. Это было святое место, где мы стали. Место, через кото-

рое машины с начальством идут в Кремль и обратно. Постовой лейтенант на наших глазах обматюгал майора и замахнулся на него палкой. Майор, как ошарашенный, влетел обратно в автобус. «Всё, — сказал кто-то, — он уже капитан». Мы ржали. Двое штатских на передних сиденьях фыркали в ладошки...

Нас привезли, в конце концов, в вытрезвитель.

Вытрезвитель был пуст: очевидно, оттуда перед нашим приездом вышвырнули всех пьяниц.

Нас допросили, составили протокол и опять повезли куда-то. Может быть, в милицию. Или в тюрьму. Или опять в лес... Напряжение нескончаемого дня уже наваливалось тупой усталостью.

Вдруг автобус остановился на пустынной набережной:

— Выходите.

Мы вышли. Двери захлопнулись. Автобус уехал.

И тогда мы начали смеяться. Хохотать. Захлебываться от смеха. Топать ногами. Бить друг друга по спинам. Мы прожили этот день, мы были на свободе и думали, что на этом все закончилось.

Но оказалось, это было только начало.

Через два дня нас арестовали.

Меня — вместе с моим псом.

Мы выскочили из дома рано утром, перебежали поспешно дорогу, и он неторопливо поднял лапу у первого столба. Тут нас и взяли!

Две машины дежурили у подъезда, две «Волги». Черная — слева, милицейская, желто-синяя, — справа. Желто-синяя отсекла дорогу спереди, двое штатских — сзади. И сразу стало ясно: деваться некуда. Куда ты от них денешься?

Нас везли в желто-синей машине. Меня и собаку. На заднем сиденье. Посередке. Справа сидел милиционер, слева — штатский. Впереди — тоже двое. Как оно и положено при задержании. Чтобы не убежали.

Не скрылись от погони. Не избегли справедливого наказания.

Нас привезли в милицию. Провели по коридору. Посадили в пустую комнату. Двое штатских уселись рядом. Молчание. Полная неопределенность. Выйти нельзя. Позвонить нельзя. Все остальное можно.

— Я задержанный?

— Нет, вы не задержанный.

— Тогда я могу уйти.

— Уйти вы не можете.

— Значит, я задержанный.

— Зачем уточнять? — мужчина в штатском улыбнулся мне как сообщнику. — Вы же всё понимаете.

Мой пес лежал на полу возле несгораемого шкафа и тихонечко повизгивал. Перед окном, на улице, соблазнительно торчал бетонный столб. Он очень хотел к столбу. Не корысти ради. Не ради злых умыслов. Просто поднять лапу. Но к столбу его не пускали, сколько я ни просил. Не было на то указаний.

К столбу пустили меня. Вернее, в туалет. В сопровождении штатского. У меня были естественные потребности, у него — искусственные. Он делал вид, что ему это очень нужно. Он старался вовсю. Но получилось неубедительно.

Потом они заснули, эти штатские. Сначала один, угревшись в комнатном тепле, за ним второй. Два здоровенных мужика дружно посвистывали носами. Они спали, свесив головы, а пес ходил по комнате, от стены к стене, и живот распирало мочой, а голову мыслями. Ему было не понять, почему так грубо нарушается основное собачье право. Право на столб. Этого и человеку не понять, не то что собаке.

Потом пришел милиционер и увел его из комнаты. Довольно-таки грубо, безо всякого почтения. У него была родословная почище, чем у милиционера, — сплошные золотые медалисты до седьмого колена, — но он шел покорно следом, он не укусил, не залаял

даже. Он хорошо знал: за сопротивление властям — тюрьма. А в тюрьму он не хотел. Он хотел вместе со мной в Израиль. Но в Израиль нас не пускали. Вот уже четвертый год...

Его отвезли домой на мотоцикле. С коляской. Под усиленной охраной: милиционер рядом, милиционер за рулем. Вид у него явно озадаченный. Лоб нахмурен, брови насуслены. Ему предстояло многое переосмыслить заново. Собака, как известно, друг человека. А человек — чей друг?

Этого я не знаю. Этого, по-моему, никто уже не знает. А кто знает, пусть не держит в тайне. Пусть он расскажет моей собаке. Чтобы укрепить в ней пошатнувшуюся веру в человека. Если собаки перестанут нас любить, на чье уважение мы можем еще рассчитывать?!

Суд был очень короткий.

Минут пять на каждого.

Максимум семь.

Ровно столько, сколько надо, чтобы написать приговор.

В здание суда не допускали посторонних. Перед зданием густо стояли машины. Внутри топтались штатские и милиция. Штатских было больше.

Судья мне понравился.

Очень хороший судья.

Такая миленькая, молодая женщина с тонкими чертами лица и красивыми глазками. Глазки я углядел в самый последний момент, потому что она все время писала. Она даже говорила со мной, не поднимая головы. Перед ней лежали свидетельские показания, и она торопливо переписывала их в приговор. В зале сидели свидетели в штатском. Очевидно, на всякий случай.

Кончив писать, она объявила:

— За неподчинение властям — 15 суток.

— Спасибо, — машинально сказал я.
Свидетели в штатском засмеялись.

Потом нас пересадили в «воронок» и отвезли за город.

В пансионат «Березка».

Мы успели к самому ужину...

Попали в одну камеру волк, лиса да гусь.

— Ты за что сел? — спрашивают волка.

— Да я с медведем подрался, морду ему разбил...

— А ты за что села? — спрашивают лису.

— А я с енотом поругалась, хвост ему выдрала...

— А ты, гусь, за что?

— Я вам не чета, уголовники, — гордо отвечает гусь. — Я гусь политический.

— Политический?! Чего же ты натворил?

— Чего, чего... Пионера в зад клюнул, вот чего!

Первым делом тебя спрашивают:

— Сколько дали?

Вторым делом:

— За что?

Наши ответы их потрясали. Все камеры, затаив дыхание, прослушали одну и ту же историю про избивание и демонстрацию. Потом ее прослушали милиционеры.

Больше всего их поражало, что мы вступились за арестованных товарищей. Больше всего! Они ведь тоже были арестованы, но за них не вступился никто. Да и они бы сами ни за кого не вступились. Это было вне их разума. Это вызывало восторг и страх. Каждый из них никогда бы не рискнул на подобное, а вместе — тем более.

После одного из рассказов из-за стены раздались аплодисменты. Там, за стеной, был карцер. Тот, в карцере, проделал дыру, прослушал всю историю и

бурно выражал свой восторг. Когда дыру заделали, он пробил новую.

Уже на другой день мы стали знаменитыми. Такого внимания к нашим особам мы не встречали никогда и, наверно, не встретим больше нигде. Ведь это мы были те самые гуси, что осмелились клюнуть в зад самого товарища пионера. А это всякому приятно. Даже тому, кто всего боится. Страшно, а приятно...

— Не знают ваши, где вы сидите, — сказал один. — А то бы они собрались и разнесли весь этот барак к едрене матери!

Вот это признание так признание!..

Наша жизнь в камере была потруднее всех.

Нас не выводили на работу.

Таков был приказ сверху, и выполняли его старательно.

Утром камеры радостно бежали к автобусам, а мы оставались в одиночках.

Каждый в своей.

Было холодно: днем почти не топили. Было голодно: в семь утра — три ложки каши, а обед — вечером, когда всех привезут с работы.

Мы дремали на нарах, боком привалившись к прохладной батарее. Мы завидовали остальным. Они дышали воздухом — мы сидели в вони и смраде. Они обедали днем — мы оставались без еды.

И тогда они стали о нас заботиться.

Каждая камера о своем еврее.

Совали в столовой лишнюю порцию каши. Кусок хлеба. Селедку. Миску супа погуще.

Через шмон на входе они протаскивали нам лук, чеснок, яблоки, пару лимонов. Ко мне подошел Вованаркоман и потихоньку сунул из кулака в кулак два слипшихся кусочка сахара. Было смешно и трогательно: я съел их за ужином. Серега-токарь после завтрака приволакивал пайку хлеба. Где он ее брал, я не знаю.

Но с чесночком, после голодного дня — это было кстати!

Среди нас оказался вчерашний школьник, мальчик с нефритом, на строжайшей диете. Вся еда ему не годилась, вся без исключения. Но кто это будет учитывать в бараке? Жри, что дают! Узнал об этом старик, отсидевший по тюрьмам семнадцать лет, — мы и не просили — принес на другой день пару плиточек шоколада. На свои купил, на запрятанные деньги.

— Кто против них, — сказал, — тот мой друг. Где бы их ни давили, я рад.

Это он притащил горстку конфет, пачку вафель, белый хлеб для школьника. В жестокий шмон ухитрился пронести под стелькой ботинка еще одну плитку шоколада. От тепла шоколад расплавился, потек, пропах лишним запахом: пришлось его выкинуть.

Мишка-хват учудил напоследок.

Мишка проволок через шмон здоровенную кормовую морковь.

Привязал ее к члену...

— Это вам, жида! Ешьте на здоровье!..

Но мы не оставались в долгу.

Мы им рассказывали.

Они спрашивали, мы отвечали.

Вот начинает один:

— Куда ты едешь? Там, в Израиле, не как у нас. По телевизору показывали: голод с безработицей.

— Брехня! — вскакивает другой. — Пропаганда и чушь!

— Эй, Расскажи, как оно на самом-то деле.

И так чуть не всякий вечер, во всякой камере.

— Как оно на самом-то деле?..

И чего мы им только не рассказывали долгими, тягостными вечерами!

Историю современного Израиля.

Проблему палестинцев.

Принципы Хельсинкского соглашения.

Различие между иудаизмом и христианством.

Что такое сионизм.

О роли евреев в революции.

О диктатуре, о коллективизации, о Ленине, Сахарове, Солженицыне.

Об Иване Грозном, о Распутине, о иогах, спартанцах, о судебной медицине, о том, как вести себя в обществе.

Кто что знал, тот о том и рассказывал.

В одной камере провели вечер вопросов и ответов на еврейские темы.

А слушали они с удовольствием, старые и малые, с образованием и без, и признательны были за то — очень.

Волею случая мы оказались просветителями.

Кроме нас, была еще газета «Московская правда», один экземпляр на камеру. Который сеял разумное, доброе, вечное. Который проглядывали за пару минут, задерживаясь лишь на кроссворде, и дружно отправляли в сортир.

Чтобы ребенок не орал, проще всего заткнуть ему рот соской. Им затыкают бутылкой. Лишь бы не шумели, не спорили, не лезли во взрослые дела.

Нация заброшенных детей...

Легче всего — посадить и запереть.

Пригрозить и запугать.

Труднее — объяснить, убедить, доказать.

Вот они и просили всякий вечер, во всякой камере: — Расскажи чего-нибудь. Ну, расскажи...

И всполошилось начальство...

Всполошилось начальство и срочно приняло меры.

Стали вербовать стукачей. По двое из камеры. Чтобы следили за нами, слушали наши речи, запоминали и докладывали.

Старый испытанный способ. Простой, удобный и безотказный. Заткни ему рот бутылкой и посади рядом осведомителей. И дело сделано. Меры приняты.

Стукачей избирают по страху.

Кого легче запугать...

Из каждой камеры вызывали по двое к лейтенанту. Через полчаса они возвращались, задумчивые и озадаченные. Через час рассказывали остальным...

Один сказал:

— Ты, командир, кашу на ребят не вари, не надо...

Другой:

— Что я, сука последняя, стучать на своих? Пошел ты, лейтенант...

Третий, из моей камеры, долго кряхтел по возвращении, пыхтел, надувался обидчиво, а к ночи провалился криком:

— Они, гниды, всех перехватили! Всех пересажали! Где ребята с Пресни? Где дружки мои дворовые? Все по тюрьмам, по лагерям, по высылкам... По дворам пройдешь — никого! Что же они с народом делают, гниды?!

И я понял: этот не настучит.

Еще один, в соседней камере, шепнул моему другу:

— Ты остерегайся вон того. Он постукивает...

Вечером друг сказал громко:

— Что же мы, мужики, так и будем его терпеть? Ни поговорить, ни рассказать...

Слезли с нары двое мужиков, взяли стукача за плечи, долбанули пару раз о стенку, прошибли его головой стекло в окне. Он сразу затих и сидел тихо до самого выхода.

(Между прочим! По профессии он был реставратор. Реставраторы, имейте в виду! Среди вас находится стукач. Как минимум, один.)

Потом в той же камере появился другой. Этот был молодой и активный. Он вызывал на разговоры.

— Всюду жида, — сказал он. — Куда ни сунься, один другого тянет. Вас всех пора стерилизовать.

— Тебя евреи сюда посадили? — спросил мой друг.

— Нет, русские.

— А я вот сижу за то, что еврей. Фанерку на окне видишь?

— Вижу.

— Одной головой уже разбили стекло. Еще хочешь?

— Не хочу.

И тоже затих.

Кстати об антисемитизме.

Я его почти не чувствовал. В моей камере он будто и был, а будто его и не было. В других — тоже. Прежде чем рассказать анекдот о еврее, они извинялись перед нами. Мы смеялись. Мы объясняли, что этот анекдот не имеет отношения к евреям. Он может быть и о русском, о грузине, о калмыке. И рассказывали в ответ чисто еврейский анекдот. Тогда смеялись они.

Больше того: бывали случаи, когда они извинялись за слово «еврей». (Господи! До чего же мы опустились, евреи, если они извиняются перед нами за это слово!)

В одной камере их спросили:

— Представьте себе на минуту, что евреи вдруг исчезли. Нет в России ни одного еврея. Изменится ли от этого ваше личное благополучие?

Вся камера старательно подумала и решила единодушно: нет, с исчезновением евреев лично им лучше не станет. Потому что ни один из них не зависит от еврея, даже не сталкивается с ним на работе или дома.

Это открытие вызвало всеобщее удивление на грани с недоумением...

(Евреи! Я думаю, наш долг, евреи, сидеть в тюрьмах вместе с русскими. Установить круглогодичное дежурство в каждой камере. Чтобы рассказывать и отвечать на вопросы. И через некоторое время они изменят к нам свое отношение.

Шутка...)

Мишка-хват пускал то и дело в разговоре: «Жид да жид... Жид да жид...» И не по злобе вроде, а так, по привычке. Потом вдруг проговорился: тесть у него еврей...

— Не еврей, — уточнила камера, — а жид. И жена у тебя жидовка. И дети — жиденята. Так что мотай, паря, в Израиль...

Все ржут, а он озлился, завертелся на наре, потом засмеялся, рукой махнул:

— Куда мне в Израиль? Я пью много...

Лежал на наре жирный гнус в красной нейлоновой рубаше, который с наслаждением портил воздух и кидал порой реплики о евреях. Любая статья об Израиле находила живой отклик в его душе. Он безошибочно вынимал то, что хотел вынуть, что можно было вынуть, на что и рассчитывали авторы статьи. Имя еврейское, событие, факт искаженный — ему годилось все. Он был нацелен на это постоянно, антисемит в чистом виде.

Но камера его не поддерживала. Камера переводила разговор на другие темы. Они нас берегли. Здесь, в камере, они нас уважали. Ведь мы делали то, на что они не решались. Они подмечали нашу сплоченность. Они обсуждали это и ставили нас в пример. Они приглядывались к нам внимательно и с удивлением.

Здесь, в камере, мы были для них в первую очередь заключенными. Трудно сказать, как бы они повели себя в другом месте. Но тут нас держали в самых

трудных условиях. У нас было неопределенное будущее. Это они хорошо понимали.

Каждый из них говорил на прощанье:

— Желаем скорее уехать.

Мишка-хват заорал на пороге:

— Да здравствует Израиль!

Вова-наркоман сказал мне:

— В будущем году встретимся здесь.

По его понятиям раньше встречаться нельзя. Закон в этом деле такой: в течение года можно сесть на пятнадцать суток один только раз. Попадешься еще — за ту же вину 206 статья, а по ней — год лагерей, потеря навечно московской прописки.

Он сказал:

— В будущем году встретимся здесь.

А я подумал:

— В будущем году в Иерусалиме...

В этом и была наша разница.

МЫ — ЛЮДИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

Поначалу они неотличимы.

Плоские, безликие, серосуконные.

Будто валенки всяких размеров. Какие подлиннее, какие покороче.

Множество одинаковых валенок, которые заступают на смену дважды в сутки, чтобы охранять тебя, на работу выводить, в столовую выпускать, в туалет.

Ключ в руке: трык-трык — открыл камеру, трык-трык — закрыл...

Ты уже знаешь, что у валенка есть власть над тобой. Может обыскать. Может послать туалет вымыть. Может посадить в карцер. Может написать рапорт, и тебе добавят сутки. Но пока он неотличим. Его власть стирает его отличия. Тебя сторожит не конкретное лицо, а безликий представитель силы, ко-

торому и необязательно быть человеком. Собака вон тоже сторожит. И забор. И робот сможет, если его запрограммировать. Если вложить в него «Инструкцию по содержанию в спецприемнике лиц, задержанных за мелкое хулиганство».

Сила — она не индивидуальна. Индивидуальна слабость.

Валенок — он и есть валенок. Чего от него ждать?

Трык-трык — открыл камеру. Трык-трык — закрыл...

И вдруг на валенке прорезаются глаза. А в глазах — мысль. И выражение. Интерес, удивление, злость, скука, усталость. Проклевывается человек.

И вот я их уже отличаю.

Один сказал шепотом:

— О вас «Голос Америки» передавал. Чего ж так коротко? Не знают подробностей, что ли?

Другой сообщил с глазу на глаз:

— У меня у самого бабка была еврейка...

Третий — убежденно:

— Чего тут говорить? Раз уж вы поднялись, вас обратно не загонишь.

Четвертый, сунув потихоньку плавленный сырок и кусок белого хлеба:

— Вы извините, нас не готовили, чтобы с вами работать. Вы же другие люди.

Пятый сорвался на крик, раб с лычками — всегда хам:

— В Израиль захотел, еврейская харя?! Мы из тебя тут инвалида сделаем!..

Шестой спросил:

— А чего вам Израиль? Ехали бы себе в Биробиджан...

Это был ловкий, складный, надраенно-отутюженный сержант в пахучем облаке табака-ваксы-одеколона. Мы были ему любопытны. Мы были им всем любопытны. Ведь не каждый день привозят в барак та-

ких удивительных гусей. Которые клюнули в зад товарища пионера...

— Биробиджан? — переспросили мы. — А почему Биробиджан?.. Если огородить Сахару и назвать ее Россией — ты туда поедешь?

Подумал, понял, засмеялся:

— Не, не поеду.

Еще подумал, посоветовался вслух:

— Лично я для себя еще не решил: свобода — это хорошо или плохо? Думаю так: если будет свободный выезд, начнутся тут перевороты.

И он же, очень доверительно, как сокровенную тайну:

— Я с детства тоже мечтал попутешествовать. В Анголу поехать, негров пострелять.

— Ты что?! Они тоже люди.

— Да я со школы стрелять люблю. Я в армии все ротные карабины пристреливал. Что ни пуля — десятка.

И улыбнулся по-доброму, простодушно и стеснительно... И заскрипел громко портупеей...

Трык-трык — открыл камеру. Трык-трык — закрыл...

Заходил в камеру игрушечный сержант, ласковый, молоденький, красивенький стукач, весь из себя ленивый, порочный, пренебрежительный, с долгой застойной улыбкой наискосок. Стоял в дверях, разглядывал завалы тел, стены, потолок: глазки нежились в истоме, жмурились, блаженствовали, а потом как скакнут!

— Снимите, — говорил тихо, размеренно, без шевеления губ.

— Командир! — орали с нар. — Свет в глаза! Не заснешь!

Он выбирал одного из орущих, смотрел на него долго, молча, снисходительно. Улыбка приклеена намертво: не отодрать. Всем уже ясно: такого не упростишь. Но побазлать всякому охота. Всё веселее...

— Командир! Мы ее только на ночь оборачиваем!
Утром уберем!

— Снимите газету, — повторял.

— Да ладно тебе выеживаться!

Он не обижался даже. Он был выше этого. К нему не липло.

— Сгорите, — говорил с удовольствием и облизывал влажные губы. — Стены сухие, краска масляная: сгорите в минуту.

— Стучать будем!

— Я не услышу, — а глаза голубые, холодные, мертво спокойные: убивать хорошо с такими глазами. — Могу я не услышать? Я засну — и всё.

— Разбудим!

— У меня сон крепкий.

— Дверь выьем!

— А вот это нельзя. Порча государственного имущества.

Поддерживал аккуратно брюки, влезал на верхнюю нару, снимал газету со стеклянного плафона. Заодно шарил рукой за трубой, вынимал оттуда пачку сигарет.

— Вот так.

И уходил лениво.

— У, сука!

Он возвращался, манил ласково пальчиком:

— Пошли со мной. Туалет вымоешь.

— Только что мыли!

— А мы еще раз...

Он заходил днем в камеру, не торопясь, со вкусом делал обыск, тыкал длинной иглой в щели на нарах, находил всякую недозволенную мелочь: спички, бритвы, булавки, карандаши. Один он и делал обыск, другие при мне ни разу: видно, не по приказу делал, по велению сердца.

Иногда приносил школьный учебник по математике, просил нас решить задачки. Задачки давал сразу

в несколько камер, потом сверял результаты. Был он недоверчив и осмотрителен: беседовал с нами порознь, расспрашивал, уточнял, запоминал, потом сравнивал услышанное. Был он почти что свой — ласковый теленок, а потом мы узнали от ребят, что он просил их поглядывать за нами, подслушивать, доносить лично ему. Была это, видно, его инициатива: узнать, сообщить, выслужиться. А ведь такой молоденький: двадцати трех нету. Такой красивенький: херувимчик с персиковыми щечками. На одно у него не хватало воображения: вся жизнь пройдет в этом вонючем коридоре, завянут персиковые щечки, потускнеют ласковые глазки... А впрочем, чем чёрт не шутит! Он ведь еще молодой. Он учится. У него жизнь впереди...

Трык-трык — открыл камеру. Трык-трык — закрыл...

Отмерял по коридору четкие шаги высокий, подтянутый служака, жердь в шинели, злой, как цепной кобель. Вечно хмурый, вечно грубый: голосом рявкнет, дверью саданет — руки, видно, чесались по мордобою. Был он рядовой, ходил один, сам по себе, свои его тоже не любили: злой шибко. Гаркнет — и затихнет ненадолго. Гаркнет — и опять затихнет. Будто переполнялся злостью и стравливал, переполнялся и стравливал... Минуты не давал постоять в коридоре, дохнуть воздухом: гнал в камеры. Минуты не давал лишней кипяточку хлебнуть: гнал из столовой. Ночью — хоть подыхай! — не допросишься «кормушку» открыть, чтобы сквознячок был. Хоть в штаны ночью навали: внеурочно в туалет не пустит. И все криком, все тырчком, с великой злостью. Как его другие терпят — это еще можно понять. Но как он сам с собой уживается?..

Пришел в камеру, заорал с порога:

— Чего медленно убираешь?

Я ему:

— Имею вопрос. Как полагается обращаться к заключенному: на «ты» или на «вы»?

— По инструкции, — говорит, — на «ты».

— Ошибаетесь. В инструкции про это ничего не сказано.

— Тогда как хочешь.

— По правилам вежливости, — говорю, — надо на «вы». Особенно когда обращаешься к старшему по возрасту и званию.

По возрасту я старше его почти что вдвое. По званию — я офицер, он рядовой.

Побурел, зафыркал, сказал:

— Здесь я старший. А там, где ты будешь старшим, там ты и командуй.

Повернулся через левое плечо и ушел.

Мы им мешали, милиции. Мы им связывали руки. При нас они стеснялись. На наш счет их инструктировали. Когда кончился наш срок, думаю, они были рады не меньше нас.

Через час приходит:

— У меня к вам просьба.

— Пожалуйста.

— Я вас попрошу вымыть туалет.

— Меня?

— Да, вас.

— С превеликим удовольствием!

Вот это другое дело! Это уже разговор интеллигента с интеллигентом...

Трык-трык — открыл камеру. Трык-трык — закрыл.

Были там еще лимитчики, деревенские ребята с нерусскими лицами, с неправильной русской речью. Лимитчики — это те, кого прописывают в Москве по особому лимиту. Надо так полагать, что москвичи не очень-то идут в милицию, а эти, ради прописки — с удовольствием. Тут им и столица, и мундир, и власть неожиданная. Это про них любимая шутка в камере:

«Ты кто?» — «Я-то?» — «Ты-то?» — «Я москвач». Служат они старательно, строго, с уважением к начальству: будешь плох — лишат московской прописки, поедешь назад в деревню. Запомнился среди них въедливый хохол, от которого стонал весь барак. Когда дежурил в коридоре, неслышно подбирался к дверям, в глазки подглядывал, чтобы подловить курящих. Когда вывозил на работу, на шаг от себя не отпускал: отошел в сторону — побег! Сам на морозе синел, а не давал погреться. Даже в обед на плодоовощной базе разрывался между желанием поесть горяченькой картошечки и незаконностью этого дела...

Трык-трык — открыл камеру. Трык-трык — закрыл...

Ходил неслышно, по стеночке, вежливый, тихий, застенчивый даже сержант с вечной книжкой в руках. Глядел на каждого дружелюбно, с пониманием, когда надо было — не заставлял, но просил. Подойдет, понюхает через «кормушку» наши запахи — «Ой, мужики, как же вы тут живете?» — дверь откроет ненадолго. В столовой помогал побыстрее получить еду, потом долго не замыкал в камере, давал прогуляться по коридору. Когда дежурил ночью — двери совсем не запирали: приспичило — беги в туалет, стало невмоготу — выйди и продышись. Это он устроил для нас, для евреев, самый хороший день: дал посидеть вместе, поболтать до полудня. Потом попросили — повел в столовую, накормил обедом, чтобы не маяться голодными до вечера. Кто-то углядел непорядок, стукнул начальству: назавтра начались строгости. Камеры открывали по одной, сходиться не разрешали, разговаривать — тем более. А через пару дней опять полегчало. Строгое начальственное указание поблекло, медленно изошло на нет до нового окрика. Нет, с этим народом можно еще жить...

Трык-трык — открыл камеру. Трык-трык — не закрыл...

Есть такая поговорка:

— Раньше сядем — раньше выйдем.

Повторяют ее часто, по поводу и без, убежденно и просто так:

— Раньше сядем — раньше выйдем.

Занятная поговорка, жуткая и бесшабашная, сутью своей предполагающая неизбежность посадки, вечное ее ожидание. Нет в том сомнений, нет колебаний: раз уж это суждено, так пусть оно будет поскорее. Раз уж того не миновать, так сажайте нас первыми. Вот вам парадокс: еще на воле мечтаем о воле...

— Раньше сядем — раньше выйдем.

Вот человека привозят в барак, и вот он сразу преображается. Будто готов был к этому давно. Будто еще на воле примерялся к камере. Будто волновался долгие годы — чего ж меня не берут? — а теперь выдохнул и успокоился.

Сразу опускаются плечи. Мешком обвисает фигура. Покорность проявляется в походке, в жестах, в разговоре. Тонюсенькая пленка самоуважения мгновенно стирается на голых досках. И на наре он сидит, как завсегдатай. И курит тайком в кулак, как с рождения. И трусцой бежит в туалет под окрики командиров. А в столовой мгновенно находит суп погуще, пайку покрупнее, каши побольше. Когда успел освоить все это? Не за первые же сутки? И не сидел никогда раньше, и не оголодал еще, а ловчит уже, хитряется, лишнюю порцию прихватывает — профессионал!

— Раньше сядем — раньше выйдем.

И еще — страх перед властью. Страх перед милицией. И покорность. Неистребимая покорность! За все время ни один из них не написал жалобу. Многие даже не знали, что у них есть такое право. Страшно выделиться из массы, страшно шагнуть из строя. Поорать хором — это еще можно. Вылезти одному — никогда!

А как им нравились наши крики! Как у них загорались глаза! Мы требовали, и это их покоряло. Сам начальник зоны бегал после наших криков по камерам, щупал холодные батареи, сокрушенно объяснял причины. Сам начальник зоны орал сначала, когда мы заходили в кабинет: «У двери! Стоять у двери!», а потом и он: «Садитесь. Пожалуйста». Мы жаловались, мы добивались своего в мелочах, а они млели от удовольствия, глядя на сконфуженное начальство. Но ни один из них не рискнул пожаловаться вслед за нами.

Почему?

— А потому... О вас вон американцы передают, а о нас кто узнает? Только пожалуись — еще срок схлопочешь...

Ведь мы — гуси политические.

Они — мелкие хулиганы.

Раньше сядут — раньше выйдут...

Вот он говорит, зло и убежденно:

— Кругом мразь, ничтожества! Если бы я смог, я бы отсюда уехал. Завтра же!

Инженер, 30 лет. Быстрый, судорожный, всё бегом, рывком и торчком. На наре крутился — доски стонали. Вскочит ночью, закурит, потянет пару раз — и на бок. Читает книжки, слушает иностранное радио, с жадностью расспрашивает про Сахарова, просил его адрес с телефоном. Вроде бы всё понимает...

И он же, через час:

— Ты зачем едешь в Израиль? Не хочешь с нами коммунизм строить?

— Не хочу.

— Вот! — с торжеством. — Вот ты какой! Потому тебя и не выпускают!

Тогда вскакивает второй:

— Какой коммунизм? Какой хрен — коммунизм?! Ты был за сто верст от Москвы? Жрать же нечего!

И он же, с неподдельным горем:

— Что обо мне в коллективе скажут? С доски почета снимут. Снимут с доски...

Токарь, 35 лет. Солидный, ухоженный, с безалкогольной внешностью. Передовик, ударник, победитель соревнований, очень правильный человек: читает газету и верит ей, смотрит телевизор и тоже верит. Живет в заводском доме вместе с директором, парторгом, профоргом: горд этим чрезвычайно, ощущает выделенность свою и приобщенность. На лестнице можно с начальством поздороваться. Во дворе — словечком перекинуться. Директорская дочка забегает порой к его дочери. Парторговая жена заходит изредка за солью. И на работе у него хорошо, и дома прекрасно: сам — передовик, дети — отличники, жена — депутат райсовета. Попал в барак элементарно: остались на сверхурочные — сплошь одни передовики, — выдали к ночи два плана, мастер по такому случаю выставил бутылку спирта. С усталости, с голодухи — пошел домой шатаясь, очнулся уже в милиции. Убит горем, все рухнуло: почет, уважение начальства, зарплата с премией. Как теперь по подъезду пройти? Как заглянуть в глаза директора, парторга, профорга?..

И опять он:

— Мы не преступники, а нас тут как скотов держат. Как же тогда с политическими обращаются?

И снова он, грустно и мечтательно:

— Сегодня праздник, демонстрация... Жалко пропускать. Соберемся вместе с директором, с парторгом, выпьем по рюмочке в буфете, закусим бутербродиком — и в колонны, и с музыкой... Хорошо!

Тут вылезает третий:

— Разве теперь демонстрация? Вот при Сталине была демонстрация: не пойдешь — враз постреляют.

50 лет, слесарь-монтажник, вся жизнь в разъездах. Жена в Москве, жена в Ярославле, жена в Костроме. По бараку ходил в голубых несвежих кальсо-

нах, лошадиная мотня болталась промеж ног. Посадила его теща, и весь срок он с наслаждением смаковал, как будет ее казнить: пройдет ночью в галошах и перчатках, чтобы не оставлять следов, подожжет зажигалкой одеяло с простыней. Нехай сгорит заживо...

— При Сталине порядок был, цены снижали. Сталин в кулаке всех держал.

— Во, во... Привыкли к кулаку. Отвыкать пора, дядя.

— Да при Сталине вольготней было! Возьмешь бутылочку, выпьешь, полежишь на травке — хрен кто тронет! Понимали пьющего человека, не как теперь.

И он же:

— Да у нас кругом одни бездельники. Кто не бездельник, тот ворюга. Я-то, конечно вкальваю, а всем — по хрену...

С этим все соглашаются:

— По хрену... Всем по хрену...

И опять же он, слесарь-монтажник, поперек всякой политики:

— Мы когда на водочном заводе монтировали, месяц за проходную не вылазили. Так и спали. За получкой в контору не ездили, на кой она? Получка — чтобы выпить, а у нас выпивки — залейся. Хлебушка стрельну, лучку... Бабы в контору прискакали, хай подняли: где мужики? А мы уже синие, опухшие, отекающие, из-под ногтей и то водка сочится... План штурмуем! Намонтировали — никто потом разобрать не смог! Какая труба куда, какая откуда...

И забыта политика.

И начинается особый разговор: где выпить, как зашибить копейку, с кем переспать да каким способом. Про жен своих, про подружек, про баб разовых... Одни сговариваются по выходе рвануть сразу в магазин. Другие печалются, что выходить им под вечер, когда закрыты уже винные отделы. Жди потом до утра...

А тут еще новичка приводят.

— Ты кто?

— Продавец.

— Значит, вор.

— А ты думал!

— Рассказывай...

И разговор уже профессиональный: как крадет, да сколько, да с кем делится, да куда деньги деваает... А там — все наперебой. Кто про что. Шофер рейсового автобуса: как кассу открыть, чтобы к концу смены десяточку вынуть. Продавец мебели: как потихоньку ручки с гарнитура снять, ключики спрятать, стёкла, — покупатель в суматохе не заметит, прибежит потом, получит свое, законное, за отдельную плату. Возчик на мясокомбинате: как заплести лошади в гриву колбасные батоны — ты чистеньким проходишь мимо вахтера, лошадь сама в ворота идет. Фарцовщик шустрый: как продать иностранцу икону подороже, да в органы стукнуть: у него икону на таможне отберут, тебе же еще и благодарность...

Все слушают — не оторвешь. Только вздохнет порой передовик, ударник, победитель соревнований, очень правильный человек:

— Не, мужики, что-то тут неладно. Нутром чую: жизнь не по резьбе пошла. Нитку рвем. У хозяина так бы не было.

— У хозяина... Где он, твой хозяин?

Тут все соглашаются:

— Нету у нас хозяина...

И опять же все:

— Что-то у нас неладно...

— А может, нормально? Нормально, ребята!

Дед-мудрец, немощный старик под 70. Голова белая, туловище одеревяневшее, ноги плохо сгибаются. Отсидел в свой срок 17 годков, по политике, потом реабилитировали, сказали — ошибка. Встретил на улице друга из лагеря, выпил — много ли ему надо? — и

проснулся в милиции. Могли бы и простить его в виде исключения. Могли бы и зачесть ему эти сутки в счет тех 17 годков. Могли бы, да зачем? Приходила к нему бабка, принесла гостинец: курицу вареную да носки с рубахой. Воротили бабку обратно. «Не положено...»

— Я, ребята, против перемен. Хватит. Нахлебались по горло. Что есть, уже хорошо. Не стало бы хуже.

— Дед, — спрашивают, — ты на жизнь нагляделся?

— Нагляделся.

— Кого больше на свете: добрых или злых?

— Злых.

Сказал сразу, ответ готов издавна.

— Так на чем все тогда держится?

— А на силе. На штыке.

Над этим задумываются. Потом кто-то окликает тихо:

— А если война?

— С кем?

— С империалистами... С китайцами... С кем хошь...

— Если война... — вскакивает инженер. — Если война — я первым сдамся!

— Если война! — орет монтажник в кальсонах.

— Весь мир пусть на нас нападет: вжик! — и разобьем!

— Если война... — говорит кто-то невидимый, из темного угла, задыхаясь от вони, духоты и ненависти. — Плохо, конечно. Зато оружие в руках будет. Автоматы с пулеметами. Ух и посчитаемся!

И опять дед-мудрец:

— Бросьте, ребята... Есть хороший способ всех утихомирить. Сказать?

— Скажи, дед.

— Надо, чтобы ведро водки стоило два рубля. Тогда через год все перепьемся; передохнем, и проблемы кончатся...

Вот взгляд из камеры:

Работа у милиции легкая, непыльная, не у станка.
Деньги приличные, ни за что, плюс обмундирование.

Еда бесплатная, сколько хошь, из арестантского котла.

Лычки, выслуга лет, пенсия заранее.

Власть с гонором — тоже не последнее дело.

Вот взгляд милиции:

Работа нервная, ответственная.

Арестант грубый, шумный, грязный.

Воздух порченный, плохой для здоровья.

Столовая далеко, еда всухомятку: не жрать же арестантское пойло?

Деньги небольшие, приработка нет, продвижения никакого, долгие годы в общежитии. У женатых — тесная комнатка, всего не хватает. Выгонят — куда идти без специальности?

Многие из них тяготятся службой, многие из них учатся, но начальство того не поощряет. Начальству нужны сержанты, а не ученые.

Эти недовольны жизнью, и те недовольны.

Кто же тогда доволен?..

Распахивал двери настежь, широко вшагивал через порог, приветствовал зычно-весело, по-суворовски:
— Здравствуйте, граждане мелкие хулиганы, спекулянты и неповиновцы!

Был он сытый, наливной, благодушно добрый: будто сейчас из-за богатого стола. И годы его еще не подъели, и служба не осилила, и обязанности не утомили: время к пенсии, а мужик в соку.

— Жалобы есть?

— Есть! Есть!..

— Слушаю вас внимательно.

Вопросы годами одинаковые.

И годами накатанные ответы.

— Товарищ майор, батареи холодные!

— Ребятюшки, не у тещи.
— Обувь сушить негде!
— Сушилка у нас не предусмотрена.
— От духоты задыхаемся!
— Мы вас, дорогие, сюда не звали.
— Еда плохая! Свиньям лучше дают!
— Плохая? — удивлялся. — Не знаю, не пробо-
вал. Я вашу еду не ем.

— В Бутырке лучше кормят!

— Наши условия построжее Бутырки. Будете хо-
рошо себя вести, переведем в тюрьму. Шутка, конечно.
Не напрягался, не спорил, не кричал: берег здо-
ровье к пенсии.

— От вашей еды живот пучит! Из сортира не вы-
лазим!

— Граждане, на ваше питание отпущено 37 ко-
пеек в сутки. На 37 и кормим.

— Как так?! — орут. — А с нас по рублю в день
вычитают! Остальные куда?

— Куда?.. — он широко улыбался, загибал пух-
лые пальцы: — За электричество, за отопление, за со-
держание, за охрану... — Хлопал себя по груди, кон-
чал с удовольствием: — И дяде Васе — беседы с вами
проводить.

— Товарищ майор, — встречал один из нас, — а
вот Ленин в царской тюрьме делал из белого хлеба
чернильницу, наливал туда молоко и писал свои знаме-
нитые работы. О чем это говорит?

— О чем? — спрашивал майор.

— О том, что ему давали молоко и белый хлеб.

— Конечно, — соглашался. — Молоко ему нужно
было, чтобы написать незаметно и обмануть царских
ищеек. Еще жалобы есть?

Это он нам сказал, на дневной встрече, с глазу на
глаз:

— Мы на ваш счет милицию инструктируем. Что-
бы знали, с кем дело имеют.

И он же:

— Я к евреям хорошо отношусь. Меня самого часто принимают за еврея.

— Это плохо, — заметили мы. — Это может помешать вашей карьере.

— Ха! — ухмыльнулся. — Да я уже на потолке. Мне на пенсию скоро...

Вот он — всем доволен. Всем-всем...

Трык-трык — открыл камеру.

Трык-трык — закрыл...

ОТСТУПЛЕНИЕ НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Да простят меня миллионы российских мучеников!

Простят меня страдальцы всяких времен, именные и безымянные!

Простят меня души загубленные, тела искалеченные, мысли замордованные!

Простят меня певцы каторжной, тюремной и ссыльной жизни!

С неким сомнением в поставленной задаче приступал я к документальному описанию данного предмета. Дилетант по срокам, дилетант по ощущениям, кого удивлю я кратким своим изложением, смогу ли добавить хоть малую кроху к завалам фактов из российской лагерной жизни?

15 дней — разве это срок?

15 дней — это отдых.

А место это — разве не пансионат?

Пансионат «Березка» с обыском при входе.

Тут всё несерьез, всё ненадолго. Будто свезли людей на огороженное место, избавили от хлопот-забот о ночлеге, пропитании и развлечении: отдыхайте, мужики, вы это заслужили!

Только отчего стонет-задыхается по ночам переполненный барак?

Только зачем повадилась сюда что ни день «скорая помощь»?

Кто это валяется на голых досках, в жаре, тесноте и духоте, грязный, потный, рваный и простуженный? Кто это яростно чешет немытую голову, дерет ногтями зудящее тело? Курить нельзя. Книги нельзя. Еду из дома нельзя. Переписку тоже нельзя. Бани нет — есть карцер. Воздуха нет — есть право на наручники и связывание. Сна тоже нет: по семь человек на наре и шестеро на полу. Кашель. Хрип. Сморкание. Порча воздуха. 35 человек на 20 квадратных метрах! Жара. Холод. Сырость. Насекомые. Грязные ноги торчат рядами, вонючие носки, несвежее белье, немытые тела. Кто это?! Крепостной Демидова? Нет. Раб Салтычихи? Тоже нет. Сатин с Бароном? Нет, нет и нет!

Так кто же это?!

Строитель коммунизма, вот кто.

Строитель вчерашний и строитель завтрашний.

Который на краткое время вырван из общей колонны и брошен на нару, в грязь, смрад и духоту. Чтобы через пятнадцать суток возвратиться назад, в общие ряды, и с новым запасом энергии бодро замаршировать к сияющим вершинам.

В этом — уникальность подобного заведения. В этом — его глубокий смысл. Напоминание. Предупреждение. Охват камерой максимального количества граждан. Способ внедрения в семью. Воспитание во всяком доме собственных Павликов Морозовых. Возможность вмешательства не в чрезвычайных обстоятельствах, а по мелкому поводу. Чтобы ты знал, что живешь в миллиметре от камеры. Чтобы чувствовал, что где-то там, на запасном пути, все стоит наготове, в любой момент способное развернуться в боевой порядок. Чтобы не переоценивал ты свои права. Не задирал нос. Не возомнил о себе. Чтобы всегда был наготове.

Раньше сядем — раньше выйдем...

А как это просто! Проще не придумаешь. Два свидетеля, суд-пятиминутка — и ты осужден. Так и выскакивают из зала заседаний, один за другим: 15 суток, 15 суток, 15 суток... Без лишнего разбирательства и волокиты, без заседателей, защитников и без права обжалования. Кому нужны формальности при таком пустяковом сроке? Приученные к суровым приговорам на многие годы, мы снисходительно ухмыляемся на ничтожные сутки, шутим и иронизируем, веселимся и развлекаемся.

Ха-ха-ха... Загремел, голубчик!

Хи-хи-хи... Поволокли родимого!

Хе-хе-хе... Привет от старых штиблет!

Старикам — хуже всего. Старикам и одной ночи достаточно в душевной камере. Это к ним повадилась шастать «скорая помощь».

Среднему возрасту тоже не сладко. Это они не прокашляются потом месяцами, надрывая простуженные, загаженные, закопченные легкие.

Молодым — проще. Молодые перенесут что хочешь. Если, конечно, от вечной простуды да от гриппа не появятся осложнения на сердце, на легких, на суставах.

И никто не понимает, что же происходит. Ни один из них! Для чего это кратковременное окунание в дерьмо? Это мгновенное превращение строителя коммунизма в пятнадцатисуточное быдло?

Выпивка для нас не преступление. Выпивка ни для кого в России не преступление. Все пьют. На всех уровнях. Неизвестно еще, где больше. Пьянство — дело обычное, со всеобщим размахом и снисхождением. Разница только в том, что одна компания накала в ресторане, в квартире, на даче, под хорошую закуску, завалилась потом в такси, в личные и персональные машины, и разъехалась, пьяненькая, по домам, защищенная деньгами и властью, — а другая

компания глотнула из горла, без закуски, на морозе, в кустиках или в подъезде, и вывалилась на тротуар, в руки милиции, — да прямым ходом в пансионат «Березка»...

Это несправедливо, граждане. Честное слово, несправедливо!

Есть в этом заключении глубокое противоречие. Мелкого срока и невыносимых условий. Понарошечности ареста и реальности унижений. Ничтожности преступления и злой абсурдности наказания.

Мы окунаем человека в зловонную жижу и хотим, чтобы он исправился. Мы оплевываем его и подавляем, и хотим, чтобы он образумился.

А в ответ — только злость. Ненависть. Истерия. В лучшем случае — равнодушное отупение. Привыкание к мерзости и насилию.

Рабство не породит человечности.

Вонь не прибавит благородства.

Грязь не добавит чистоты...

Шел старик по улице, нес бутылку пива в авоське. Шел через дорогу, по сторонам не глядел. Вынырнула сбоку машина, по-пороссячи заверещала тормозами. В самое ухо. Охнул старик, взмахнул от неожиданности авоськой, бутылкой расшиб переднее стекло. А машина оказалась не простая — милицейская! Выскочили двое — мать-перемать! — запихнули старика на сиденье, свезли в отделение. Протокол: пытался ударить бутылкой сотрудника оперативной группы. На суде старик спросил: «А если бы ехал частник?» — «Не болтайте языком, — оборвали. — За такое дело можно схлопотать и два года». Дали ему пятнадцать суток, отвезли в камеру. А старик — гипертоник. У него давление — 220 на 140. К ночи кровь пошла из носа. Под утро отвезли без памяти в больницу.

Зачем это? Ну, зачем?!

Курить нельзя. Запрещено правилами. Курить

нельзя, но все курят. Пронесят тайком сигареты, дымят с оглядкой на нарах. В запертом тесном помещении выкуривают за вечер и за ночь пачек десять-пятнадцать. Копоть летает в воздухе. Пепел сыпется отовсюду. Дым забивает легкие. Если бы разрешали курить, ходили бы в туалет, дымили бы там. Но — запрещено. Почему? Потому.

Книги запрещены в камере, газеты отбирают при входе. Даже «Правду» изымают, будто в царские времена. Не положено — и точка. Работали как-то в типографии, пронесли под полкой «Белый клык» Лондона. Без начала и конца. Разодрали на листочки, читали потом весь вечер. Тихо было в камере, как в библиотеке. Только ухал от восхищения молоденький воришка, пять лет уже отсидевший по лагерям, читавший в своей жизни чуть ли не первую книжку. Утром пришел сержант, изъял недозволенный предмет. Не положено. Почему? Потому. Пусть лучше матом ругаются, анекдоты травят, воздух портят...

На работу вывозят по утрам. Работа — она бывает разная. Убрать двор заводской, очистить подвалы, повесить портреты вождей перед праздником, флаги, лозунги и плакаты. Лучше всего — плодоовощная база. Там яблоки, апельсины с бананами. Там организуют обеды почище домашних. И милиция ест вместе со всеми, из ворованных продуктов. И фрукты уносит в портфелях и в оттопыренных карманах. Милиция — они тоже люди. А преступление это — оно во сто крат больше, чем то, за которое сидят камерники. Ведь воровать у нас не положено. Не положено, но хочется. А раз хочется, значит, можно. А работа? А работа, естественно, не работается. Кто это будет тебе ишачить за бесплатно да еще под конвоем? Вот и возят их автобусами туда-сюда, туда-сюда, создают общую видимость, а вечером вся камера радостно ржет над заметкой в «Московской правде», что плодоовощная база Свердловского района — их родная ба-

за! — из сорока пяти вагонов с фруктами разгрузила только два. «Заплатите хоть на бутылку, мы вам всё разгрузим!» А платить не положено. Почему? Потому. Пусть лучше фрукты сгниют. Пусть всё сгниет...

В бараке сидят все вместе. Бок о бок. Нос к носу. Здоровые и больные. Один был туберкулезный: он не скрывал этого. Да и как скроешь кашель, мокроту, долгие приступы по ночам. Другой был припадочный, с белой горячкой. Его скрутили и увезли, когда стал буянить и душить соседа по наре. Третий был эпилептик. Бился на грязном полу между ног, стучал головой о крашенные доски, мычал онемелым ртом. Четвертый с язвой: корчился на наре после всякой барачной еды. Пятый просыпался к утру с опухшим лицом, как вздутое бледное тесто, с заплывшими полностью глазами. Это он мочился под себя, мочил заодно соседей, потом ходил на работу, на мороз, в мокрых штанах без трусов. Влажные трусы стыдливо запихивал в ячейку, под полотенца. Но зато была в бараке медсестра, был медпункт с лекарствами просроченного действия. Давала она всем одно и то же, от разных болезней. Знала, видно, что пользы нет от этих лекарств, так какая разница, что принимать? Если серьезная болезнь — отвозили в больницу, подлечивали и везли назад, доживать срок. Потому многие и терпели боль, температуру, озноб, чтобы не увеличивать и без того бессмысленное наказание. У старого армянина был геморрой, кровь хлынула струей на плодбазе, когда потаскал с непривычки тяжелые ящики. Увезли на «скорой помощи» в больницу, но он отпросился назад, дал им подписку, что сознаёт возможные последствия, вечером воротился сам в камеру. Лежал на наре, маленький, старый, седой: крепился — не стонал. А где же милосердие, граждане товарищи? Милосердие где?! «Если ты болен, — сказал сержант, — вызовем «скорую». Не возьмут в больницу — накажем».

Два дня нашего срока пришлось на праздник. Праздник октябрьского ноября. Раньше, говорят, отпускали под такой случай. Отпускали по домам весь барак. Теперь не отпускают. Теперь в эти дни и на работу не возят. Пришел начальник, поздравил с порога, сказал весело: «Желаю вам больше не попадаться». Ему заорали хором: «И вам того же!» 35 человек безвылазно сидели в камере три ночи и два полных дня. Сидели — мечтали поначалу, что покормят хорошо на праздник. Строили планы. Спорили. Опытные люди уверяли, что по торжественным дням в тюрьме выдают белую булочку за три копейки. Разочарование было всеобщее... Еда оказалась та же самая. Только на завтрак выдали лапшу непроваренную, комом слипшуюся, первый раз за все время. Так и осталось неясным, к празднику эта лапша или так, обыденно... 35 человек сидели взаперти на 20 квадратных метрах. Курили поначалу припрятанные сигареты. Потом выковыривали из-под нар ядовитые чинарики. Потом терли сухой березовый лист, сворачивали из газеты сигарки. Смрад стоял в камере. Удушье. Кашель и хрип. Обалдение общее. Раздражение по любому случаю и ссоры. В конце первого дня на полчаса включили радио. Передавали вальсы. Серега-токарь подхватил «даму» и поплыл в танце между нарами. Но никто уже не смеялся. Отупели от духоты. Одеревятели от лежания. Днем вывели всех на прогулку. На двадцать минут. Мы-то думали: для нашей пользы. Оказалось: для обыска. В пустой камере сделали быстрый шмон. Под утро из барака увезли в больницу старика. Без сознания. Без признаков жизни. Не плачь, козявка, только сок выжму...

Зачем все это? Ну, зачем?!

А отгадка рядом.

Отгадка не в бараке, отгадка не в камере.

Она за оградой...

На шоссе...

На трафарете со стрелкой — «Зона отдыха Тимирязевского района».

«Зона отдыха»...

З О Н А...

Распахнем поскорее уши, замрем и прислушаемся: слово это тоненько позванивает на студенном ветру незримой колючей проволокой — ЗО-ННННН-А...

Положим на язык, помнем осторожно губами, ощутим и распробуем: слово это отдает металлическим привкусом безнадежности, безысходности, тоски и запрета, воем покорного отчаяния — ЗО-ООООО-НА...

Напишем его на бумаге и приглядимся к начертанию: слово это короткое, жесткое, командирски безжалостное, как «Стой!», «Ложись!», «Огонь!» — ЗОНА!..

Напряжем извилины, пороемся в прошлом, поищем ассоциаций: слово это — костью поперек глотки — в печальной памяти дедов, отцов, в нашей незамутненной пока памяти...

Зона — это огороженное пространство, где под охраной содержатся заключенные. Всё, что вне зоны, это воля, свобода, жизнь. Всё, что внутри, — неволя, несвобода, тюрьма — ЗОНА.

Так почему же тогда «Зона отдыха»? Откуда название сие? Отчего это полянки и лужайки, перелески и ручейки, прибежища нимф и фавнов, русалок и сатиров назвали чудовищным словом «зона»? И называли-то недавно, не в стародавние времена, когда слово это пряталось неприметно в толщах словарей, а теперь, сегодня, совсем близко по времени, когда и проволока-то еще не вся размоталась, и бараки не сгнили, и вышки не порушились от тех, несчетных ЗОН архипелага. Кто же его придумал, название это, утвердил и узаконил, пустил сотнями трафаретов по нашей жизни? Не иначе, отставной вертухай, жизнь

свою отдавший ЗОНЕ и на склоне лет переброшенный с лагерной службы на службу отдыха. Как говорится, для укрепления аппарата. Кто же мог еще додуматься до такого: «Зона отдыха»?!

Так где же нам тогда расслабляться и дурачиться, разрешать себе всякие вольности и поблажки, отстегивать пуговицы и распускать ремни? Зона отдыха — место организованного отдыха. С ответственными за выезд, с дежурными по развлечениям, с дневальными по веселью. Здесь нет места отсебятине. Всё по инструкции, команде, указанию. Так оно задумано. Так оно, естественно, не получается. Но в зерне, в зародыше, в семени — ЗОНА.

Казалось бы, дело простое — как ни назови, все равно, — дело пустое, дело никчемное. Ан нет!

Смысл в этом деле глубокий. Смысл, который хорошо бы понять. Раскумекать. Дотумкать. Допереть дохлыми мозгами.

ЗОНА ОТДЫХА...

Во-первых, чтобы слово жило поблизости. Не ржавело, не черствело, не затерялось в словарях, а было тут, на виду, под рукой, в вечном напоминании — ЗОНА. И если стыдливо оно нынче в своей обнаженной неприкрытости, несвоевременно и обидчиво кой-кому, то в сочетании с приятным, незапятнанным словом — ОТДЫХ — оно вроде и благопристойно, и похвально, и одновременно на всеобщем обозрении.

Во-вторых, чтобы делало оно, это слово, свое дело, не ленилось, не подергивалось жирком, а было упругое, пружинистое, всегда готовое к зову, клику, кличу, к медной трубе, что призовет его однажды на привычную, незабытую, незабываемую, срывающуюся ночами сладостную службу.

В-третьих, чтобы появилась у нас привычка к этому слову, чтобы притерлось оно неприметно, чтобы не обращали на него настороженное внимание: слово как слово. Зона отдыха — что особенного? А

там, глядишь, выскочит еще одно сочетание: зона работы. Это еще что такое? А ничего такого. Зона отдыха — место, где мы отдыхаем. Зона работы — место, где работаем. И тоже приживется, притрется, освоится...

А там, глядишь: зона семьи. Место, где мы живем с семьей.

А там — зона кино, театра и концертного зала.
Зона родильного дома.

Зона яслей и детского сада.

Школьная зона, магазинная, транспортная.

Зона кладбища...

Не успел оглянуться — кругом зоны. И ничего вроде не случилось. Живешь без изменений, как встарь, но только в сплошной зоне.

И никакой тебе отсебятины. Везде дневальные, кругом квартальные, караульные, выпускающие, выпускающие и разводящие.

И всё по инструкции: что можно, что нужно, чего нельзя...

ТАК ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ ВСЕ ЭТО?

ДЛЯ ЧЕГО — ЭТО ВСЕ?

А ВОТ ДЛЯ ТОГО ДЛЯ САМОГО...

Друг мой!

Мой ласковый, задушевный друг!

Вот и конец твоему сроку.

Сроку твоему — конец.

Это праздник, друг мой. Для тебя это праздник.

Не сел бы — не вышел. Не вышел — не порадовался.

Вот тебе и польза от барака.

Первая тебе польза.

И бородавка телу прибавка...

Друг мой!

Мой надежный, испытанный друг!

Что же ты колеблешься на прощанье?

Что оглядываешь на пороге вонючую камеру, ко-
собокий барак, березки за обрешеченными стеклами,
ржавую колючую проволоку рядами, слепые бельма
прожекторов?

Поблагодарим же это заведение за редкую воз-
можность, что оно нам предоставило.

Как бы мы без него увидели друг друга?

Как бы слышали?

Где пересеклись путями?

Мы в купе. Мы в такси. Мы — самолетами. Мы
— квартирами. Мы — отдельными номерами в гости-
ницах. Даже на транспорте: одни едут раньше, другие
позже. И страх наш перед камерой — это страх перед
незнакомцем, перед чужаком, перед заключенным —
перед самим собой.

И понял ты: это не страшно.

И догадался: это необходимо.

Не сядешь — не поймешь. Не выйдешь — не оце-
нишь.

Вот тебе и польза от барака.

Еще одна польза.

Пока баба с печи летит, семьдесят дум переду-
мает...

Друг мой!

Мой суровый, непоколебимый друг!

Вот ты выходишь из камеры.

Вот тебя на прощанье бьют ногой под зад.

Есть примета такая. Обычай. Правило. Чтобы ^и
зад не возвращаться.

Поколения бьют под зад друг друга.

И поколения возвращаются обратно, на те же
нары.

Чудеса в решетке: дыр много, а вылезть некуда...

Но это потом. Это все потом...

А теперь ты выходишь за глухие ворота. С каш-
лем на долгие недели. Без пяти килограммов веса.

Ты выходишь за ворота и вдыхаешь вольный воздух. Воздух — не вонь удушливую...

В город, мой друг, в город!

Дай руку — мы с тобой попутчики!

Если тебе есть за что бороться —
в город, мой друг, в город!

Если тебе есть за что страдать —
в город, мой друг, в город!

Если тебе есть за что проклинать и ненавидеть,
любить и благословлять, умирать и возрождаться —
в город, мой друг, в город!

Мы промчимся с тобой по шоссе, мы оставим позади грязь и вонь, мерзость и страх, мы ворвемся победителями в городскую черту!

Это день наш!

И час наш!

И жизнь наша!

Другой жизни не будет...

А по косогору, вдоль дороги, понурившись, бредут мужички, мятые, патлатые, грязные, подконвойные — суточники. Мужички несут флаги, кумач, транспаранты. Это их работа подневольная. Снимать украшения после праздника.

Праздник кончился, не начавшись.

Не окончившись, начинаются будни...

А наутро...

А наутро мы выйдем, как обычно, на прогулку. Вместе с собакой. По ее неотложным делам.

Слева будет стоять черная «Волга», справа — милицейская.

— Это не за нами? — взглядом спросит собака.

— Трудно сказать, — ответим мы. — На всякий случай, поспеши.

И она торопливо поднимет лапу у первого же столба.

Зима 1976-77 гг.

МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
тов. ЩЕЛОКОВУ Н. А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

25 июня 1979 года оканчивается срок пребывания в лагере строгого режима (Пермская обл., Чусовской р-н, ст. Всесвятская, учр. ВС-389/35) моего сына Марченко Валерия, 1947 г. рождения, журналиста. Он осужден Киевским областным судом по ст. 62 ч. 1 УК УССР и приговорен к 6-ти годам лагерей строгого режима и 2-м годам ссылки. Мой сын тяжело болен. У него прогрессирующая болезнь почек — нефрит — и связанный с ним ряд заболеваний: хронический простатит, холецистит, тяжелая форма гипертонии (в лагере НД доходило до 230/160. В прошлом году прибавилось еще одно заболевание — панкреатит (воспаление поджелудочной железы). Протекание нефрита проявляется во внезапных вспышках болезни и осложнениях, которые исходят от ухудшения питания, недостаточности питья, от перемены климатических условий, от физической и нервной нагрузки. Пребывание в заключении, особенно условия лагеря, значительно ухудшило состояние здоровья моего сына. В лагере он стал инвалидом (имеет III группу инвалидности), по 2-3 раза в год его помещали в больницу. В конце февраля - марте с. г. он находился в Пермской больнице при учр. 113-57/1, а сейчас должен быть переведен (как мне сказали) в медчасть при учр. ВС-389/35 (ст. Всесвятская). Во время 5-недельного этапа из Киева в лагерь (в марте-апреле 1978 года) он находился на грани смерти. Были дни, когда он не мог добиться от конвоя, чтобы ему дали воды или вывели в туалет, хотя он нуждается, чтобы его выводили каждые полчаса (я убедилась в этом на свиданиях); кроме того, он часто попадал в камеры с уголовными элементами. Во время этого этапа он заболел воспалением легких, что осложнило болезнь почек, долгое время находился без медицинской помощи и только спустя полтора месяца после начала процесса воспаления легких — 15 мая — его поместили в госпиталь.

Тревога за жизнь сына вынуждает меня обратиться к Вам с надеждой в проявлении человеческой гуманности. Убедительно прошу Вашего распоряжения:

выделить спецконвой для сопровождения моего сына к месту ссылки;

сократить время этапа и транспортировать его самолетом;

разрешить мне сопровождать его в этапе.

Оплату всех связанных с этим расходов гарантирую.

Мать осужденного Валерия Марченко

НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Стеклянный воздух, месяц медный,
Осина горькая узлом —
Мой край коричневый и бедный,
Парящей осени излом.
Мне нет забвения давно в ней,
Ни тихой радости сыновней —
Авессалом, Авессалом!

Пока домашние в изъяне
Искали веры наповал,
Я в тихом дворике с друзьями
Вино разлуки допивал.
Их разговор был скуп и горек
От наболевшего ума.
И сторожили летний дворик
Замоскворецкие дома.
Они дышали нам в затылки,
И воздух в каменной бутылке
Дрожал, как злая сулема.

Деревья темные редели,
Мешался камень со стеклом.
Как одиноко мы сидели
За нашим нищенским столом!
Но лайнер в воздухе красивом
Гудел над каменным массивом:
Авессалом, Авессалом!

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ БАЛЛАДА

Аленушка, строгая Спарта!
В шершавых проталинах марта
Стеной обложного огня,
Была ты рискованней старта,
Дыханья важней для меня.
Карабкалось море по сваям,
И воздух скрипел, как слюда,
Разодранный пушечным лаем,
Когда за твоим Менелаем
Неслись, обезумев, суда.

Аленушка, давнее что-то,
Надежды размытое фото!
Припомни зарю четверга:
Триеры данайского флота,
Секир золотые рога.
Любви непомерная такса,
Рассвет, Гарпагона скупей,
Прихожая тихого загса
И два неразлучных Аякса
В скрипучей узде портупей.

Заливом плыла баркарола.
Свинцовые капли нигрола
Ложились на танковый след,
И лезвием кожу порола
Весна, оголяя скелет.
Приказы неслись по отрядам,
В воротах толклись кумовья.
Олимп любовался парадом.
И ты, дозвеневшая, рядом
Стояла, совсем не моя.

Под утро настырней и суше
Над берегом били «катюши».

Немела на древке рука.
Сползал на холодные уши
Фригийский колпак дурака.
Тряслись Палестина и Делос,
Колхида пылала в снегу.
Но Гектор ошибся, надеясь.
И проклял я прежнюю дерзость,
И понял, что вряд ли смогу.

Темнели знакомые лица.
Надежда звала расплатиться
Кассиршей у спуска в метро.
Аленушка, райская птица,
Из туч обронила перо.
Горело двуспальное ложе,
Разгон продлевая дневной.
Вся Троя горела — так что же!
Ты стоила много дороже
Того, что заплачено мной.

* * *

Сознание прервано. Моля о промедленье, ты переходишь в сопредельный ад.

Выходит, сущность мира — пустота! И человек, и тополь, и скала другого имени не заслужили. Земная твердь, голубизна небес и мириады колючих звезд — холсты аляповатых декораций, небытия безумная игра.

Молчанье на границе смеха, реплика из зала: по-вашему, товарищ лектор, выходит все едино, что сытый, что голодный — в желудке у обоих пустота. И если ничего в природе нет, как отличить подметку от котлет?

Оплеванный выходит Нагарджуна, прорехи на брезентовом плаще. На дворе уже привычно скатывают землю в тугой рулон от запада к востоку, сни-

мают солнце длинными баграми. Старенький компрессор, дрожь, сосет космическую пыль.

Последней из дорог уходят в даль небритые в спецовках, с запасом нужного инвентаря. Из факельного света рвется надпись: «Отсрочить наступление пустоты!»

* *
* *

Стрельба без промаха, охота не в сезон.

Я поднимаю бережную руку, ищу разрыва в тучах, и рушится небесное стекло. Инспектором всечасно угрожаем, благословляю зной и тишину. Планета набухает урожаем. Считаю гильзы. Угрызений нет.

В той инкарнации я был слоном. Со мной бок о бок по джунглям проходил Благословенный, стократной участи смотрели мы бестрепетно в лицо. Промчались поколения и миры. В отглаженном мундире бодисатвы я возник на берегу Ишима, наизготовку вороненый ствол. В тугие небеса летят снопы неумолимой дробы, из тростников прокрадывается шуршащий, малорослый, кромешной ночи робкий аванпост. Ломаю спички. Угрызений нет.

Подходят двое с удостовереньем, плюют в лицо. Оценивают стоимость ущерба, обломком «Живописи» составляют акт. Под куполом лихие мастера пробойны заделывают паклей, нитроэмалью брызжет краскопульт.

Но как же быть с невосполнимой ночью, чем средь отделить от четверга?

писатель где-нибудь в литве
напишет книгу или две
акын какой-нибудь аджарский
уйдет в медалях на покой
торчать как минин и пожарский
с удобно поднятой рукой
не зря гремит литература
и я созвездием взойду
когда спадет температура
в зеленом бронзовом заду
мелькнет фамилия в приказе
и поведут на якоря
победно яйцами горя
на мельхиоровом пегасе

дерзай непризнанный зоил
хрипи животною крыловской
недолго колокол звонил
чтоб встать на площади кремлевской
еще на звоннице мирской
возьмешь провидческую ноту
еще барбос поднимет ногу
у постамента на тверской

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Жареная курица

Купил как-то Владимир Ильич в магазине жареную курицу, принес домой и стал есть. Вдруг к нему в гости пришли дети из детского сада. Владимир Ильич быстро накрыл курицу газетой и сделал вид, что читает в этой газете одну очень интересную статью. Дети посидели и ушли, а Владимир Ильич сначала хотел доесть курицу, но потом передумал и съел только половину.

А вторую половину оставил себе на ужин.

Выигрышный билет

Однажды Владимир Ильич выиграл три тысячи рублей по лотерейному билету, купленному им когда-то на Невском проспекте у одного калеки, которого ему стало жалко: у бедняги не было ни ног, ни рук. Компания прислала ему своего агента с письменным уведомлением о выигрыше и с просьбой получить последний в таком-то банке.

Прочитав уведомление, Владимир Ильич пришел в негодование: «Как же я пойду за деньгами? — говорил он, размахивая уведомлением перед носом агента. — Ведь есть товарищи победнее меня! Ведь им эти деньги нужнее!» И сколько ни уговаривал его агент, Владимир Ильич лишь еще больше распалялся и приходил в негодование.

Так и не пошел! Послал Надежду Константиновну.

Чекушка

Один крестьянин-бедняк работал в поле. Дело было еще при царе, и работал он не на себя, а на помещика. (У этого помещика были огромные угодья, в то время как крестьянин земли вообще не имел, если не считать огорода.) Работа была тяжелая, и скоро крестьянину захотелось опохмелиться. Но как было это сделать? В доме, как нарочно, ничего, кроме кваса, не было, потому что накануне его старуха нашла-таки чекушку, которую он припрятал от нее под печкой, и вылила содержимое в огород.

И вот крестьянин пришел к Владимиру Ильичу, чтобы пожаловаться на старуху. Открыл дверь и обмер: Владимир Ильич стоял на ковре посреди кабинета и, улыбаясь широкой, доброй улыбкой, протягивал ему полную стопку! Крестьянин залпом осушил ее, а Владимир Ильич налил ему другую. А потом и третью.

В отношении старухи они договорились, что, если она позволит себе еще раз вылить что-либо из припасов мужа в огород, Владимир Ильич вызовет ее и побеседует с ней.

Прощаясь с крестьянином, Владимир Ильич крепко обнял его и расцеловал в обе щеки.

И при этом незаметно сунул ему в карман непочатую чекушку, которую он накануне купил для него в винном магазине.

Полиглот

Один крестьянин, узнав о том, что Владимир Ильич владеет несколькими языками, тоже захотел выучить парочку-другую языков. Но как было это сделать в деревне? И вот он написал Владимиру Ильичу, прося совета.

Владимир Ильич немедленно приехал из Москвы, поговорил с крестьянином и, увидев в нем большие способности к языкам, пообещал устроить его после революции учиться.

И в самом деле: лет через восемь после революции кто-то, разбирая ленинские бумаги, обнаружил среди них и запись о нашем крестьянине. Крестьянина немедленно разыскали, одели в новый костюм и, снабдив всем необходимым, послали в Лондон учиться английскому языку. «Выучишь английский, — сказали ему, — поедешь в Париж учить французский. А потом в Рим, Мадрид и другие столицы. Полиглотом станешь».

Приехав в Лондон, крестьянин тут же попросил политического убежища. С тех пор он безвыездно живет в Лондоне, работает в небольшой фирме маклером, носит шляпу и трость и довольно прилично говорит по-английски.

Так, благодаря стараниям Владимира Ильича, простой русский крестьянин стал полиглотом.

Царские жандармы

Однажды Владимир Ильич зашел в кафе выпить кофе и, уходя, забыл на столике свою кепку. Целую неделю он потом горевал о ней: не помогали ни утешения Надежды Константиновны, ни обещания товарищей по партии купить ему другую кепку, лучше прежней.

На восьмой день в дверь постучали. Стук был какой-то особенно бесцеремонный и не предвещал ничего хорошего. Вошли два рослых царских жандарма. Один из них держал в руке кепку.

— Ваша кепка?

— Моя, моя! — обрадовался Владимир Ильич.

— Слава Богу, нашелся владелец! — сказал второй жандарм. — А то мы уже собирались ее выбросить.

Так два царских жандарма чуть-чуть не выбросили кепку Владимира Ильича.

Обеденный талон

Один рабочий-путиловец спросил как-то Владимира Ильича, кушал ли он уже сегодня. «А кушали ли вы, товарищ?» — ответил Владимир Ильич вопросом на вопрос. И, услышав, что рабочий уже кушал, тут же отдал ему свой обеденный талон: «Вы непременно должны покушать еще раз, голубчик!»

Рабочий пошел в столовую и получил на талон первое, второе и третье. А Владимир Ильич все это видел и улыбался доброй, человеческой улыбкой.

Его радовало, что этот рабочий покушает сегодня еще раз.

Старушка

Это сегодня, если вы сами не можете перейти через дорогу, найдутся добрые люди, которые вам помогут. А в царской России, как известно, перейти через дорогу было не так-то просто.

Однажды Владимир Ильич шел по Невскому. Он уже прошел почти весь Невский, как вдруг заметил на углу одинокую фигурку старушки, которая явно желала перейти на другую сторону улицы, но боялась экипажей. Равнодушная толпа валила мимо, как будто ее и не было; каждый боялся, что именно ему придется ей помочь, и либо отводил глаза в сторону, либо демонстративно делал вид, что ему некогда.

Заметив старушку, Владимир Ильич бросился к ней, ласково взял ее за локоть и повел на другую сторону улицы, делая свободной рукой знак экипажам, чтобы ехали медленнее. И хотя старушка изо всех сил упиралась и громко уверяла его, что ей совсем не нужно на другую сторону улицы, Владимир Ильич все-таки перевел ее. И уже только после этого снова пошел по своим делам.

Вот таким он был всегда: уж если возьмется за какое-нибудь дело, обязательно доведет его до конца!

Канарейка

Как-то на день рождения Владимиру Ильичу подарили канарейку. Владимир Ильич был необыкновенно музыкальным человеком, и товарищи выбрали для него самую певучую канарейку. И, конечно, самую красивую.

Увидев канарейку, Владимир Ильич пришел в негодование: «Выпустить канарейку сейчас же на волю!» Клетку открыли, но канарейка не улетала.

Она уже успела привыкнуть к Владимиру Ильичу.

Брусника

Как-то компания большевиков отправилась в лес за брусникой. Вместе со всеми пошел и Владимир Ильич. Брусники в то лето было видимо-невидимо! Большевики ходили по лесу и собирали ее каждый в свое лукошко. Потом пришли в чей-то дом, выложили всё, у кого что было в лукошках, на общий стол. Стали есть.

Брусника Владимира Ильича оказалась самая вкусная!

В ночь под Рождество

Однажды среди двух старых большевиков зашел такой спор: один утверждал, что видел Владимира Ильича в 1916 году в ночь под Рождество в Нью-Йорке. По его словам, Владимир Ильич всю эту ночь гулял по Бродвею с американскими детьми, которых очень любил. Другой большевик утверждал обратное: он говорил, что собственными глазами видел, как в эту ночь Владимир Ильич гулял в Москве по улице Горького — с русскими детьми, которых он любил уж во всяком случае не меньше, чем американских.

Оба были когда-то ближайшими соратниками Ленина, оба были известны в стране и за границей своими воспоминаниями о Владимире Ильиче, и ни в местную, ни в центральную печать ничто об их споре не проникло. Тем настойчивее каждый выступал на закрытых партийных собраниях, требуя справедливости.

И вот, выступив как-то на очередном собрании, один из них неожиданно умер. Потрясенное собрание тут же большинством голосов решило, что он-то и видел Владимира Ильича в 1916 году в ночь под Рождество. Тогда другой большевик от огорчения, что мертвому поверили больше, чем ему, тоже умер.

Так ушли из жизни два старых большевика, два замечательных соратника Ленина, один из которых видел его в 1916 году в ночь под Рождество в Нью-Йорке на Бродвее, другой — в Москве на улице Горького.

Настоящий друг

Характерной чертой Владимира Ильича было то, что он любил щупать простыни у Алексея Максимовича Горького. Придет к нему, бывало, и первым дело хватать за простынь: не влажна ли? И уж только

после этого поздоровается. И хотя простынь никогда не бывала влажна, да и не с чего ей было быть влажной, Владимир Ильич никогда не забывал ее пощупать.

Ведь он знал, как опасно было для Горького, страдавшего болезнью легких, спать на влажной простыни.

Вторая лошадь

Нет у крестьянина большего несчастья, чем ежели корова не может растелиться. А для крестьянина-бедняка и тем более.

И вот у одного крестьянина-бедняка такое несчастье однажды приключилось. Крестьянин стал созывать родню. Пришли: деверь с зятем, обе снохи, свекровь и два свекора, один из которых, как бывший ходок, был лично знаком с Лениным. Он-то и подал совет отвезти корову на осмотр к Владимиру Ильичу.

И только корова услышала имя вождя, как тут же растелилась весьма симпатичного вида жеребёночком.

Была у крестьянина одна лошадь, а стало две.

Неприятный случай

С одним крестьянином-бедняком произошел неприятный случай: он тяжело заболел венерической болезнью. А поскольку жена его была скупая и, кроме того, ей было обидно, что он заболел такой болезнью, то денег на лекаря она ему не дала. Крестьянину ничего другого не оставалось, как пойти к Владимиру Ильичу, чтобы попросить займы.

Каково же было его удивление, когда он, придя к Владимиру Ильичу, увидел, что тот сидит в своем

кресле и уже поджидает его. Рядом с ним сидел крупный американский профессор, специалист по венерическим болезням. Профессор тут же вылечил крестьянина и не взял с него, по просьбе Владимира Ильича, ни копейки!

С тех пор крестьянин больше никогда не изменял жене.

Конверт с виньетками

Один мужик, будучи в нетрезвом виде, так сильно прибил жену, что она не выдержала и убежала из дому. Убежала она не одна, а с другим мужиком, который до сих пор был лучшим соседом первого мужика.

Первый мужик затосковал. Особенно угнетал его тот факт, что он остался без такого хорошего соседа. Когда по прошествии трех дней жена не явилась, он сделал письменное заявление сельскому милиционеру о своей пропаже. Прошла еще неделя, но никто, даже сельский милиционер, не мог сказать мужику, где его жена, жива ли и вместе с соседским мужиком живет или порознь.

И вот однажды, когда мужик как раз собирался утопить в большой кружке самогона свое горе, он получил маленький конверт с виньетками по углам. С нетерпением вскрыв его, он прочитал по складам:

«Ваша супруга проживает в настоящий момент в селе Н., что четыреста верст к северу от столицы. Раз в неделю туда от вас идет поезд, билет в один конец стоит 3 руб. 14 коп. Любит вас. Прощает. Ждет с большим нетерпением. Обнимает и целует.

Ваш Ленин».

К письму было приложено три железнодорожных билета: один билет в один конец и два — в обратный. Долго не раздумывая, мужик надел тулуп, сунул биле-

ты за пазуху и поехал в Н. Там он и в самом деле нашел свою жену. Привезя ее домой, он задал ей хорошую трепку, и после этого они снова зажили душа в душу.

С тех пор каждый раз, когда жена убегала от него, мужик больше не искал ее, а спокойно сворачивал козью ножку, закуривал и садился на крыльцо: ждать письма от Владимира Ильича с указанием, куда ехать за женой. И не было еще случая, чтобы Владимир Ильич обманул и не написал.

И каждый раз в конверт вместе с письмом было вложено три железнодорожных билета: один в один конец и два — в обратный.

Римский гладиатор

Однажды, гуляя по Воробьевым горам, позже переименованным в Ленинские, Владимир Ильич лицом к лицу столкнулся с римским гладиатором. Гладиатор был головы на четыре выше его, широкоплеч и при доспехах. Видя, что отступить некуда, Владимир Ильич миролюбиво улыбнулся и сказал: «Здравствуйте, гладиатор». А гладиатор с удивлением посмотрел на него сверху вниз (он только теперь заметил его) и ответил: «Какой же я тебе гладиатор? Человеку носить нечего, а в магазинах одежи не достать. Вот и приходится надевать всякую чепуху».

И пошел, позвякивая доспехами, своей дорогой, в глубине души очень довольный тем, что его приняли за гладиатора.

Гроза

Такой жары, как в то лето, еще никогда не бывало в описываемых краях. От жары страдали все, а

больше всего от нее страдали крестьяне из деревни Пироговки. Да и как им было не страдать? Не только давно посохли все хлеба, но жара подбиралась уже и к их огородам! А огород для крестьянина, какой он ни есть, всегда самое дорогое. И вот уже у одного посохли огурцы, у другого сгорела на корню репа... К кому пойти, где попросить защиты от стихии?

Посоветовавшись, пошли к Владимиру Ильичу. Пришли, сели. Они не просидели и минуты, как Владимир Ильич уже вышел к ним. Вышел веселый, с рукой, засунутой за жилетку. И не со всеми разом, а с каждым в отдельности поговорил и каждого подробно расспросил о погоде в Пироговке. И вот, когда подошла очередь последнего крестьянина, он по глупости и сболтнул, что, дескать, Бог не посылает дождя.

Владимир Ильич покраснел от негодования, однако сдержал себя и начал терпеливо и со всеми подробностями объяснять крестьянам, что Бога нет, а они его внимательно слушали. Закончил он свою речь словами, что не Бог, а природа не посылает дождя. Потом он позвал своего помощника и велел провести ходоков по Смольному до дверей, чтобы они не заблудились.

С тяжелым сердцем отправились крестьяне домой. Шли молча. Каждый думал о своем огороде. И представьте себе, когда они уже почти дошли до Пироговки, небо над ними вдруг затянуло тучами, что-то загрохотало, засверкало, и разразилась такая гроза, какой не помнят даже старики. Крестьяне, хотя и промокли до нитки, были чрезвычайно довольны тем, что не даром съездили в столицу.

С тех пор каждый раз, когда дело шло к засухе, делегация крестьян из Пироговки запрягала лошадь, садилась и ехала к Владимиру Ильичу. Они неровным строем входили к нему в кабинет, здоровались, разводили руками и говорили: «Природа не посылает

дождя». И Владимир Ильич всегда хвалил их за то, что они неверующие, и обещал помочь, когда будет время.

И бывало, что через день-два, через неделю или через месяц небо над деревней Пироговкой вдруг заволакивало тучами, что-то начинало сверкать и грохотать, и раздражалась такая гроза, какой не помнят даже старики.

Деньги пахнут

Хорошего человека уже издали можно узнать по тому, как он относится к деньгам. Например, Владимир Ильич часто бывал по партийным делам в Монте Карло, и, хотя не раз путь его лежал мимо знаменитого игорного дома, он старался не смотреть в его сторону и обходил его как можно дальше стороной: не любил денег и всего, что с ними связано. Но однажды совершенно неожиданно для себя он все-таки оказался в одном из залов этого дома, а именно в центральном, прямо рядом с огромными зелеными столами.

Владимиру Ильичу тут же, на месте сделалось плохо, и он стал похож на один из тех столов. Вызванные врачи сначала предположили, что у него закружилась голова от вида крутящихся рулеток, но потом, произведя анализ мочи и стула иностранного гостя и сделав рентген легких, установили, что Владимиру Ильичу стало плохо от запаха денег.

Вот и говорите после этого, что деньги не пахнут!

Закон Архимеда

Владимир Ильич был не только хорошим адвокатом, но и немножко физиком. Не раз он высказывал

интересную материалистическую мысль о том, что электрон хотя и маленькая, но весьма хитрая и непонятная штука. Товарищи по партии восхищались смелым полетом этой его мысли и прочили ему блестящую физическую карьеру.

И вот однажды, сидя в ванне, он действительно сделал важное физическое открытие, а именно о вытеснении телами жидкостей. И хотя он уже с гимназических лет знал, что точно такое же открытие, и тоже в ванне, сделал до него Архимед, ему приятно было сознавать, что в этой области он оказался не хуже того Архимеда.

Встал вопрос об опубликовании открытия. Вспомнили, что, когда Архимед открыл свой закон, он выскочил голый из ванны и побежал по улицам Сиракуз, громко крича по-древнегречески «Эврика!», что по-русски значит «нашел». Кто-то предложил, чтобы Владимир Ильич сделал то же самое. Проголосовали, и все, за исключением Владимира Ильича, который воздержался, поддержали это предложение. Короче говоря, по принципу демократического централизма получилось так, что надо было бежать.

Владимир Ильич заколебался... Но не нарушать же ему было принцип, который он сам выдвинул и обосновал! И тут его осенила одна мысль: «Как же я побегу голый по улицам, — сказал он, — когда я не знаю древнегреческого языка?»

Аргумент был признан убедительным, и бег отменили.

С тех пор учителя физики, проходя закон Архимеда в шестом классе, никогда не забывают упомянуть, что Архимед лишь открыл тот закон, а великий русский физик Владимир Ильич Ленин не только открыл его, но и наполнил его материалистическим содержанием, придал ему современный научный вид и широко популяризировал его среди рабочих и крестьянской бедноты.

СОРОКИН Вячеслав — родился в 1942 г. в г. Саратове, в 1964 г. окончил Саратовский университет (филологический факультет). До лета 1965 г. преподавал русский язык и литературу в средней школе на северном Урале (Пермская обл., Усольский р-н, Березовка). В июле 1965 г., воспользовавшись туристической поездкой в Финляндию, бежал в Швецию. С 1966 по 1971 г. преподавал русский язык в Марбургском университете (ФРГ), с 1971 г. — преподаватель русского языка в славянском семинаре университета г. Бонна.

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США
Главный редактор **Андрей Седых**
69-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев
Воскресное издание — только 35 дол. в год
Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

СТИХИ

Александр Верник

...КАК РУЧЕЙ И ЛИСТОК

* * *

Зима стекает постепенно,
усталость унося с собой.
На Благовещенский собор,
старух, сидящих на ступенях,
нисходит вечер, вяжет тьму,
и я вздыхаю облегченно,
в худой костюмчик облеченный
и не причастный ничему.

Возможно, в этот влажный час
кого-то тайно убивают —
меня ж ничуть не убывает,
стою, молчанием светясь...
А там по-прежнему займы
брать у старухи трехрублевки,
чтоб как-нибудь прожить неловко
еще до следующей зимы.

1969

* * *

Проклятая тоска,
апрельская квартира
всего разворотила —
кусков не отыскать.

Лишь ветром заварить
ночное шебуршанье,
да надобно решать мне,
что дальше говорить.

На мне болит сугроб —
прощай, моя проказа!
В последний раз — по разу...
А после хоть потоп,

а после хоть чума
апрельского разлада.
Не дай Бог вдруг расплата...
За что? Кому?...
Не надо...

1970

ПЕСЕНКА

Так что́ касается меня,
живу я просто так:
не то что б умница какой,
не то что бы дурак.

Перед отходом на покой
торчу на улице Сумской,
болтаю всяк пустяк —
не то что б умница какой,
не то что бы дурак.

А станет холодно — напьюсь,
надену лапсердак,
но только одного боюсь:
не дай Бог, я дурак.

Вот так хожу, машу рукой,
влюбляюсь кое-как —
не то что б умница какой,
не то что бы дурак.

1972

ИСТОРИЯ

В тесной комнатенке летит мотыль.
У стены в сторонке стоит костыль.
На столе тесовом — бутылъ чернил.
Чернилами теми, школьным пером
стихи сочинил управдом.
О жизни короткой, о костыле,
о бутылке водки, что на столе.

Штукатурка комьями
на пол легла,
да окурки в комнате
в четырех углах.

Раздобыть бы ножик,
была — не была!
— Как живешь-можешь?
Как дела?

Управдом молчит.
У стены костыль.
На столе торчит
Чернил бутылъ.
Мотылек летает. Больше ни души.
Боже, дай на свечечку.
Согреши.

1973

ЭТЮД

И. Х.

Кошка черная легка,
смотрит пристально и зорко.
В тишине ночной каморки,
в глубине кухонной норки
два зеленых пятака —
изумрудных паука.

На чердачные вершины
ты уходишь, не спешишь,
мышью пойманной шуршишь,
тишиною шелестишь.

Только храп соседский слышен,
только чай полночный начат,
растревоженные мыши
соглядатаями скачут,
но жена неслышно дышит,
целый вечер сонно вяжет,
слова лишнего не скажет.

1976

* * *

Февраль. Достать чернил и плакать...

Б. Пастернак

И осень в декабре, и слякоть,
и белый свет душе не мил.
Голубчик, перестаньте плакать,
не стоит доставать чернил.
Мы подождем зимы немного

и вот тогда заплачем-всласть
над тем, чтоб памяти не трогать,
но затеряться и пропасть
в прощальном холоде. У Бога.

1976

· ВЕРНИК Александр — родился в Харькове в 1947 году. Учился в радиотехникуме и на филологическом факультете университета. Работал техником, корректором, затем — в бюро патентов. В СССР не публиковался. С 1978 года живет в Израиле. Первые стихи опубликованы в журнале «Время и мы» (№ 37, 1979 год).

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Отрывки из поэмы

* * *

... А в Петербурге небо серо,
в дождях Сенат и желт Синод,
и сыро. Впрямь ли пахнет сеном
базар на площади Сенной.

... Азарт и сутолока улиц,
сутулый день взглянул в окно,
и Достоевский без банкнот
и без штанов идет, сутулясь.

Кто притулился в сквере том?
Там котелок с помятой тульей
сидит на кривоногом стуле,
в тени листая толстый том.

Слетают листья с лип, слипаясь.
В любую сторону пойдя —
висят над городом дожди,
как тени с темнотой сливаясь.

... И Гоголь, за угол свернув,
спешит пожечь свои творенья.
Но ты спиши стихотворенье —
оно рассыплется, сверкнув.

Идет ли офицер манерный —
мой нервный стиль ему сродни,

но ты, пожалуйста, сравни
манеж на площади Манежной

с Конногвардейским. Без прикрас
как ствол ясны его колонны,
и нарушая все каноны —
идет влюбленный педераст.

Представь себе нагую Мойку,
собор, лосин и лысин лоск
(там нынче верховодит ЛОСХ,
собою заменив помойку).

Мой Бог! Я подниму бокал
за ламп окалину тугую
и за тебя, совсем другую,
и Блока помяну слегка.

По Офицерской. Профиль царский
еще на всаднике не стерт,
но репа в садике растет,
душе подобна пролетарской.

Мой стиль неясен. Знаю сам.
Самсон, остриженный Далилой.
... Нам время что-то удалило,
а мы тоскуем по лесам.

И ты, пожалуйста, порви
мои бредовые намеки —
от этих слов, пойми, намокнет
тяжеловесных ваз порфир.

— По рифмам судим мы. С уроном.
Сколь безрассуден мой порыв!
Но ты, пожалуйста, пари
над миром нежным и суровым.

И в Петербурге, где торги,
где по торцам танцуют дроги,
ты парапет рукою трогай
и тихо память береги.

Дожди. Все небо пеленою
затянуто. В просветах туч
мелькает одинокий луч,
и ты опять передо мною...

БОРИСПОЛЬ

... Когда на станции почтовой
в разгоне тройки лошадей,
мы проклинаям дождь идей
в манере самой неучливой.

Смотритель раскрывает рот,
ямщик кнутом затылок чешет,
и выговор шипящий, чешский
им режет ухо. У ворот

собака на проезжих лает,
стоит в сарае тарантас,
и в чай попавший таракан
в блаженстве сладком утопает.

Идут часы. По горло сыт
ты ожиданием ненужным,
и самовар сипит натужно,
и виден в окна пыльный сад,

сарай, две курицы, опухший
сопливый мальчик, а в дому
зачем, неясно никому —
висит Апухтин или Пушкин,

в погонах тучный генерал,
Мадрида вид, а может, Рима,
и нетерпением горим мы,
просматривая номера

журналов старых. Век двадцатый
серебряною рыбой «ТУ».
(Мы смотрим в сторону не в ту,
и ожидание досадно,

когда нет денег на билет.)
Аэродром. Сверканье стали.
сейчас такие дни настали,
что невозможно не болеть

хандрой. По-русски скажем — сплином,
но ипохондрия не вновь,
когда режут моторы в ночь —
неясно, грезим или спим мы.

С почтовой станцией простясь,
в наш век журналов, век жандармов
мы грезим... (Грязными жидами
на нас состряпанный процесс

по обвинению, допустим,
в убийствах ритуальных. Что ж,
судьба вложила в руки нож —
чем излечиться от депрессий

в двадцатый век? Мы тем живем:
аэродромами, домами
многоэтажными. В дерьме мы —
но неизменно бьем жидов.

В любой стране...) При нашем строе
не в деньгах дело. Постыдись —

за полцены летит студент.
Но с нас должно спроситься втрое.

Борисполь. Пыльная трава
пропитана бензином. Чахлы
два деревца у входа. Чех ли
сказал, что есть его страна
за рубежом? Там есть Европа,
в которой конница мадьяр
служила, там же есть Мадрид,
где инквизиция. И правда
запрещена...

Почтовый столб
стоит распятием без крыльев.
Пока Европу не открыли,
была лишь Азия. Лет сто

назад. Еще об этом Пушкин
писал. Но — Китеж или Киж? —
исчез. А мы, как мужики,
стоим у леса на опушке.

О этот лес! За ним — леса,
бетон и башенные краны,
и ложь, и кожаные краги,
и не видать ее лица.

Там где-то Франция. Париж там.
Но ты еще поговоришь,
когда на проводе Париж
и Монпарнас. И ты паришь там,

М-те фон Ротшильд (фон Ротшильд?),
притоны низкого пошиба,
и твой пиджак — он был пошит там,
теперь он снова перешит

как век двадцатый. Станционный
стоит смотритель у ворот,
собака раскрывает рот —
она смеется: станс — и оный
не для печати. Чья печаль,
что мы стихи свои калечим?
Нам век двадцатый лег на плечи —
и очень тяжело плечам.

Причем Борисполь? Пыль и скука,
народ, толпящийся у касс.
На тунейдцев есть указ,
и я попасть туда рискую —
в двадцатый век. Ямщик, гони
обратно!

Положу на водку.

... И в странном граде над Невою
горят полночные огни.

КУЗЬМИНСКИЙ Константин — родился в Ленинграде в 1940 году. Окончил английскую школу. Заочно учился в одном из технических вузов, но не закончил его. Работал в геологических экспедициях в Сибири и — много лет — экскурсоводом по Павловску и Петергофу. В СССР опубликовал лишь несколько стихотворений, но много выступал со стихами на различных вечерах поэзии. Стихи его широко распространялись самиздатом. Выехал из СССР четыре года тому назад. Живет в Техасе (США).

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Мятежный город вьюга иссекла.
Дрожат и зябнут стекла в раме.
И старый парк — он тоже из стекла —
Звенит, исхлестанный ветрами.

Метель сегодня будет до зари
На площадях смеяться криворото
И разбивать о стенки фонари,
Осколки сыпя под ворота.

В такую ночь ему не будет сна.
В такую ночь, набросив крылья куртки,
Ему стоять у черного окна
И в пепельницу ввинчивать окурки.

Но в эту ночь, когда дымится снег,
Когда, ликуя, бесы корчат рожи,
Напишет он такое о весне,
Чего весной написать не сможет.

* * *

Ты многое в прошлом сумеешь забыть.
Но это запомнишь, запомнишь:
Как знаменье нашей бродяжьей судьбы,
Летела машина за полночь,

И нас подхватила, и понесла,
И носит, и крутит, и вертит...
Когда это было — какого числа?
Неважно —
Задолго до смерти.

Куда нас уносит глухая звезда —
За счастьем, за правдой, за догмой? —
Пока нам на рельсах стучат поезда:
Задолго. Задолго. Задолго...

Мы брошены в жизнь без руля, без весла,
Худы и красивы, как черти.
Когда это было,
Какого числа —
Неважно.
Задолго до смерти!

НАДЕЖДИН Даниил — инженер-химик. В СССР опубликовал несколько стихотворений в периодической печати. С начала 1978 г. живет в Канаде, работает в исследовательской химической лаборатории Эдмонтского университета.

Отклики на «дело о взрыве» в московском метро

Появившееся в печати десятистрочное сообщение о суде над тремя людьми (совершившими, как говорится в этом сообщении, взрыв в метро, повлекший за собой человеческие жертвы) и о казни этих людей (двое из которых даже не названы) вызвало недоумение и потрясение у многих людей, отнюдь не настроенных ни диссидентски, ни оппозиционно. От чьего имени сообщение? Кто судил? Кто обвинял? Кто защищал? Что показало следствие? Где происходил суд? Что значат ранее не употреблявшиеся слова «исключительная мера» — разве смертная казнь сама по себе не исключительная мера? Как можно сообщить о «приведении в исполнение» смертного приговора, не сказав — кому, не приведя ни одного доказательства вины. Ведь даже фамилии и адреса погибших при взрыве не названы.

Естественно, это породило ряд слухов. Слухи — главный источник «информации» в наших условиях отсутствия объективной информации. Какие слухи правдивы, какие — нет, каждый решает по-своему. А правда выясняется иногда через много лет, а то и десятилетий.

Это касается всех сторон нашей действительности, но особенно страшно это, когда речь идет о человеческой жизни. Отсутствие законности плюс отсутствие гласности создает ту густую атмосферу лжи, неопределенности, зловещей туманности, которая окутывает человеческие умы и души. И не рассеивается этот зловещий туман корреспонденцией в «Известиях», написанной от имени родственника пострадавших, а только сгущается.

Если в метро совершен заранее обдуманый взрыв, повлекший за собой гибель и искалечение детей и взрослых, то это — подлое преступление, за которое надо судить всенародно и открыто. Если же кого-то судят и казнят втихую, не приводя доказательств, то это само по себе вызывает недоверие и сомнение. А было ли преступление? Если было, то кто его совершил? Каковы его мотивы? Кто в нем заинтересован? Соблюдено ли правосудие? Если оно нарушено уже самой тайной, окутывающей процесс.

Академик Сахаров в своем письме на имя главы верховной власти в СССР никаких убийц не защищал. Он предостерегал от судебной ошибки, от поспешности и скрытности в деле, касающемся человеческой жизни: и тех, кто погиб при взрыве, и тех, в отношении которых вынесен приговор, и тех, кто пока еще не пострадал от поспешного и тайного «правосудия».

История — в том числе и недавняя — слишком много знает примеров «узаконенных убийств» — от смертного приговора Сакко и Ванцетти до сталинских казней. И история ничего не прощает. Это следует помнить тем, кто выносит смертные приговоры.

*Редакционное предисловие журнала «Поиски»
к материалам о взрыве в московском метро*

Февраль 1979 г.

Россия и действительность

Игорь Ефимов - Москвит

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ НИЩЕТЫ

1. «С КАЖДЫМ ГОДОМ БОГАЧЕ»

Много лозунгов сменила за 60 лет советская пропаганда. Но лозунг «поднять уровень материального благосостояния трудящихся» оставался практически неизменным и не отменялся ни разу ни Сталиным, ни Хрущевым, ни Брежневым. Перед каждым праздником, после каждого партийного съезда или пленума только и было слышно:

Поднять!

Еще выше!

На небывалую высоту!

Партия торжественно клянется, что уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!

И хотя все знают, что за последние 20 лет никакого реального улучшения в жизни советских граждан не произошло, сам призыв обычно не ставится под сомнение. Ведь причины его невыполнения так очевидны: неизлечимые язвы и хвори плановой экономики, низкая квалификация хозяйственных руководителей, насаждаемых партией, непомерные расходы на оборону, гигантское разрастание партийно-бюрократической машины. Поэтому принято считать, что хоть в этом лозунге пропаганда не лжет. Что власть и хотела бы поднять жизненный уровень, да просто не знает, как это сделать.

И действительно — если народ станет жить чуть побогаче, разве может это чем-то повредить всесильной партократии, им управляющей? Казалось бы, и управлять сытым народом станет легче, и трудо-

отдача его должна будет возрасти. Возрастет трудоотдача — увеличится объем производимой продукции, соответственно и главного вида ее — оружия, расширятся военные поставки всему миру, усилится международное влияние. Логически рассуждая, мы должны прийти к выводу, что именно властолюбие и стремление к мировой гегемонии должны толкать партократию на какие-то шаги по улучшению хозяйственно-экономической машины. И что если побочным результатом этого улучшения окажется рост благосостояния народа, никакого неудовольствия у кремлевских властей это вызвать не может.

Однако то, что представляется самоочевидным в критериях традиционного политического мышления, часто оказывается неверным в критериях коммунистического двоемыслия. С этой точки зрения, интересные результаты дает анализ тех попыток увеличения производительности труда, которые предпринимались в стране за последние пять лет по инициативе самой правящей верхушки, которые усиленно пропагандировались в центральной печати, по радио и телевидению, в докладах, лекциях и семинарах.

Среди спасательных понтонов, подводившихся в 70-е годы под корабль советской экономики, выделим три основных и рассмотрим судьбу каждого из них.

2. ПОНТОН ПЕРВЫЙ — ПОДРЯДНЫЙ МЕТОД

Впервые он стал применяться в строительстве под названием «метод бригадира Злобина». Смысл его состоит в том, что бригаде рабочих разрешается взять подряд на возведение дома полностью — от закладки фундамента до внутренней отделки. И оговоренную плату бригада получит только после сдачи дома комиссии. Успеет сделать за полгода — прекрасно. За четыре месяца — тем лучше для нее. Таким образом,

величина месячного оклада рабочего оказывалась в прямой зависимости от эффективности и качества его труда.

Поначалу метод стал давать поразительные результаты. Ничего нового в нем, конечно, не было — на Руси испокон века работали артелью. В артели все друг у друга на виду, ее не обманешь, как можно обмануть любого начальника. Так и в подрядной бригаде ленивым и неспособным просто невозможно было удержаться — их никто не стал бы терпеть там. Производительность труда в этих бригадах оказывалась всюду на 35-40% выше средней, и, что еще более важно, качество исполнения просто не шло ни в какое сравнение.

Новый почин стали усиленно пропагандировать, кампания быстро набирала силу. Партийное руководство требовало повсеместного распространения «подряда». Выпускались такие, например, постановления: «Руководители, которые не могут обеспечить перевод 30% бригад на хозрасчетный (то есть подрядный) метод, не соответствуют занимаемой должности» («Лит. газета» от 2. 3. 77). Из строительства подряд пытались перетаскивать и в другие отрасли промышленности. В сельском хозяйстве аналогичный метод давно существовал под названием «аккорда» и теперь тоже стал насаждаться повсеместно. Полеводческой бригаде выделялась техника, выделялась земля, семена, а окончательный расчет с ней производился осенью в зависимости от снятого урожая. И здесь тоже аккордные бригады ухитрялись снимать с гектара чуть не вдвое больше зерна, чем обычные бригады, работавшие на соседних полях по обычным условиям пооперационной оплаты: отдельно за пахоту, за сеяние, за боронование, за уборку.

Одна беда — ни подрядные, ни аккордные бригады никак почему-то не приживались. Было непонятно, кто мешал им превратиться из исключений в

правило. Рабочим новый метод сулил большие заработки, начальство требовало его распространения, но люди упорно предпочитали работать по старинке, и число хозрасчетных бригад росло только на бумаге.

Наконец, в 1977 году в газетах начали прорываться признания, приоткрывшие реальную причину. Дело в том, что администрация предприятий оказывалась как бы между двух огней. С одной стороны, со всех них: с начальников строительных управлений, директоров заводов, председателей колхозов — требовали увеличения числа подрядных бригад. Но, с другой стороны, с них еще более строго требовали выполнения плана. Плановые же задания всегда задаются с запасом, не обеспечиваются в достаточной мере техникой, сырьем, рабочей силой, а контролируются, главным образом, не по реальным результатам, а по квартальным и годовым показателям.

В конце каждого квартала в кабинете промышленного руководителя звонит телефон и голос секретаря райкома кричит примерно следующее: «Ты что, опять план заваливаешь? По десяти объектам невыполнение... Что значит «нет людей, нет техники»?.. Ты коммунист или размазня? Чтоб завтра же ликвидировать прорыв. Ответишь партбилетом!» И руководитель в лихорадочных поисках добавочных средств и трудовых ресурсов кидается в первую очередь туда, где они есть, где положение наилучшее, — на участки хозрасчетных бригад. Он отнимает у них бетон, кирпич, металлоконструкции, людей, перебрасывает всё это на «горящие» объекты, обещая потом всё компенсировать, но никогда не имея возможности исполнить свое обещание. Точно так же и в колхозах в пылу уборочной надо прежде всего отчитываться перед начальством количеством убранных гектаров. Поэтому председатели в решающие моменты отнимают комбайны у аккордных бригад, сокращают выдачу горючего, что-

бы убрать поля отстающих, даже если урожай на них по весу равен посеянными семенами.

Таким образом и строительные рабочие, и сельские механизаторы, включавшиеся в пропагандируемый почин, очень скоро убеждаются, что их напряженный и часто сверхурочный труд не принесет им реального увеличения заработка, а пойдет на затыкание дыр в картине плановых показателей. Что, работая обычными методами, они всегда, по крайней мере, будут получать плату за вынужденные простои, а при подрядном методе, не выполнив по вине администрации условий договора, могут остаться вообще без копейки. И что весь этот «почин» оборачивается очередным трюком начальства, направленным на выжимание из них добавочного дарового труда. Поэтому-то загонять их в подрядные бригады становилось всё труднее. Система оказалась неспособной принять артельную форму организации труда, и все грозные приказы и громкие призывы оказались бессильны.

3. ПОНТОН ВТОРОЙ — ПРИУСАДЕБНЫЕ УЧАСТКИ

Перепись населения 1969 года показала, что до сих пор примерно половина граждан СССР живет в деревнях и поселках. Ни для кого не было секретом, что в рационе сельского жителя картофель занимает центральное место. Что им кормятся не только люди, но также их птица и скот. И что в магазинах его крестьяне никогда не покупают, а выращивают сами на своих приусадебных участках. А приусадебные участки не должны превышать 0,15 гектара на семью и, таким образом, составляют примерно 1,5% от всей обрабатываемой земли в стране.

Всё это было известно, и, тем не менее, многие были изумлены, когда «Литературная газета» (от 11. 5. 77) перепечатала данные справочника «Народное

хозяйство СССР». Выяснилось, что на этих 1,5% земли ручным трудом выращивается не только 60% картофеля, но также 34% овощей, производится 40% яиц, содержится 18% общесоюзного стада овец, 18% свиней, 33% коров, 80% коз.

Публикация этих данных знаменовала открытие газетной кампании в поддержку приусадебных участков. Замелькали статьи, рассказывающие о том, что крестьянам негде купить семян и саженцев для своих огородов и садов, негде достать удобрений, что у них огромные трудности с добыванием и заготовкой кормов для скота, с материалами для тепличных хозяйств, для механической поливки, а уж о малой сельскохозяйственной технике никто и не мечтает. Писалось, что все эти недостатки надо исправлять и всемерно помогать людям, ухитряющимся производить на 1,5% земли треть сельскохозяйственной продукции. В некоторых статьях самые смелые авторы позволяли себе сказать, что те, кто торгует излишками своих продуктов на рынке, — вовсе не обязательно проклятые частники и спекулянты, а может быть, до некоторой степени полезные обществу люди.

Но вот именно эта последняя, рыночная проблема упоминалась реже всего, вскользь, а по большей части обходилась. Работники пропагандного аппарата многолетним инстинктом чуяли, что именно здесь скрыта опасность, камень преткновения новой кампании. Ибо одно дело, когда человек, работающий в колхозе, совхозе или в мастерских, в свободное время возится на своем участке и обеспечивает себя продовольствием на весь год, так что властям и заботы нет, как его прокормить. И совсем другое дело, когда тот же человек начнет открыто и свободно торговать излишками своих продуктов. В этот момент он вплотную приближается к черте, за которой начинается самое недопустимое — экономическая независимость от власти.

Рынки в центральной части страны существуют только в больших городах. Даже в районных центрах они приведены уже в такое жалкое состояние, что купить на них что-нибудь можно только в первые часы после открытия (открыты они 1-2 дня в неделю). Крестьянам чинятся всякие препятствия для вывоза продуктов на рынок: им не дают транспорта, каждый раз требуют специальную справку из сельсовета, обкладывают торгующих дополнительными налогами. Существуют кооперативные организации, которым вменяется в задачу скупать у крестьян излишки продукции. Но штаты их так малочисленны, что скупить они могут ничтожную часть и, конечно, по грабительским, монопольным ценам. Поэтому огромное количество фруктов, ягод, овощей и других скоропортящихся продуктов гибнет в деревнях, в то время как в городах их тщетно ждут миллионы покупателей.

Те крестьянские семьи, в которых на приусадебных участках могут работать только старики, с трудом обеспечивают продовольствием себя и о торговле не помышляют. Но во многих семьях здоровье и возраст позволяют людям трудиться в страду гораздо напряженнее, и они могли бы выращивать много больше, если б знали, что труд их не пропадет, что они смогут продать излишки. Когда же из года в год они видят, что огурцы остаются желтеть на грядках, потому что нехватает кадок для их засолки, что помидоры гниют на кустах и уходят обратно в землю розовым соком, что яблоки каждой осенью приходится скормливать свиньям, руки у них опускаются, и желание работать, естественно, пропадает.

И хотя кампания в поддержку приусадебных участков продолжается, она несет в себе то же неодолимое противоречие, что и борьба за хозрасчетные бригады, и поэтому так же обречена на провал. Люди не станут трудиться на своих полосках еще энергичнее не потому, что у них нет сил (силы нашлись бы), а про-

сто потому, что никаких зримых результатов этот избыточный труд им не принесет. Их связь с возможным потребителем насильственно перерезана, поэтому они, как и раньше, будут стремиться лишь к тому, чтобы обеспечить себя и свои семьи — не более того.

4. ПОНТОН ТРЕТИЙ — РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ

На этот понтон последнее время возлагаются самые большие надежды. Правда, он еще находится в стадии конструирования, разработки, но, по крайней мере, разрешено уже было вслух объявить, что реформа 1965 года не принесла желаемых результатов и что система централизованного планирования и регулирования нуждается в очередных переделках.

И что тут началось!

Экономисты, директора заводов, плановики, работники министерств в один голос стали говорить, что так больше продолжаться не может. Что оценка выполнения плана предприятия по суммарной стоимости выпущенной продукции неизбежно толкает администрацию к выпуску дорогих изделий в ущерб дешевым. Что оценка по суммарному весу приводит к искусственному утяжелению машин и конструкций. Что завод, пытающийся использовать дешевое сырье, немедленно попадает в отстающие, ибо цена его продукции при этом падает. Что завод, задумавший модернизировать оборудование, почти наверняка сорвет выполнение плана, ибо должен будет остановить какие-то линии и участки для ремонта. Что централизованное планирование не поспевает реагировать на колебания спроса и поэтому производство почти всех потребительских товаров обречено вечно прыгать из огня дефицита в полымя затоваривания.

Но что же можно предложить вместо существующей системы?

Тут дружный хор смолкает, и начинается невразумительная разногласица.

«Деятельность предприятий следует оценивать прежде всего по темпам роста», — заявляет один («Лит. газета», 16. 2. 77).

«Думаю, что зеркалом достижений можно считать показатель фондоотдачи», — возражает другой («Лит. газета», 18. 5. 77).

«Оценивать надо не в рублях и тоннах, а в норморублях и нормочасах», — призывает доктор экономических наук Д. Валовой («Правда», 10-12. 11. 77).

«Есть старый, проверенный жизнью показатель, — уверяет член-корреспондент Академии наук Л. Бунин. — Чистая прибыль» («Лит. газета», 3. 8. 77).

«Надо, чтобы выгодное государству всегда было выгодно и любому предприятию, и отдельному работнику», — глубокомысленно замечает академик А. Г. Аганбегян («Лит. газета», 4. 5. 77), не уточняя при этом, как можно организовать такое чудо.

И только изредка в газетной шумихе прорываются голоса скептиков, признающих, что, какой бы показатель ни был объявлен главным, заводы быстро перестроятся на него и будут выпускать не те изделия, которые позарез нужны потребителю а те, которые хорошо влияют на показатель. Темпы роста? И все начнут расти любой ценой, наращивать производство пусть даже ненужных товаров. Фондоотдача? Начнут работать на оборудовании до предела, вообще перестанут обновлять технологию. Чистая прибыль? Станут добиваться в министерствах и комитетах, чтоб подняли отпускную цену на их продукцию. И те пойдут им навстречу, потому что плохие показатели предприятий — это плохая работа соответствующего министерства. А кому же хочется ходить в плохих, в отстающих?

5. НЕНАВИСТНЫЙ РЫНОК

Все перечисленные кампании, на первый взгляд, имеют различную направленность и разные причины неудач. Но если попытаться абстрагироваться от деталей, то мы увидим, что все они, покружив недолго по окольным тропинкам, упрутся рано или поздно в одну и ту же стену.

Что такое подрядные и аккордные бригады? Это попытка отказаться от оплаты труда по общим для всей страны тарифным ставкам и начать оплачивать труд дифференцированно, по его реальному результату. То есть открыть хотя бы для некоторых профессий рынок труда, где бы настоящая умелость, сноровка и энергия могли быть оплачены так, как они того заслуживают.

Что такое приусадебные участки? Это крошечная часть отечественной земли, урожай с которой государство не забирает себе целиком, а в значительной мере оставляет тем, кто ее обрабатывал. Но любая попытка увеличить объем производства в этом секторе сельского хозяйства неизбежно должна быть связана с расширением сети рынков, на которых продукция могла бы достигать потребителя.

Наконец, все бесконечные, высокоумные толки экономистов о «совершенствовании системы управления социалистическим производством» именно многолетней своей бесплодностью ясно свидетельствуют об одном: централизованное планирование не в силах рационально руководить народным хозяйством в условиях индустриальной эры. Только введение хотя бы в малой мере рыночных отношений между предприятиями может улучшить производство товаров, расширить сферу услуг.

Таким образом мы видим, что стена, в которую упрутся любые попытки хозяйственных реформ, всюду одна и та же: рынок.

Но почему коммунисты, где бы они ни пришли к власти, так спешат покончить с рынком? Чем он так страшен им? Ведь на рынке могут выступать не обязательно частные, но и коллективные собственники, как это бывает со всеми национализированными предприятиями на Западе. Ведь вся рыночная терминология: поставщик, заказчик, цена, прибыль, доходы, рентабельность — сохранена для предприятий в странах коммунистического блока. Так почему же не наполнить ее хоть в какой-то мере реальным содержанием?

Нет никакого сомнения, что, сохраняя полную монополию политической, административной и судебной власти, выступая на внутреннем рынке в качестве самого мощного покупателя и регулировщика цен, партократия могла бы извлечь огромную выгоду из расширения сферы рыночных отношений в стране. Чудодейственный опыт нэпа, воскресившего разрушенную гражданской войной экономику за каких-нибудь три-четыре года, полностью подтверждает это. Так почему же партийное руководство парализует даже собственные реформы, как только видит, что осуществление их ведет к частичному возрождению рынка?

Ответ на этот вопрос невозможно найти, оставаясь в сфере чистой логики. Только особые свойства коммунистической власти могут объяснить парадокс иррациональной ненависти ее к рынку.

Коммунизм есть прежде всего теория и практика захвата и удержания власти. Сила его состоит в том, что он отказался от взгляда на власть как на средство обеспечения порядка и законности в обществе, а обожествил власть как таковую, превратил ее в самоцель. Процветание или обнищание государства не рассматриваются коммунистами как критерии, оценивающие достоинства власти. Для них критерий один: прочность, тотальность, нерушимость, а какой ценой это достигается — не так уж важно.

Именно в таком подходе кроется объяснение бессмысленных, на первый взгляд, вспышек террора, сотрясающих время от времени коммунистические государства. Массовые уничтожения мирных и лояльных жителей есть реализация инстинкта власти, демонстрация чуждости, противопоставленности партократии остальному обществу, направленная на то, чтобы привить обществу мистический ужас перед носителями власти. Регулярные вспышки внутрипартийного террора — так называемые чистки — есть уничтожение той части коммунистов, в которых поклонение идолу власти ослабевает, которые поддаются «буржуазному» влиянию, то есть начинают испытывать тревогу за судьбу общества в целом.

Добившись полноты власти во всех сферах социальной жизни, партократия захватывает в свои руки и экономическую власть. Управление экономикой — главная возможность и повод для миллионов партийных чиновников наглядно и повседневно демонстрировать свою власть. Уступить какую-то долю управления рынку означало бы поступиться значительной долей власти, то есть пойти против своего главного инстинкта, попросту — против своего естества.

Как может поставленный партией председатель колхоза терпеть аккордные бригады, которыми нельзя распоряжаться по собственному произволу, у которых нельзя отнимать технику, которые нельзя бросать то туда, то сюда на выполнение очередных директив райкома партии? Как может директор завода или начальник строительного управления смириться с «подрядом», с этими наглыми, много возомнившими о себе работягами, которые вламываются в кабинет, стучат кулаками по столу, требуют сырье, инструмент, машины, потому что им, видите ли, нельзя простаивать, как прочим, — это бьет их по карману?

А районная администрация в сельской местности, которой надо следить за тем, чтобы приписанное к

земле население исправно трудилось на колхозных полях? Оно прекрасно знает, что, разреши рынки в селах и местечках, половина народа плюнет на мизерную совхозную оплату и начнет жить со своих огородов.

А партийное начальство в городах, которое назначает директоров заводов и фабрик, начальников цехов и лабораторий? Оно тоже прекрасно понимает, что введение элементов рыночного регулирования, наполнение реальным смыслом понятий «доходность», «рентабельность» повлечет за собой ослабление его власти. Ведь тогда при назначении на руководящие посты придется считаться со способностями и энергией кандидата, а не только с его идейностью, послушностью и местом, занимаемым в иерархии. И может возникнуть представление, что партия не всесильна, что она готова отступить перед какой-то безыдейной рентабельностью, перед уклоном «экономизма», как называют это маоисты в Китае.

Имея в руках не только власть, но и все средства массовой пропаганды, партократия стремится внушить обществу такое же отвращение к рынку, какое испытывает сама. Многолетняя травля, поношения, преследования привели к тому, что в сельской местности торговля на рынке стала считаться чем-то не только полузапрещенным, но и постыдным. Даже в больших городах, где рынки дают горожанам возможность приобретать первосортные продукты, очень часто приходится слышать открытую брань и проклятья в адрес «рыночных спекулянтов».

Причем — любопытный психологический феномен: бранятся так искренне, что сразу чувствуешь — не в одной пропаганде тут дело. И не только в высоких ценах, ошеломляющих покупателя, привыкшего к искусственно заниженным магазинным ценам на картошку, хлеб, мясо, масло, колбасу. И не только в том факте, что правовая незащищенность частной торговли отпугивает от занятия ею честных и законопослуш-

ных граждан и оставляет ее открытой для решительных и не очень щепетильных комбинаторов. Нет, вдобавок ко всему этому люди инстинктивно чувствуют в рядовом рыночном торговце какое-то выпадение из обычного строя их жизни, обособленность от привычного хода вещей, заключающуюся в том, что он единственный обрел нечто небывалое в условиях победившего социализма — независимость от власти. Пусть куцую, временную, ограниченную экономическими рамками — но все же независимость. И, не в силах осознать природу смешанного чувства тревоги, подозрения, зависти к феномену независимости, покупатель, уносящий с рынка раннюю редиску, помидоры, клубнику, гранаты, которых никакой магазин ему предложить не может, цедит сквозь зубы привычное и всё объясняющее: «у-у, спекулянты проклятые».

Теоретические споры о значении рынка в экономической жизни не умолкают, кажется, со времен Адама Смита. Теперь уже все согласны с тем, что полное господство рыночных отношений в обществе чревато неравномерным перераспределением капитала, монополизацией, кризисами, ростом безработицы, политической нестабильностью. Социальные потрясения, пережитые многими странами в XIX-XX веках, вызвали мощный рост социалистических идей и движений, искавших тех или иных путей обуздания рыночной стихии. В развитых государствах правительствам были предоставлены широкие полномочия для преодоления опасных, околокризисных ситуаций.

Однако для коммунистов опасности рыночной экономики — лишь предлог для борьбы с ней, пропагандный трюк. Всюду, где они приходят к власти, они вносят в хозяйство страны такой хаос и разруху, по сравнению с которыми любой капиталистический кризис покажется детской забавой. Нет, их ненависть и непримиримость вызваны только тем, что рынок — всегда гарантия независимости. Без свободного поку-

пателя, встречающегося там со свободным продавцом, рынок просто невыносим. А свобода — это именно то, что не должно быть допущено ни под каким видом.

Волна национализаций, прокатывающаяся сейчас по Европе под нажимом левых движений, хотя и снижает, конечно, эффективность производства, не означает еще полного падения в экономическую пропасть. В стране может быть национализировано 70-80% промышленных мощностей, но до тех пор, пока не отменена свободная купля-продажа, еще не всё потеряно. Национализированные предприятия, которым открыт выход на внутренний и внешний рынок, продолжают заботиться о рентабельности, о конкурентоспособности своей продукции. Те, что начинают работать в убыток, при наличии свободной прессы сразу становятся известны общественному сознанию. Правительство может заменить их руководителей более способными и энергичными людьми, может изыскать средства для модернизации и перестройки, может даже денационализировать их.

Другое дело — приход к власти коммунистов. В идейном плане коммунизм есть течение, эксплуатирующее недовольство человека материальным неравенством, конкурентной борьбой и всеми тягостными аспектами ее. Поэтому, совершенно последовательно, он видит свою задачу в истреблении всех видов открытой конкуренции в обществе. При этом неважно, придут коммунисты к власти через вооруженный переворот или через победу на выборах. Начнут они непременно с подавления политической конкуренции, с уничтожения всех форм политической активности в стране, вплоть до местного самоуправления, а закончат уничтожением конкуренции в экономической сфере — отменой рынка.

6. УДОБНАЯ БЕДНОСТЬ И ОПАСНОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ

Конечно, и в коммунистическом мире существуют градации. Отвращение к рыночной экономике не всюду реализуется в полном уничтожении ее. Польша, Венгрия, Чехословакия всё-таки очень отличаются от Китая, Кубы и Камбоджи. В Югославии рынок открыт в такой мере, что ее вообще нельзя считать настоящим коммунистическим государством.

Попробуем теперь представить себе, что и в Советском Союзе партократия созрела бы настолько, что смогла бы преодолеть свою иррациональную ненависть к экономической независимости граждан и расширила бы сферу действия рынка. К чему бы это привело?

Да, производительность труда во многих сферах народного хозяйства немедленно возросла бы. Стало бы легче с продуктами, одеждой, жильём, обслуживанием. Возрожденный нэп открыл бы огромные запасы трудовой, деловой и умственной энергии народа, не имеющей выхода при нынешних формах организации экономики. Но очень сомнительно, чтобы эти перемены привели к упрочению власти партократии.

Ведь человек устроен так, что он не может перестать желать улучшения своего положения. До тех пор, пока жизнь его заполнена стоянием в бесконечных очередях, беготней по магазинам, починками и ремонтом низкосортных товаров, поисками нескольких дополнительных метров жилплощади, он просто не имеет сил думать о чем-то другом. Но снимите с него эти повседневные мучительные заботы — и он захочет большего. Он начнет замечать свое социальное и политическое бесправие, начнет тяготиться своим положением государственного крепостного. А отсюда уже один шаг до созревания оппозиции, то есть до появления угрозы бесконтрольному господству КПСС.

Низкий уровень благосостояния позволяет легко манипулировать трудовыми ресурсами. Вводя дополнительную оплату для отдаленных районов, можно перебрасывать огромные армии рабочих на строительство ракетных баз, укреплений, нефте- и газодобывающих скважин, золотоносных приисков, гидроэлектростанций, стратегических железных дорог. Платя выпускнику военного училища в два раза больше, чем молодому инженеру, можно без труда комплектовать офицерские кадры 10-миллионной армии. Но попробуйте улучшить условия жизни людей, и они начнут больше дорожить покоем, здоровьем, комфортом. Их станет труднее срывать с насиженных мест и посылать в необжитую глухомань «на укрепление оборонной мощи государства».

Материальное неравенство, существующее в стране между партийной верхушкой и массой населения, тщательно и успешно скрывается. Неравенство, определяемое разницей снабжения различных городов и районов (первая, вторая, третья категории), тоже не режет людям глаз, пока им разрешается приезжать в крупные центры и охотиться там за товарами, которые в провинциальные магазины даже не завозят. Но в случае расширения рыночной сферы неравенство начнет проявляться в гораздо более резких и наглядных формах. Какие-то районы, предприятия, организации, отдельные производители начнут богатеть быстрее других, и это безусловно приведет к резкому обострению социальной и национальной розни, к открытым проявлениям ненависти и вражды, к вспышкам насилия. Удерживать порядок в обществе станет неизмеримо труднее, центробежные силы, раздирающие советскую империю, обретут в материальном неравенстве новый источник энергии. И снова монополия политической власти окажется под угрозой.

Наконец, всеобщая бедность предельно упрощает проблему обеспечения преданности самого партаппа-

рата. При постоянной нехватке самых элементарных продуктов и услуг — любого партийного функционера можно осчастливить пропуском в закрытую столовую, отдельной квартирой, телефоном, спецполикликой, поездкой за границу. Уменьшение дефицита товаров и услуг приведет к огромному удорожанию партийно-бюрократической машины или к небывалому расцвету взяточничества и коррупции. Так было во времена нэпа, так происходит и сейчас в республиках Кавказа и Средней Азии, где рыночные отношения в своем искаженном, подпольном варианте распространены шире, чем в других частях государства. (В Азербайджане и Грузии в 60-е годы покупка постов и услуг чиновников зашли так далеко, что пришлось обновлять весь парт-аппарат, начиная с первых секретарей, заменять их чинами местного КГБ.)

Пожалуй, было бы психологическим упрощением считать, что Политбюро, объявляя очередную кампанию по повышению производительности труда и улучшению благосостояния народа, сознательно и коварно лицемерит. Нет, оно ведет себя при этом, как изголодавшаяся акула, которая сожрала всю рыбу в лагуне и решила подкормиться сухопутной дичью, но при первой же попытке выползти на берег почувствовала, что камни обдирают брюхо, жабры обжигает сухой воздух, хвост молотит впустую, — то есть, что эта добыча — не для нее.

Таким образом даже те слои партократии, которые сумели бы преодолеть иррациональную ненависть к рынку и проблескам независимости у подданных, очень скоро убедились бы, что изменения, экономически выгодные для страны и народа, политически невыгодны для правящей верхушки, и тоже стали бы поворачивать корабль народного хозяйства на прежний курс.

7. ЭКСПОРТ НИЩЕТЫ

Иногда приходится слышать, что низкий уровень производства лишает, мол, коммунистические страны выгод внешней торговли. Что товары их из-за низкого качества не находят спроса на внешнем рынке и что поэтому доля их участия в мировом товарообороте невелика.

Думается, эта утешительная иллюзия живет лишь благодаря невозможности получения точных цифр. Достоверные данные о мировой торговле СССР и его сателлитов выплывают на свет только в той части, которая относится к торговле с промышленно-развитыми странами, и здесь, действительно, объем не так уж велик. Но объем торговли со странами Третьего мира учитывается весьма приближенно, а ведь именно туда идет главный товар, производимый «борцами за мир», — оружие.

В демократических государствах продажа крупных партий оружия должна долго готовиться, обсуждаться в парламенте, преодолевать сопротивление общественного мнения. В СССР Политбюро может откликнуться на просьбу о военных поставках почти мгновенно, за 24 часа организовать воздушный мост к любой географической точке мира и начать слать туда танки, пушки, взрывчатку, снаряды, ракеты. Вьетнам, Сирия, Эфиопия, Ангола — о них мы знаем потому, что там это оружие немедленно идет в дело. Но многие страны покупают советскую военную технику загодя, и эти покупки, как правило, не афишируются. Представить себе полный объем продаж советской военной техники Третьему миру практически невозможно.

Нефть, уголь, лес и некоторые другие виды сырья тоже являются традиционными предметами экспорта из СССР. Сюда же надо добавить экзотику — торговлю водкой, икрой, пушниной, изделиями кустар-

ных промыслов, консервами рыб из ценных пород. Доходы от международного туризма тоже очень велики, ибо число советских граждан, выпускаемых за границу, ничтожно, и обменять на валюту им разрешают смехотворную сумму — 10-20 рублей. С иностранцев же, приезжающих в Союз, дерут так, что, например, поездка из Хельсинки в Ленинград стоит дороже, чем на такое же время — в Италию. Но, главное, следует помнить, что на каком бы товаре ни делали барыши коммунистические страны, продают они по сути всегда одно и то же — дешевый труд.

В журнале «Time» от 16. 10. 78 помещена статья, описывающая наступление на европейский рынок продукции развивающихся стран. Даются цифры почасовой оплаты рабочих текстильной промышленности: в Бельгии — 8,27 доллара, в Западной Германии — 7,32, в Италии — 5,15. И рядом: в Южной Корее — 0,45, в Гонконге — 0,35. Такая неравномерность оплаты привела к тому, что, скажем, уже в 1977 году 43% хлопчатобумажных изделий, купленных европейцами, были изготовлены фабриками Третьего мира. Кроме Южной Кореи и Гонконга, крупными поставщиками выступили Индия, Малазия, Пакистан, Колумбия, Бразилия, Египет, Таиланд. Многие текстильные предприятия во Франции и Бельгии вынуждены были закрыться, тысячи рабочих оказались на улице.

Точно так же и Советский Союз со своими огромными трудовыми ресурсами нащупывает сейчас пути наступления на мировой рынок. Легче всего это осуществить, купив западную технологию, например, автомобильный завод фирмы «Фиат», и затем продавая на Запад продукцию, изготовленную с помощью этой технологии, но обходящуюся гораздо дешевле. Рабочий ВАЗа-Фиата получает в среднем 1 рубль в час, что по официальному курсу равно 1,3 доллара, а по реальному — 0,35. Машина «Жигули», сходящая с конвейера этого завода, стоит в Советском Союзе

7500 рублей, а в Европе продается под именем «Лада» за 5 тысяч долларов. По официальному курсу получается, что торгуют в убыток, а на самом деле — с огромной прибылью, ибо реальная себестоимость автомобиля очень низка.

Другой пример — морские перевозки. Журнал «The Economist» (5. 8. 78) сообщает, что все товары, доставляемые в советские порты и вывозимые из них, перевозятся судами под красным флагом. Эти же суда предлагают свои услуги по всему миру по ценам заметно ниже средних. Между Нью-Йорком и Бермудскими островами регулярно совершает туристские рейсы советский лайнер «Казахстан», и 6 аналогичных кораблей водоизмещением 16600 тонн каждый строятся сейчас на верфях Финляндии. Круизы в Балтийском, Черном, Средиземном, Карибском морях будут стоить жителю Запада примерно на 25% меньше, если он выберет судно советской фирмы. Возможность такого подрезания цен обеспечивается всё тем же: крайней дешевизной труда в СССР — труда нефтяников, добывающих топливо, труда портовых рабочих, труда моряков. Бывший капитан советского торгового флота В. Лысенко получает сейчас на шведской линии 933 доллара в месяц. Советское пароходство платило ему 160 рублей, то есть 213 долларов по официальному курсу или в 4 раза меньше — по реальному.

С особенной наглядностью грабительский подход государства обнаруживает себя в торговле трудом людей науки и искусства. Зарубежные гастроли советских музыкантов, танцоров, циркачей обеспечивают Министерству финансов СССР регулярный приток твердой валюты. Ученые, получающие зарубежные премии или работающие по контракту за рубежом, тоже обязаны сдавать всю получаемую валюту за жалкую компенсацию в рублях. В 1973 году СССР подписал Бернскую конвенцию об охране авторских прав, и с тех пор гонорар за любое литературное или музыкальное про-

изведение, переведенное или исполненное на Западе, делится таким образом: 85% — государству, 15% — автору. Причем опять же не в валюте, а в рублях. (В лучшем случае заплатят чеками для спецмагазинов.)

Дешевый труд рабов в Древнем Риме разорял свободных крестьян, превращал их в неимущих батраков. Рабство в южных штатах Америки тяжело давило на свободных фермеров северных штатов. Так и теперь при активной мировой торговле страна, умеющая соединять дешевый труд с относительно развитой технологией, может наносить серьезные удары по жизненному уровню развитых стран.

Крайняя неэффективность плановой экономики, конечно, лишает коммунистический блок возможности захватить мировой рынок в такой степени, в какой это удалось за последние годы, например, Японии. Но принципиальная разница состоит в том, что в Японии разрешена забастовочная борьба и поэтому существует реальный рост заработной платы, а следовательно, она не может занижать цены на свои товары до бесконечности. В Советском же Союзе реальная заработная плата может быть оставлена замороженной еще на десятилетия. Поэтому стоит наладить качественное производство каких-нибудь изделий, и он сможет нанести огромный урон соответствующим отраслям западной промышленности, вынуждая фирмы к сокращению производства, а некоторые доводя и до банкротства.

8. ЧТОБ БЫЛ НАРОД НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ

Спору нет, для зрелых коммунистических режимов промышленная разруха или голод в собственной стране уже не являются желательными явлениями. В такой ситуации социальная стабильность нарушается, начинаются волнения, голодные бунты, ослабевают во-

енная мощь. Однако внимательный анализ показывает, что и рост благосостояния народа таит целый ряд угроз власти партократии. Идеальным вариантом для нее является положение, при котором народ похож на человека, бредущего в глубокой воде, так что только лицо его удерживается над поверхностью. Управлять таким человеком, сидя на его плечах, оказывается очень легко, ибо он не станет вступать в борьбу с оседлавшим его из страха захлебнуться. Если же дно под его ногами начнет подниматься и туловище высунется из воды хотя бы по грудь, положение «всадника» может оказаться весьма сомнительным и незавидным.

Вся история XX века доказывает, что понятия «эксплуататор», «эксплуататорский класс», будучи вырванными из контекста политической демагогии, лишаются всякого смысла. Что никакое развитое государство не может существовать без присвоения в свою пользу избыточной доли труда, которая пойдет на нужды управления, судопроизводства, обороны, соцобеспечения, образования и т. п. Что в странах, хвастающих упразднением «эксплуатации», эта избыточная доля труда, выжимаемая из граждан, оказывается в 3-4 раза больше, чем в странах, сохранивших в ограниченном виде принцип частной собственности.

Да, рыночная экономика даже при развитой системе предохранительных мер таит в себе опасность выхода из-под контроля, опасность неуправляемости. Да, неравномерность распределения жизненных благ при рыночном регулировании хозяйства может весьма часто переходить границы разумного и справедливого. Но, если осознание этих опасностей и этой несправедливости толкнет современного итальянца, француза, испанца или португальца голосовать за партию, призывающую к упразднению рынка — за коммунистов, — он должен при этом ясно отдавать себе отчет, что голосует он не только за конец политического плюра-

лизма и социальной свободы в своей стране, но также и за приход бедности.

Ибо весь новейший исторический опыт ясно свидетельствует об одном: коммунистическая власть, уничтожающая рыночную экономику как последнее прибежище свободы, насаждающая вместо нее централизованную бюрократию планирующих и контролирующих чиновников, не просто не может покончить с бедностью и нищетой. Она и не хочет, и по сути своей не должна хотеть покончить с ними. Ибо бедность и нищета — неперемненные условия прочности политической власти коммунистов.

ЕФИМОВ Игорь Маркович — родился в 1937 году в Москве. С 1965 по 1978 — член Ленинградского отделения Союза писателей. Выпустил около десяти прозаических книг. Среди них: «Таврический сад», «Лаборантка», «Свергнуть всякое иго». С 1971 года в самиздате появляется его философский труд «Практическая метафизика» (под псевдонимом Андрей Московит). Отрывки из него напечатаны в журнале «Грани» № 87-88, 1973. Другая работа историко-философского направления — «Метаполитика» — под тем же псевдонимом появляется в Самиздате в 1974, а в 1978 выходит отдельной книгой в американском издательстве Strathcona Publ. Co. В настоящее время живет в США.

Восточноевропейский диалог

Эдуард Оганесян

ФИЛОСОФИЯ НАЦИОНАЛИЗМА

Настоящая статья написана по материалам одноименной книги, которую автор опубликовал на армянском языке. Она может быть интересной тем, что основные идеи так называемого системного подхода автор вынес из Советской Армении, где этими идеями был увлечен весьма широкий круг национально мыслящей научно-технической интеллигенции. Пытаясь как-то систематизировать и философски осмыслить идеи, высказываемые в бурных спорах, в которых некогда участвовал и автор, он вместе с тем попытался сохранить тот непрофессиональный философский уровень, на котором велись дискуссии по философским вопросам национального бытия.

Автор считает эти идеи интересными не потому, что они оригинальны, — напротив, все они в той или иной форме уже высказаны профессиональными философами, — а потому, что они были высказаны людьми, у которых не было почти никакого философского образования. Идеи эти были подсказаны кибернетикой и физикой, а других-то знаний, собственно, у этих «философов» и не было. И если тем не менее, мне не удалось изложить системный подход в том виде, в каком он родился, то это потому, что в своем первоизданном виде он был бы понятен только очень узкому кругу читателей. И все же в названной книге достаточно четко прослеживается тот факт, что оправдание своим национальным чувствам научно-техническая интеллигенция Армении искала в законах природы, но,

в отличие от марксистов, она не только находила их там, но и убеждалась, что отсутствие национализма является чем-то противоестественным и, с точки зрения сохранения целостности природы, аморальным. Каковы же основные идеи, вокруг которых формировалось, да и сейчас формируется, национальное мышление армянской интеллигенции? Преследуя цель кратко изложить их, автор в настоящей статье еще больше пожертвовал их первозданностью, пытаясь придать им более философскую форму.

ИДЕЯ ПЕРВАЯ. Национальная политика, как и любая другая политика, требует философского обоснования, т. е. носит мировоззренческий характер. С незапамятных времен люди считали, что философия не должна быть связана с политикой, поскольку философия наблюдает мир, тогда как политика его переделывает. Философия связана с поисками истины и основана на правдолюбии. Она честна и объективна, и ее истины рождаются на базе борьбы мнений. Политика же занята чисто человеческими делами. Поле ее деятельности — человеческое общество, для руководства которым необходима власть, борьба интересов, насилие или прочие воздействия, способные создать в обществе общественную целенаправленность.

Полезность отделения философии от политики очевидна. Поиски истины никак не должны быть связаны с переменными политическими режимами. А политический режим, если он не хочет ограничиваться абстрактными философскими схемами, должен исходить из конкретных общественных требований. Судя по всему, когда Платон описывал общество, управляемое философами, он не представлял себе опасности и ужасов идеологического управления, о которых сегодня знаем мы. Кажется, что мы теперь уже знаем: политика не должна мешать философии, а философия не должна навязывать свою волю политике. Поли-

тика — это искусство достижения цели, и для нее должна быть безразлична сущность самой цели.

Но жизнь сложнее, и на каждом шагу она в противовес логике упрямо твердит нам, что нельзя политику полностью отделить от философии. Ярким примером этой невозможности является французская революция, которая свершилась под знаменем идей французских просветителей. Революция эта была одухотворена идеологией. Еще более была одухотворена идеологией русская революция, которая свершилась не во имя познания мира, а во имя его переустройства. Таким же был фашизм.

Постепенно стало проясняться, что политика, лишенная идеологии, превращается в ценность в себе и для себя. Проникновение философии в политику — пожалуй, самая отличительная черта нашей эпохи. И это естественно, поскольку если цель политики есть создание более справедливого, точнее, более приемлемого общества, то она никак не может обойтись без услуг философии. Всякая политика должна опираться на моральные ценности, которые лежат в духовной сфере общественного бытия. Если политики ценят свободу, то это не значит, что они свободны от моральных ценностей, а следовательно, от философии. Все политики, да и просто люди, нуждаются в каких-то жизненных ориентирах. Для националистов разных времен и народов эти ориентиры носили различный характер. Религия, раса, социальная совместимость, общность исторической судьбы или всё это, вместе взятое, служили базой ведения национальной политики. Но база эта в сущности своей носит мировоззренческий характер и в аксиологическом плане может быть осмыслена лишь в философии. Вот почему национализм политический должен строиться на национализме философском. А философия, являясь наукой о миропонимании, по существу, определяет место наций в общем мироздании. И, следовательно, истоки нацио-

нализма необходимо искать не в общественных формациях, а глубже — в первопричинах.

ИДЕЯ ВТОРАЯ. Бытие и сознание попеременно определяют друг друга, но ни одно из них не имеет первенства ни по времени, ни по значимости. Если мы проблему «курицы и яйца» рассматриваем как образец неразрешимой дилеммы, то делаем это лишь по причине ограниченности нашего конкретного и логического видения. Время и несовершенная наша память скрывают от нас изначальные тайны мироздания. Если мы попытаемся проследить историческую судьбу одной конкретной курицы, то мы получим бесконечную цепь из чередующихся звеньев «курица-яйцо», конец которой исчезает в бесконечном прошлом. И из этой глубины веков наша логика не может вынести ничего, кроме предположений. Вопрос «курица или яйцо?» остается без ответа. Но почему мы так стараемся получить ответ на этот вопрос? Неужели нам не достаточно того, что мы знаем самое главное: курица несет яйца, а из яиц вылупляются цыплята. Оказывается, этого нам не достаточно, нам нужно еще проникнуть в тайны изначальные и четко оценить, где главное, а где второстепенное. Мы хотим обнаружить причину и следствие, базис и надстройку. И там, где нам не удастся сделать это опытным путем, мы прибегаем к предположениям, на которых и строим свои теории. Но чего стоят наши предположения?

Давайте рассмотрим один очень хорошо изученный химико-технологический процесс, который может послужить моделью проблемы курицы и яйца. Процесс этот называется ректификацией и служит для разделения жидких смесей. Он основан на том принципе, что различные жидкости имеют различные температуры кипения и вследствие этого в одних и тех же условиях испаряются в различных количествах. Так, над смесью «спирт-вода» паров спирта в процентном

отношении всегда больше. Конденсируя этот пар, мы получаем жидкость с большим содержанием спирта. Многократно испаряя и конденсируя смесь, мы можем отделить одну жидкость от другой. Но известно, что для полного отделения этих жидкостей требуется бесконечное число последовательных испарений и конденсаций. А теперь представим, что кто-то из нас решил из смеси спирт-вода выделить спирт в совершенно чистом виде. Он начинает процесс с испарения жидкости и по цепочке пар-жидкость движется к бесконечности. И вот там, где-то в бесконечности, люди видят только то, что пар и жидкость, сменяя друг друга, появились из глубины веков. Что же там первично, жидкость или пар? Этого они не знают. И вот те, которые делают предположение о паре, создают философию «паризма», а те, кто придерживается противоположной точки зрения, создают философию «жидкостизма». Но мы-то с вами знаем, что жидкость и пар ни по значимости, ни по времени не имеют первенства. Процесс можно было бы начать и с пара, и с жидкости. Выбор пара или жидкости означает выбор окружающей температуры, и не больше. Точно так же стоит проблема бытия и сознания. Бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. Причем оба эти процесса происходят одновременно, взаимно обуславливая друг друга. Выбрать за начало отсчета сознание или бытие означает не больше, чем выбор внешних условий. Бывают условия, в которых решающую роль играет бытие, но не реже встречаются условия, в которых первенство остается за сознанием. И, следовательно, в задачу философии входит не бесплодная попытка утверждения царства бытия над сознанием или наоборот, а выделение тех областей существования, где решающую роль играет бытие, и тех, где эта роль принадлежит сознанию. При этом не следует забывать, что их взаимная обусловленность существует всегда и всюду.

ИДЕЯ ТРЕТЬЯ. Кирпичами мироздания являются иерархически взаимосвязанные материально-духовные системы, целостное восприятие которых металогично, т. е. осуществляется вне рамок логического мышления.

По существу, эта идея в несколько иной форме была сформулирована Бергсоном и базировалась на принципе, который гласит, что целостность системы, или ее образ, больше, чем сумма ее составных элементов. А если это так, то логика, которая при изучении явлений и предметов разлагает целое на составные части, не способна познать образ. Но те, кто выдвигал эту идею в Советской Армении, понятия не имели о Бергсоне, они лишь хорошо знали «теорию распознавания образов», которая и по сей день очень модна в кибернетике, но неминуемо терпит крах именно из-за правильности бергсоновских концепций. Уже сегодня философски мыслящие кибернетики поняли, что на основе отдельных признаков нельзя построить образа и что вычислительные машины способны всего лишь суммировать признаки, но никак не воспринимать образ. Целостные и естественные системы, образуя целостность мира, ничего общего не имеют с понятием «субстанция», потому что субстанция — не разлагающаяся, сама себе равная сущность. А система содержит в себе разнообразие, достаточное для формирования образа. Целостность системы — это ее статическое свойство. Динамическая особенность системы заключается в ее целенаправленности. Анализ целенаправленности и целостности систем, который был проведен по всем правилам кибернетики, показал, что из системной целостности и целенаправленности следует целостность истории, связь времен и равнозначность оценок событий прошлого, настоящего и будущего.

ИДЕЯ ЧЕТВЕРТАЯ. Наряду с субъективными ценностями, которые формируются большинством голосов, существуют объективные ценности, которые связаны со структурой мироздания и которые формируются голосами авторитетов. В области объективных ценностей «о вкусах спорят», ибо там не человек определяет ценность, а ценность определяет достоинство и значимость человека. Там не только спорят о вкусах, но от спора отстраняются люди «с некомпетентными вкусами». Там ценность Баха или Достоевского решается не большинством голосов «некомпетентных», а меньшинством голосов «специалистов». Но кто же эти «компетентные специалисты»? Легче всего придумать им название. Название, собственно, уже давно придумано. Это пророки, не ученые, а пророки, ибо эти специалисты в вопросах познания объективных ценностей выполняют ту же роль, что и пророки в вопросах познания Бога. Гораздо труднее показать источник объективной ценности. Отступая перед этой трудностью и движимые поверхностными представлениями о справедливости и равенстве, релятивисты вообще отказались от объективных ценностей и построили свою субъективистскую аксиологию, где при определении ценностей мнения всех равны, ибо для них единственным источником ценности является собственная удовлетворенность. Если мы творим добро, — говорят они, — то делаем это для того, чтобы получить от этого удовлетворение.

Но объективные ценности существуют, и связаны они со структурой мироздания. Не случайно все те, кто вступает в контакт с истиной, нисколько не сомневаются в наличии объективных ценностей. Будь то художник или верующий, революционер или ученый, если он признал наличие чего-то, что важнее его самого, он тем самым уже признал наличие объективных ценностей. И если в мире все еще существует жертвенность, то это самое прекрасное наше качество зиждится

на объективной ценности. И эта объективная ценность имеет такую же иерархическую структуру, какова структура мира. Если целостность мира, ее образ и целенаправленность есть ее главное свойство, то эта целостность и целенаправленность и есть самая главная ценность. Если в структуре мира животные, растения, человек, семья, нация, общество являются естественными системами, т. е. кирпичами мироздания, то каждая из этих систем имеет объективную ценность на соответствующем уровне иерархии ценностей.

ИДЕЯ ПЯТАЯ. Нация является естественной системой и в этом своем качестве представляет объективную и абсолютную ценность.

Все прочие общественные ценности, которые характеризуют общественные режимы, являются относительными и субъективными ценностями, поскольку связаны не с сущностью, а с внешней формой правления системы. Система же сохраняет свою целостность потому, что имеет внутреннее управление, т. е. самоуправляема. Лучшей же формой внешнего управления будет та, которая совпадает, или, точнее, не противоречит внутренним принципам самоуправления. Всякая попытка навязать всем нациям какую-то одну «хорошую» систему правления противоречит законам достаточного разнообразия, которое необходимо для сохранения целостности образа мира.

Системный подход к проблемам национального бытия позволил избежать анализа таких вопросов, как общность языка, культуры, территории, или вопроса, когда и как появились нации. Все это относится к научному подходу, который, расчленив систему, пытается изучить составные элементы и связи между ними. Мы же знаем, что образ не исчерпывается и не объясняется характерными признаками. Для системного подхода важно лишь одно: является ли нация естественной системой, одним из кирпичей мироздания,

или это искусственная общность, рожденная на базе наших нужд как форма сотрудничества.

О том, что нация есть продукт добровольного сговора людей, уже давно никто не говорит. Но у противников естественности национального бытия есть более тонкие инструменты. Многие из них пытаются доказать, что нации появились не в результате сговора или договора, а сами собой, без определенной цели, как результат случайного суммирования отдельных волей. Так появляются тропинки в лесу и цены на свободном рынке. Каждый действует в угоду себе, а в результате рождается нечто новое. Так, мол, появились и нации.

Однако статистический анализ и теория случайных процессов показывают, что случайные явления не могут порождать порядок: вероятность такого события столь мала, что ее можно было бы сравнить с рождением музыкального шедевра из случайного подбора музыкальных звуков. Из случайных волей индивидуумов не могла родиться национальная воля. Нация и национальная воля могли родиться только из целенаправленной реализации некой изначальной идеи. Наличие наций делает общество управляемым, ибо управляемость системы связана с ее размерами. Интересно в этой связи отметить, что социологи давно заметили некоторую связь между размерами нации и степенью анархичности национального характера каждого члена нации.

Этим как бы подтверждается тот факт, что в замыслах природы национальная структура общества связана с управляемостью общества. Там, где рушится национальная структура, появляется опасность неуправляемости, опасность хаоса. Эта неуправляемость хорошо известна специалистам по «теории больших систем», и пренебрегать ею не следует также в человеческом обществе.

Что же касается иерархической лестницы: человек-нация-человечество, — то здесь системный подход рассматривает эту связь с точки зрения целостности мира. Иначе говоря, каждая из вышеназванных ступеней иерархии лишь корректирует самоуправляемость нижней ступени.

И вот на основе вышеизложенных пяти идей, начиная с 60-х годов, в Армении начинает формироваться национальная форма общественного мышления. Именно отсюда начинается история армянского инакомыслия. Уже в 62-м году то, что сейчас получило название «самиздат», в Армении расцвело повсеместно. Неофициальные исследования национального вопроса, передаваемые из рук в руки, были столь частым явлением, что уже никто и не пытался это скрывать. А уровень этих исследований показывал, что за этими рукописями стоят ведущие писатели и историки республики. Власти смотрели на это сквозь пальцы до тех пор, пока в 1965 году в Ереване не состоялась общенациональная демонстрация, приуроченная к 50-летию геноцида армян в Турции. «Самиздат» 60-х годов удалось задуть, поскольку исходил он от высокопоставленных особ. Но вот эстафету инакомыслия подхватила молодежь и пошла своим особым, не знающим страха, молодежным путем. Но все-таки мы должны давать себе отчет в том, что начало было заложено теми идеями, которые здесь были кратко изложены.

Запад — Восток

Родольфо К в а д р е л л и

ДВОЙНАЯ УТОПИЯ

Современный человек, то есть любой из нас, своими взлетами и падениями обязан идеалу, которого сам он не сознает, но который присутствует повсюду как неосознанная реальность: как утопия. И поскольку сам термин происходит от «οὐ τόπος» («не-место», «нигде»), то следует заключить, что наша жизнь ориентирована на несуществующий выход и обречена на неудачу. Однако в действительности наши побуждения не обладают той чистотой и логичностью, которая свойственна теории, потому что постоянно смешиваются с другими побуждениями, и именно поэтому мы не замечаем, что стремимся к недостижимым идеалам. В самом деле, современный мир — это удивительная смесь нового и старого: с одной стороны, ставятся неслыханные задачи, с другой стороны, люди постоянно приходят к выводу, что мир всегда всё тот же; при такой двойственности не удивительно, что умеренность воспринимается человеком как высшая степень нормальности.

Но это не так. И, хотя поразительные последствия нового можно видеть уже повсюду, существует внутреннее, почти непоборимое отталкивание, нежелание выяснить, каковы же истоки, и не только исторические, того ускорения, которое каждый из нас на себе испытывает. Быть может, препятствием к такому выяснению является сознание (верное или ложное) того, что теперь уже ничего не поделаешь, что разрыв между старым и новым непоправим, что традиция

невозможна. Без преувеличения можно сказать, что мы буквально дышим утопией и сможем обойтись без нее, лишь сделав над собой героическое усилие и получив травму, подобно наркоману, который хочет освободиться от своего наваждения. И все же, в отличие от наркомана, нам случается выжить, и это происходит потому, что утопия — не порок, а искушение, в своем абсолютно чистом виде не лишенное достоинства, хотя и вывернутого наизнанку. Корень утопии — в нетерпимости к миру такому, как он есть, она опирается на убеждение, что мир устроен плохо и что его нужно изменить. Существуют две утопии современности: научная и социальная. Они имеют общие истоки и пользуются очень схожими средствами, хотя и направлены на разные объекты. С одной стороны, выступают против природы с помощью науки и техники, чтобы устранить природное зло: болезни, боль, недостатки и в конечном счете смерть. С другой стороны, выступают против истории, чтобы устранить зло, порожденное человеком: несправедливость, угнетение, насилие, — и с этой целью прибегают к реформам и социальным революциям.

Нужно признать, что оба эти желания столь глубоко коренятся в человеке, что никакие призывы к реализму никогда их не одолеют. Ведь нет ничего более реального, чем желание не страдать и не умирать, не терпеть несправедливость и насилие, однако его невозможно целиком реализовать. Следовало бы спросить: и давно это так? Можно ли указать на конкретный исторический момент, когда эта двойная утопия возникла и начала действовать, или же верно утверждение, что она существовала всегда, но только в новое время нашла средства для своей реализации?

Ответ на этот вопрос очень важен. Я думаю, что и до современной научно-технической революции это искушение существовало, находя свое выражение в мифах о золотых реках или о философском камне,

но оно эффективно разрушалось другими силами, которые затем постепенно ослабели. Дело не в новых средствах, которые дали надежду на реализацию желания, а в теоретизации такой возможности, которая и изобрела средства. Со всей очевидностью можно видеть, что два понятия — первородного греха и Творения — постепенно устраняются с началом Возрождения. Идентификация Бога с миром или с природой, частью которой является и человек, устраняет понятие неизбежности зла и побуждает человека, «творца собственного счастья», дерзать, как Бог. Поэтому неудивительно, что XVI век стал веком утопии. Предпочтение, оказываемое активной жизни перед жизнью созерцательной, — вот тот теоретический инструмент, который затем порождает и практические средства. Именно тогда начинают говорить о древних и современных людях — сначала «возрождая» древних и противопоставляя их христианству, затем и их отбрасывая во имя нового. Очень просто в этой связи понять Бэкона и Декарта: уверенность первого в том, что знание — сила, то есть способность переделать мир в интересах человека (см. утопию о Новой Атлантиде*), и убежденность второго в том, что философия должна сделать человека «хозяином и учителем природы». Очень просто, ибо мир как *res extensa*, лишенный качества и потенциальных возможностей, оправдывает с точки зрения теоретической и моральной всевозможные манипуляции над ним. И все же перед лицом побед над природой, всё умножающихся, едва получено их теоретическое оправдание, следует спросить себя,

* Следует обратить внимание в этой связи на два факта: некоторые из целей, указанные в «Новой Атлантиде» и в «*Magnalia patuae*», реализованы, другие же, труднее осуществимые или вовсе неосуществимые, раскрывают смысл всего проекта: омолодить старых, продлить до бесконечности жизнь человека, переделать тело и заменять части тела, создать новые виды и переделать виды существующие «вопреки всяким законам природы».

почему их нужно называть утопиями и не справедливее ли признать, что они были раньше утопиями, а теперь стали реальностью. И тут выступает на сцену то, что я назвал бы «обессиливанием» утопии, особенно очевидным в социальной утопии, — забвение истоков всего движения преобразований и довольствование результатами, которые уже достигнуты и считаются нормой, пока не наступает новый скачок. Но ведь совершенно ясно, что процесс этот бесконечен и преследует всё новые и новые цели: в тот самый момент, когда радуешься достигнутым результатам, уже знаешь, что они не окончательны и что предстоит штурмовать новые границы.

Если бы этот процесс был теоретически задуман и практически осуществлен как процесс конечный и частный, то не нужно было бы и спрашивать, какова была или какова должна быть последняя победа, после которой нечего уже больше желать. Но безостановочность процесса показывает, что сознательная или, скорее, неосознанная последняя цель существует, и, прежде всего, в научной утопии: нарастающая власть человека над природой приведет постепенно к преодолению сопротивления природы и к победе над смертью, победе, которая представляется, конечно, трудной, но вовсе не безумной затеей. В самом деле, что побуждало бы все время идти дальше достигнутой победы, если конечная и высшая цель остается недостижимой?

В социальной утопии безграничная устремленность и ее обессиливание не менее очевидны, в особенности — в марксистском социализме. Цель бесконечных социальных реформ и периодически возникающих насильственных революций — вовсе не в том, как думают многие, чтобы восстановить утраченную справедливость. Ведь «реформировать» значит вновь придать форму тому, что ее утратило. И здесь тоже мы видим бесконечный процесс, имеющий, однако, более или менее осознанную цель, более или менее ясно сфор-

мулированную. Продвижение вперед здесь тоже, как и в научной утопии, если процесс не хочет стать самоцелью и выродиться в нелепость, должно предполагать достижение окончательной и тотальной цели. У Маркса, например, она предстает как общество без Государства, как прыжок из царства необходимости в царство свободы, как переход от социализма к коммунизму, что, если хорошенько поразмыслить, не намного более утопично, нежели победа над смертью. В самом деле, эта конечная цель, после которой история должна бы завершиться и которая является лишь светским вариантом еврейской эсхатологии, состоит в построении такого общества, в котором больше не нужны законы и нет никакого принуждения, потому что оно являет собой не что иное, как царство Любви.

Важно понять, что в этой двойной утопии, научной и социальной, человек уже перестает быть человеком и становится чем-то иным, ибо трудно себе представить, чтобы человек, ничем не ограниченный, не подвластный ни природной, ни исторической необходимости, всё еще оставался человеком. Пока же, в период перестройки, человек по существу есть лишь *процесс*, многие философы даже утверждают, что нельзя говорить о природе человека, поскольку в нем нет ничего окончательного и постоянного. Отсюда и право на научные и социальные (или научно-социальные) манипуляции, отсюда современный тоталитаризм, который не случайно всегда соединяет в себе понятие социального с понятием научного. Если верить в то, что существует *природа* человека, тоталитаризм становится невозможным; но этой-то веры почти нигде уже и нет.

Нетрудно, таким образом, понять, что современный тоталитаризм находит в гитлеризме и в сталинизме лишь наиболее ужасные свои частные проявления, в которых утопия нового человека предстает в своей ускоренной версии, лишенной уравновешивающих начал, — утопия, которая, как я говорил, все время более

или менее удачно трансформируется в ситуации менее радикальные. Тоталитаризм как побочное явление в большей или меньшей степени присутствует во всех современных обществах, где ему противостоят силы, которые частично являются остатками прошлого и которые, следовательно, нужно рассматривать как исчерпывающийся капитал, частично же — результат неистребимой жизнеспособности человека, хотя и ослабленной в силу удаления от истины. Социальная утопия и вытекающий из нее тоталитаризм представляются многим как возврат (или, скорее, регресс) к авторитарному обществу прошлого, которое было разрушено современной либеральной мыслью. Отсюда же, между прочим, и тезис об авторитарном коммунизме как явлении по существу азиатском, чуть ли не монгольском. Даже Бенедетто Кроче сделал уступки этой полуправде. Те, кто так думает, считают, что научный прогресс не связан с утопией и вовсе не несет в себе тоталитарных тенденций. Мнение это в самой своей сути ошибочно, и в нем содержится, по крайней мере, один спорный момент. Верно, что политический тоталитаризм представляет собой своего рода имитацию (или, скорее, карикатуру) органичных религиозных обществ прошлого, но совершенно очевидно, что от этих обществ его отличает по крайней мере одна черта, игнорируемая многими, но решающая. В религиозных и органичных обществах культурная общность *не осознана*, она состоит из верований, действий, ритуалов, которые стали само собой разумеющимися, потому что создавались и воспринимались постепенно, медленно и, следовательно, более или менее свободно. В тоталитарных же обществах, напротив, торжествует предельная сознательность и предустановленность, так что пропаганда становится одним из необходимых средств принуждения: искусственный человек — вот то, что стремятся здесь создать, в других же обществах стараются, пусть со многими заблуждениями,

сообразоваться с естественным человеком. Для такой цели наука необходима, и не случайно Маркс объявил свой социализм научным, даже не подумав о том, что именно современная наука является утопией в наиболее чистой форме; точно так же Вико, основатель историзма, назвал историю «новой наукой» — новой, потому что последней, после победы в XVII веке естественных наук. Научно-техническая революция породила мечту о Рае в конце, а не в начале истории — социальная и историческая утопия лишь приспособились к этому. Все это очень понятно. Если нет средств, которые могут дать надежду на победу над злом природы, то напрасны и мечты об окончательном преодолении зла в истории, потому что история равняется на природу, а не наоборот. Именно поэтому социальная утопия обречена на крушение вслед за утопией научной, и верно не только то, что вторая утопия падет вслед за первой и вследствие падения первой, но также и то, что обе рухнут именно потому, что их две, а не одна, ибо отделение природы от истории несостоятельно с самого начала. Обычно не понимают того, что частичные победы в научной и социальной областях были получены лишь как условия продвижения к тотальным и конечным целям. Может показаться, таким образом, что речь идет о *felix culpa*, о счастливой ошибке, о хитрости разума. Но это не так, ибо один вопрос давно уже и незаметно возникает в уме у всех. До каких пор этот процесс может продолжаться? До каких пор будет — худо ли, хорошо ли — восстанавливаться равновесие, делающее менее разрушительной теперь уже ненасытную страсть к искусственному?

Простой человек не знает, что цель научной утопии — не смягчение боли или увеличение власти человека над природой, не знает, что цель социальной утопии — не улучшение условий жизни трудящихся. Если бы эти две могущественные утопии пришли в мир

только для этих целей, благородных, но частных, они не сдвинули бы даже соломинки. Невозможное, οὐ τόπος, породило возможное, пропитав собой целиком всю действительность, так что простой человек, как я уже сказал, дышит утопией, сам того не замечая. Правда, он мог бы понять это и заметить игру, которая побуждает его день за днем стремиться к частичным и скучным целям из врожденного желания избежать скуки. Он мог бы понять действительность, потому что, даже если он не философ, он вынужден, как никогда раньше, вести «философское» существование. Но нужно сказать, что для такого прозрения необходимы великие философы-дилетанты, а не маленькие профессиональные философы, вроде тех, что мы имеем. Главная забота, как кажется, — закупорить знание в рамках предполагаемой компетенции, научной или исторической, того или иного специалиста, а отнюдь не уяснить духовную реальность, касающуюся всех (за исключением лишь тех случаев, когда речь идет о «популяризации» и когда дают понять, что речь идет именно о популяризации и вульгаризации). Этот двойной стиль доказывает также то, что философская традиция, основанная Платоном и Аристотелем и дающая возможность достичь величайших высот с помощью обыденного языка, явно утрачена.

Утопию не следует осмеивать. Она представляет собой ересь и, следовательно, содержит в себе серьезную духовную основу. В начале статьи я определил эту основу как нетерпимость к миру такому, как он есть, а теперь я определил бы ее как нетерпимость к бесконечному или цикличному времени, которое изо дня в день повторяет свои беды в трагическом скольжении между болью и скукой. И если эта судьба давит своей непоправимостью именно потому, что ей не видно конца, то неизбежно рождается утопия, сожительствующая иногда с циничным смирением, которое,

как всякая установка, претендующая на реализм, совершенно бессильно и аморально.

Возможна лишь одна альтернатива: если понятию страдания, пережитого каждым из нас (то есть эгоизму, пусть иногда даже возвышенному, как у Шопенгауэра или Леопарди), мы сумеем противопоставить тайну зла, перенесенного сверхличными сущностями, такого, как нарушенная невинность или преданная милость, то мы очутимся перед выбором, который впервые не предстает как утопия. Выбор этот — отчаяние и вера. Отчаяние из-за неспособности человека радикальным образом изменить жизнь, которая невыносима, и вера в то, что время конечно, как с точки зрения индивидуальной (смерть), так и с точки зрения коллективной (конец света), — вера в то, что этот конец есть лишь начало.

Достоевский лучше, чем кто-либо другой, почувствовал и изобразил тайну зла, представив его в своей крайне патологической форме. Зло, причиняемое детям, особенно занимало и мучило его поэтическое воображение, и мы сами, когда читаем его, тоже спрашиваем себя вместе с ним: для чего должна продолжаться история человечества, если ничто, совершенно ничто не в силах искупить, я не говорю — боль, тоску и смерть, но даже слезу невинного ребенка? Достоевский не впал в искушение утопизмом именно потому, что понял зло мира в самой глубине его и в самых крайних проявлениях. Известно также, что он отверг социальные и научные утопии своего времени и своей страны. Но по той же причине он не смог отойти от мирского взгляда на мучителя и невинную жертву и понять, что настоящий обреченный, я бы сказал даже — настоящая жертва, это как раз первый, а воистину спасенный — второй. Достоевский манихейски признавал за злом самостоятельное существование и никогда не осознал его как отсутствие бытия. И, хотя он в конце «Карамазовых» намечает высший подъем

в лице Алеши, мы никогда не видим у него, плененного своим наваждением, перехода в христианскую потусторонность и опрокидывания, переосмысления светского понятия угнетения и несправедливости.

Современный мир, одержимый утопией и утопиями, нельзя отвергнуть: в нем, как я уже говорил, сожительствуют, неразрывно связанные, многие миры и многие силы, и намерения, очевидные и прямолинейные в теории, в действительности видоизменяются, осложненные другими намерениями. Действие, которое нам предстоит, при ближайшем рассмотрении оказывается не-действием, это скорее умственный и словесный труд. Мы должны *иронически* проникать в современный мир, который является и нашим миром, восстанавливать его истинность изнутри и создавать возможность традиции так, чтобы, пронизанный нашим духом, он оказался видоизмененным, преображенным и растущим самостоятельно. По этой причине следует избегать столкновений политического и практического характера, создающих новые и шаткие диалектические антитезы и синтезы, — скорее следует разоблачать ту скрытую цель утопий, которая порождает те частичные цели, что заставляют людей суетиться, не понимая самого смысла этой суеты. Именно это и ничто иное является нашей задачей, потому что, если просвещение будет эффективным, утопия выдохнется сама собой, постепенно разваливая весь мощный механизм, который до сих пор ее поддерживал. Нужно вооружиться этим активным терпением, чтобы не впасть в искушение ответных действий и подготовить жилище, куда мог бы вернуться человек, избежав катастроф.

Факты и свидетельства

МОСКОВСКАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

25 апреля 1979 г.

Документ № 87

О ПОЛОЖЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ СССР

Мы представляем в качестве документа московской Группы «Хельсинки» доклад, составленный политзаключенными Уральских лагерей: основателем московской Группы «Хельсинки» Юрием ОРЛОВЫМ, членом Украинской группы «Хельсинки» Миколой МАТУСЕВИЧЕМ, Зиновием АНТОНЮКОМ и Валерием МАРЧЕНКО*.

Ю. Орлов был арестован в феврале 1977 г., осужден в июле 1978 (7 лет лишения свободы в лагере строгого режима и 5 лет ссылки). Находится в лагере с августа 1978 г. (в августе-сентябре находился в зоне № 35, затем — в зоне № 37). С самого начала Ю. Орлов объявил себя представителем Группы «Хельсинки» в лагере.

М. Матусевич, арестованный в апреле 1977 г. и осужденный в апреле 1978 (7 лет лишения свободы в лагере строгого режима и 5 лет ссылки), отбывает наказание в зоне № 35.

З. Антонюк отбывал семилетний срок лишения свободы в Мордовских и Уральских лагерях строгого режима, а также, в течение трех лет, во Владимирской тюрьме; в январе 1979, по окончании срока заключения, направлен в ссылку, где, по приговору, должен отбыть три года.

В. Марченко был арестован летом 1973 г., осужден, как и остальные соавторы доклада, по обвинению в «антисоветской агитации и

* VII-й раздел доклада — по всей видимости, дошедший до Москвы позже — написан Пятрасом ПЛУЙРАСОМ-ПЛУМПОЙ. П. Плуйрас-Плумпа арестован в ноябре 1973 г., осужден в декабре 1974 (8 лет строгого режима). По тому же обвинению в антисоветской пропаганде он уже отсидел 7 лет в 1958-65 гг. (арестован был в возрасте 19 лет). Отбывает наказание в Уральских лагерях. — П р и м е д.

пропаганде» на 6 лет лишения свободы и 3 года ссылки. Большую часть срока отбыл в Уральских лагерях; в 1977-78 гг. около полугода находился в Киевской тюрьме КГБ на «профилактике» (от него добивались заявления об отказе от своих взглядов — «раскаяния»). Марченко тяжело болен, и предстоящий этап в ссылку угрожает его жизни.

Составить такой доклад в условиях лагеря, переправить его за кордоны лагеря — чрезвычайно трудная задача; если обнаружат, поймают с «поличным» — не только пропадет вся работа, но и подвергнут новым репрессиям. В связи со специфическими трудностями утрачен раздел V-й доклада.

*
*
*

Этот документ, составленный на основе непосредственных наблюдений его авторов, испытавших на себе и советское «правосудие» и советскую «исправительно-трудовую» систему, содержащий не только изложение фактов, но и анализ ряда аспектов советской пенитенциарной системы, — Группа считает очень важным, очень значимым. Группа полностью разделяет с авторами доклада ответственность за его содержание.

Мы обращаемся к главам Правительств стран, подписавших Хельсинкский Акт, а также к общественности этих стран с просьбой о широком распространении документа Ю. Орлова, М. Матусевича, В. Антонюка, В. Марченко.

25 апреля 1979 г.

Члены московской Группы «Хельсинки»:
Е. Боннэр, С. Каллистратова, М. Ланда,
Н. Мейман, В. Некипелов, Т. Осипова,
Ю. Ярым-Агаев.

I. ВВЕДЕНИЕ

Главное в проблеме заключенных в СССР — это большое количество граждан, лишенных свободы полностью или частично, по решению суда или административным порядком. Все они в той или иной форме привлекаются к принудительному труду. Их общее

число сохраняется в секрете, но оно поддается приближительной оценке. Заключение исправительно-трудовых колоний особого, строгого, усиленного режима; колоний-поселений; воспитательно-трудовых колоний для несовершеннолетних; так называемые «химики», освобожденные условно-досрочно и привлеченные к труду; ссыльные; высланные, — встречаясь на пересылках, в следственных изоляторах-тюрьмах, сравнивают свои наблюдения относительно числа репрессированных. Большинство сходится на том, что общее число з/к, включая следственные тюрьмы и лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) для лиц, признанных пьяницами, не менее трех миллионов человек, а общее число включенных в принудительный труд не менее пяти миллионов, то есть порядка 2% всего населения.

Приходится констатировать, что если постоянная армия безработных является типичным злом капиталистической системы, то, наоборот, постоянная, приблизительно такого же масштаба, армия занятых принудительным трудом является типичным злом «реального социализма» тоталитарного толка. Советская пропаганда правильно указывает, что понимание гражданских прав и свобод в Советском Союзе и на Западе — существенно различны. Она грубо обманывает мировую общественность, когда утверждает, что советская концепция якобы автоматически соответствует интересам трудящегося большинства. Эти миллионы заключенных и полузаключенных, занятых принудительным трудом, миллионы прошедших через это в прошлом, миллионы членов их семей — не менее острая часть трудящихся, чем безработные и члены их семей на Западе.

Существуют очевидные связи между возникновением миллионов людей, выброшенных из нормальной жизни, и экономическими, социальными и политическими особенностями общественной системы. Конечно, в любом обществе часть людей носит в себе

врожденные наклонности, выходящие за сложившиеся рамки. Однако невероятно, чтобы в советском обществе процент таких людей был в десять раз выше, чем на Западе, но ведь именно таково приблизительное соотношение числа з/к в СССР и, скажем, в США — 250 тысяч, по советским данным. Кроме того, значительная часть западных з/к, вероятно, представлена не врожденными преступниками. Учитывая это, можно утверждать, что подавляющее число советских з/к оказываются за колючей проволокой в результате косвенного провоцирования преступлений общими условиями существования. Разумеется, это не означает, что мы хотим оправдать насилие или воровство. Мы лишь указываем на существование коллективного сопреступника — социально-экономическую и политическую систему. Большинство з/к — выходцы из рабочих и крестьян, в лагерях они и сами являются рабочими. Большая часть уголовных преступлений — это хулиганство, воровство, разбой, грабеж, хищения различного масштаба. Значительная часть преступлений совершается в пьяном виде, велик процент пьяниц, и ЛТП составляют уже заметную долю общего числа колоний.

Сами по себе эти пороки характерны для любого современного индустриального общества. Аномальным является здесь не их наличие, а чрезвычайно высокий уровень. Можно указать на следующие источники этого явления:

1) отсутствие такого канала отвлечения людей, особенно молодежи, от пьянства и преступности, как участие в коллективной борьбе за жизненный уровень, за свои права (имеются в виду не планируемые правительством митинги и демонстрации, а также забастовки и т. д.);

2) отсутствие еще одного канала отвлечения — возможности инициативного предпринимательства (без эксплуатации чужого труда). Между тем, суще-

ствуется ряд направлений деятельности сферы услуг, снабжения населения некоторыми видами продуктов и прочее, где частная инициатива повысила бы уровень жизни народа;

3) нежелание части граждан мириться с хронической [неразб.]* по сравнению с известными им западными стандартами и по сравнению с обеспеченностью руководящего меньшинства. Еще раз отмечаем, что мы не имеем целью оправдать преступления, совершаемые на этой почве, но мы указываем на условия, провоцирующие их. Государство провозглашает своей целью высокий уровень жизни народа, однако во многих регионах оно не в состоянии реально обеспечить его;

4) потеря веры в моральные принципы у части молодежи, происшедшая и в результате преследований религиозно-этического характера, и в результате разочарований в государственной идеологии;

5) запрет на информацию общественности по таким вопросам, как число и динамика роста преступлений, число з/к и режим их содержания, нарушение гуманности, и т. п.;

6) наличие определенной заинтересованности государства в использовании принудительного труда. Недостаточная оплата труда, плохие условия приводят к недобору рабочей силы в некоторых промышленных районах. З/к и «химики» играют здесь роль как бы вынужденных штрейкбрехеров, заменяющих рабочих;

7) негуманная концепция «перевоспитания», согласно которой большие сроки заключения, жестокие условия содержания и общее преобладание мер устрашения, неотвратимости наказания — наилучший путь избавления общества от преступности. В действительности же, как признают иногда в беседах официальные лица, «исправительные» уголовные колонии —

* Вероятно, «нуждой». — П р и м. р е д.

это настоящая школа преступности, аморализма, где человек человеку волк, где из-за узаконенной нехватки продуктов питания и вещей процветает спекуляция и первобытно-хищные принципы взаимных отношений, ибо реальность жизни сильнее красивых лозунгов.

Мы обращаем внимание профсоюзных и других рабочих организаций, что СССР является такой развитой индустриально страной, в которой сохраняется пролетариат в самом первобытном смысле этого слова. Положение миллионов граждан, занятых принудительным трудом, можно было бы сравнить с положением крепостных уральских рабочих давно прошедшей эпохи.

Необходимо иметь в виду, что не только политические, но и немалая часть уголовных преступников осуждены несправедливо даже с формальной точки зрения, или, во всяком случае, жестоко. Это результат судебного, и в особенности следственного, произвола.

Режим содержания заключенных всех категорий во многих аспектах содержит прямые нарушения международных обязательств Советского Союза по правам человека. К сожалению, получение достоверной информации о нарушениях прав человека в уголовных колониях, тюрьмах и местах работы «химиков» [неразб.]. Такую информацию могли бы предоставлять осужденные по статье 190*, верующие и другие лица, сообщениям которых можно было [бы] доверять. На основании жалоб многих з/к, с которыми встречались политические заключенные, можно уверенно говорить о скудном питании в тюрьмах и большинстве колоний, о низком заработке во многих местах работы «химиков», об избиениях в некоторых тюрьмах (Балашовская, например), о тяжелых условиях этапирования, о плохом медицинском контроле в некоторых колониях (например, в Мордовской ИТК-5 заключенным не давали

* Имеются в виду ст.ст. 190¹ и 190³ УК РСФСР. — Прим. ред.

освобождения от работы при повышенной температуре, если она ниже 38 °), об угнетающем действии локальных зон, в которых колючая проволока окружает каждый барак в нескольких метрах от его стен и т. п. Информация о положении политзаключенных является существенно более детальной и, несмотря на репрессии, поступает из лагерей и тюрем систематически в течение многих лет.

Проводимая внутри страны национальная политика находит свое отражение в национальном составе политзон. Среди заключенных Мордовских и Уральских лагерей 30-40, а иногда и более, процентов составляют украинцы, около 30% прибалты и менее 30% русские и представители других народов СССР. Именно украинцы вынесли основную тяжесть борьбы против произвола сталинских лагерей, несут они ее и теперь.

Составители доклада комиссии конгресса США накануне Белградской встречи недоумевают по поводу большого числа наказаний з/к в СССР, но ведь советская пенитенциарная система направлена на уничтожение личности, а сохранить личность как таковую можно лишь в сопротивлении. Сопротивлению, несмотря ни на какие наказания.

Мы, осужденные члены Группы содействия, имеем теперь возможность лично наблюдать положение и можем сказать, что вся прежняя информация была правильной. Более того, жизнь политзаключенных во многих ее деталях оказалась драматичней, чем это представлялось на основании вынужденно кратких сообщений с мест заключения: больные более больны, придирки и наказания более бессмысленны и произвольны.

Представляемый доклад суммирует, в основном, положение в политзоне № 35, в которой мы находимся, за последние примерно 2 года. Его различные разделы написаны разными ПЗК — за исключением Орлова

и Матусевича, не членами группы, — давно изучившими соответствующие проблемы. Они отмечают улучшение положения в последние месяцы и недели, однако неясно, насколько эти изменения стабильны, не являются ли они временной тактикой.

Требования малого объема и другие трудности привели к тому, что масса фактов осталась за пределами доклада.

Ю. Орлов

Раздел II. О ТРУДЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

В советской пенитенциарной системе «общественно-полезный труд» провозглашен чуть ли не основным средством воспитания. А поскольку пенитенциарная система — это слепок с общества, то ей присущи пороки, характерные для общества в целом, но в более огненной форме. Сама же по себе идея воспитания трудом, если ее принимать разумно, содержит положительное зерно. Однако в советском агрессивном-бюрократическом исполнении самая разумная идея способна превратиться в свою противоположность.

В исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) СССР принудительный труд является существенной частью наказания — это его главная особенность. Далее, в ИТУ власть выступает по отношению к заключенным в качестве бессовестного эксплуататора, стремящегося урвать побольше, а дать поменьше, используя для этого не только силу, но и обман; наконец, труд в политических ИТУ — это один из рычагов, с помощью которых КГБ и администрация стараются сломить невыносимую моральную и политическую позицию человека, и не только в заключении, но и после освобождения, ибо полное перевоспитание понимается в КГБ только в одном смысле: как сотрудничество

с властями. В этих условиях было бы нелепо говорить о каком-либо воспитательном труде.

Вызывает большое сомнение и общественная полезность труда заключенных. В социально-психологическом плане общество привыкает, как к чему-то естественному, к существованию миллионов современных крепостных рабочих.

В плане экономическом существенно, что заключенные работают на самом устаревшем, часто давно списанном оборудовании, с применением устаревшей же технологии. Следовательно, миллионы людей проходят в заключение школу технологического отставания, а большой отряд инженеров и техников, управляющих трудом з/к, свыкается с устаревшими методами. Таким образом, дешевизна продукта принудительного труда едва ли покрывает убытки, связанные с консервированием архаических методов технологии.

Труд как наказание сопряжен с очевидными физическими и моральными потерями, унижает человеческое достоинство, воспитывает не граждан, а рабов. В некоторых случаях труд заключенных так изнурителен, что его можно назвать пыткой. Например, труд в ПКТ осуществляется на пониженном питании, которое можно еще более понизить при невыполнении выработки, или, к примеру, в части камер Владимирской тюрьмы работа организована по системе, которую з/к называли «СССР» (спальня, столовая, сортир, работа — все это совмещено в камере размером 10 м², где годами живут и работают 2-3 заключенных). В камерах установлены лампы, которые включаются в 6 часов утра и работают до 10 часов вечера, т. е. в течение 16 часов. Изнуренные скудным питанием, заключенные вынуждены соглашаться на эту «услугу» работодателя, им нужно заработать тюремный ларек — 3 рубля в месяц, ведь, как известно, продукты питания и предметы первой необходимости разрешается закупать только на деньги, заработанные в ИТУ. По

словам заключенных, работающих по системе «СССР», здоровье человека редко выдерживает более полугода этот труд и непрерывный стук по 16 часов в день; обычно срываются через три месяца. Уходят из рабочей камеры путем отказа от дальнейшей работы, то есть через карцер и строгий режим. Но отказ от работы дает администрации формальный повод вычитать стоимость питания, одежды и обуви из денежных средств, имеющихся на лицевом счете у неработающего з/к. Поэтому многие из неполитических заключенных через год, когда кончаются заработанные гроши, снова вынуждены возвращаться к системе «СССР» (если администрация не предложит «по благу» работу на заводе, имеющемся при тюрьме), быстро разрушающей их здоровье. Несмотря на такие тяжелые условия труда, тюремная администрация всегда имеет «свободный рынок рабочей силы», так как заключенные (неполитические), испытывая постоянное чувство голода, готовы работать на любых условиях.

Политзаключенные более стойко переносят голод и наказания и отказываются от работы по принципиальным соображениям — например, новое движение за статус политзаключенного явочным порядком, начавшееся в 1975 г. Не все, конечно, работы являются тяжелыми и вредными, но такие работы имеются все-таки во многих уголовных и политических лагерях. Так, в многочисленных лесных зонах очень тяжелые работы на лесоповале и на так называемой «бирже», где часто приходится вручную затаскивать под распил бревна большой толщины. В политической ИТК-36 очень вредна работа по набивке ТЭНов (деталь электроутюга), на которой приходится работать с респираторами или марлей на лице (систематически перерабатывая на этой работе, чтобы иметь хоть какие-то деньги для помощи семье, за короткое время надорвал свое здоровье заключенный Загурский, которого в сентябре 1978 г. активировали в тяжелом состоянии).

Необходимость помощи семье — главная причина сверхурочных работ заключенных. Расценки, однако, столь низки, что работая по 12 часов в сутки, заключенные едва могут посылать семье 50-60 рублей в месяц. Согласно исправительно-трудовому законодательству РСФСР и союзных республик, труд заключенных оплачивается по нормам и расценкам, действующим в народном хозяйстве. Согласно же приказу МВД, расценки работ заключенных должны быть примерно на 5% ниже, чем у вольных рабочих. Действительная ситуация с расценками еще хуже, так как заключенные работают на более устаревшем оборудовании, чем вольные, а также ввиду произвола в расценках, допускаемого в ИТУ.

Иногда нормы и расценки устанавливаются откровенно индивидуально, то есть в зависимости от поведения политзека. Например, стоило Симчичу принять участие в защите Марченко от произвола (осенью 1976 г. администрация обрушила на больного Марченко обойму наказаний, заставляя его, больного, выполнять нормы выработки), как норма по фрезерной обработке резцов, где работает Симчич, стала просто невыполнимой, несмотря на сверхурочную работу. С переходом на эту работу вместо Симчича более лояльного человека (Хохлова А.) были возвращены прежние нормы и расценки. Вообще говоря, нормы выработки очень высоки, выполнить норму нелегко. Норму часто и произвольно повышают без внедрения каких-либо технологических и организационно-технологических нововведений, иногда только ссылаясь на выработку заключенных, работающих сверхурочно. Следует учесть, что 50% реального заработка заключенного вычитается в пользу МВД, которое не жалеет расходов на свои постоянно растущие штаты. Из каждого процента сверх 100% нормы выработки вычитается, однако, лишь 25%, а из каждого процента сверх 200% не вычитается ничего, поэтому для МВД невыгодно,

чтобы у заключенного, несмотря на сверхурочную работу, получалась выработка не только выше 200% нормы, но существенно выше 100%. Отсюда и постоянное взвинчивание норм. И вот администрация, манипулируя нормами выработки, идет на такие обманы рабочих-заключенных, какие использовались капиталистами давно прошедших времен. Из денег, оставшихся после этих вычетов на МВД и снятия сумм по искам, вычитают стоимость питания, одежды, обуви. Причем при раскладе питания на 12 рублей в месяц, со счета з/к снимают под видом разных накладных затрат примерно в два раза больше. Заключенных заставляют работать существенно больше, чем вольных рабочих: не по 41 часу, а по 48 часов в неделю (по 8 часов 6 дней в неделю), но необходимо еще учитывать дополнительные 2 часа общественных работ и отработку дней, проведенных на свидании с родственниками. Заключенные не имеют отпусков, они не получают надбавок за сверхурочные работы, их могут заставить работать и в праздничные дни. Так, 7-8 ноября 1977 г. и 1 января 1978 г. политзаключенного Плумпу заставили работать в котельной без отгула и без положенной по закону двойной оплаты. Когда же в другой раз Плумпа не вышел на работу в воскресенье, он был лишен так называемой производственной надбавки (права расходовать в ларьке на 2 или 4 рубля больше положенных 5 рублей в месяц). Производственная надбавка дается за перевыполнение нормы, но в ИТК-35, как, впрочем, и в других политзонах, она немедленно снимается; например, из-за непосещения политзанятий или когда появляется рапорт надзирателю о случае нарушения режима, где бы это нарушение ни происходило (например, Лисовой шел из столовой «не строем»). Как правило, такие рапорты появляются в результате беззастенчивых придинок к заключенным, проявляющим нежелание «перевоспитываться», то есть в той или иной мере сотрудничать с администрацией.

Часто такие рапорты, придирки сыплются даже на заключенных, просто обращающихся с жалобами и заявлениями о фактах беззакония в зоне в различные советские органы, поскольку это расценивается как неояльность к советской власти.

Здесь можно приводить бесконечное количество примеров. Закон предусматривает в ИТУ профессионально-техническое обучение для заключенных, но ученические деньги начальство нередко старается не выплачивать, принуждая учеников сразу выполнять нормы выработки, дополнительную плату (как ученику) утаивая. Марченко, например, по всем инстанциям добивался своих ученических прав. Практикуют абсолютно не аргументируемое снятие зекон с уже оформленного приказом по колонии ученичества (заодно и с оплаты). Так было с Антонюком, которого сняли с ученичества через неделю после начала производственного обучения на новом месте (фрезеровщиком). Потом выяснилась причина этого нарушения приказа об ученичестве: КГБ решило скрутить его через систему наказания от карцера до ПКТ [неразб.], а потому его списали с производственной зоны и предложили вместе с Пронюком работу по ремонту запретзоны. Поскольку труд — это и рычаг, с помощью которого вводится в действие вся система наказаний, начиная с лишения права покупать продукты в ларьке или лишения права на свидание с родственниками и кончая штрафным изолятором, ПКТ и тюремным заключением на срок до 3 лет, то соответственно посыпались и наказания.

Казалось бы, единственное, что нельзя отобрать у непокорного заключенного, это надбавки в питании за вредность (например, металлисты в ИТК-35 получают за вредность по стакану молока в день). Но и здесь бывают «забывания» включить в список на спецмолоко под видом уточнения перечня работ по степени их вредности. Например, в 1978 г. число заключенных

Владимирской тюрьмы, получающих молоко за вредность, сокращено более, чем в два раза, хотя никаких изменений технологического (ни даже организационного) характера в производстве не произошло.

Закон гласит, что труд заключенных организуется с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, установленных законодательством о труде. На практике это положение полностью игнорируется. Кого только ни принуждали приступать к работе на станке до сдачи экзаменов или даже без какого бы то ни было обучения, начиная с Антонюка в декабре 1972 г. и кончая Плумпой в марте-апреле 1978 г. И наказывают за неподчинение. Собственно, наказывают за отказ подчиненного нарушать законодательство о труде. Впечатляющим примером того, как начальство идет на полное игнорирование не только всех законов и правил по технике безопасности, но и просто элементарной человечности, является эпопея принуждения Светличного, у которого на руках отсутствуют 8 пальцев, работать на компрессорной установке. Решением ВЦСПС за последние годы создана разветвленная сеть правовой инспекции труда. Существует и указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 октября 1976 г. «Об административной ответственности за нарушение законодательства о труде и правил по охране труда». Не вдаваясь в анализ эффективности этих узакониваний на вольных предприятиях, отметим, что предприятия МВД, на которых трудятся миллионы современных пролетариев, остались вообще вне этих узакониваний.

Вообще говоря, система ИТУ, через которую пропускают весьма значительную часть населения государства, является очень важным звеном функционирования реального социализма, сохранения атмосферы бесправия, чувства незащищенности рядового члена общества перед произволом начальства.

Ю. Орлов, З. Антонюк

Раздел III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМИ

Взаимоотношения между администрацией и заключенными преследуют цель «перевоспитания и исправления осужденных», то есть добиться от них отказа от своих убеждений, используя прежде всего исправительно-трудовое законодательство РСФСР и закрытые инструкции МВД, по-видимому, относящиеся к наиболее жестоким из действующих ныне в мире. Той же цели служит изнурительный труд; низкокалорийная, даже не восстанавливающая сил пища; поток наказаний, сыплющийся за малейшее нарушение; строжайшая изоляция от внешнего мира.

Подъем в лагере ИТК-35 производится в 6 часов утра. И достаточно з/к остаться в постели на 1-2 минуты дольше, как дежурный помощник начальника колонии, обычно поджидающий у двери, заскакивает в секцию и, торжественно оглашая, вносит штрафников в список. Наказания за то, что не встал по подъему, особенно широко практиковались в 1973-74 г., тогда им подвергался почти каждый «не вставший на путь исправления». Что упомянутые наказания производились выборочно, легко было заметить по тому, как капитан Поляков или старший лейтенант Чайка отворачивались от з/к, сотрудничавших с администрацией, которые замешкались на своих койках, и тут же «брались на карандаш» Пришляк, Хнох, Давиденко. Старожилы-двадцатипятилетники рассказывают, что в пятидесятые годы «будители» обычно заскакивали с деревянными колотушками и били проспавших по чем попало, так что в семидесятые годы наказание, скажем, лишением права приобретения продуктов питания в ларьке на очередной месяц ретроспективно можно расценивать как гуманное.

В 6 часов 35 минут проводится поверка. Наказывают за опоздание все ту же категорию «неисправимых».

В Мордовии лагадминистрация, снедаемая заботой о здоровье осужденных, обязала всех делать утреннюю гимнастику — унылая картина, где выделяется отнюдь не бодрая группа инвалидов, которая под мелодию «Прощание славянки» выполняет надлежащий комплекс. Неучастие в мероприятии наказывается.

На завтрак и с него, после поверки, отправляются строем. Причем, чтобы не утруждать себя, а то и по издевательским побуждениям, прапорщики заставляют большинство ожидать во дворе, пока поедят инвалиды, получившие диетпитание. Ускорить эту процедуру могут только крайне неблагоприятные погодные условия. За 25 минут до 8 — начала работы — з/к выстраивают перед производственной зоной и после поименной переключки выводят на завод. Так начинается здесь каждый день 48-часовой рабочей недели (новая конституция пока не затронула основ ИТЗ, регламентирующих труд миллионов советских з/к).

После вечерней поверки в 18 часов 30 минут трижды в неделю проводится политчас. За неявку, например, в Мордовских лагерях наказывают, формулируя откровенно: за неучастие в политико-воспитательной работе. В 35-м лагере удалось добиться отмены подобных наказаний многочисленными протестами прокурору в 1974 году. Тогда администрация стала использовать здесь как средство давления невыдачу 2-4 рублей на ларек за перевыполнение нормы. Доказать, что «производственные» деньги не имеют к лекциям и информациям никакого отношения, не удавалось на протяжении нескольких лет. Политико-воспитательную работу, направленную на прививание з/к коммунистического мировоззрения, естественно, игнорируют лица, придерживающиеся других, немарксистских, убеждений. Подобного свободомыслия не могут допустить работники МВД, а представитель такой сугубо гуманной нейтральной профессии, как медицина, доктор Соломина с гневом бросила И. Светличному, заболев-

шему воспалением легких: «Мы вас лечим, а вы такое говорите!» — речь шла о плюрализме в СССР. Отбой в 22 часа по местному времени времени означает «мертвый час» в полном смысле этого определения. И. Залмансона неоднократно наказывали за хождение после отбоя. Д. Верхоляк едва сумел доказать, ссылаясь на диагноз в медкарточке, что он задержался в туалете по причинам чисто физиологического, а не антисоветского свойства.

Для видимости объективности, к перевоспитанию з/к, не желающих отказываться от своих убеждений, подключают и лиц, работающих в ИТК по вольному найму. В роли послушных статистов они, входя в состав воспитательной комиссии, подписывают любые постановления. Так, в 1975 г. возникло ходатайство перед администрацией ИТК ВС-389/35 о помещении Пронюка в ПКТ. Одним из оснований послужило то, что он якобы не выполнил нормы выработки. Туберкулезник Пронюк, у которого нет одного легкого, отсидел 5 месяцев камерного режима. Так КГБ и МВД отплатили, наконец, «виновнику» массовой месячной голодовки и забастовок лета 1974 г.

Администрация часто использует в своих целях аморальных, раздавленных репрессивно-карательным прессом людей. Так, в 1974 г. з/к, члены совета коллектива колонии, Островский и Ефимов по «собственной» инициативе обратились к начальству с ходатайством о применении ст. 77¹ УК РСФСР к нарушителям (заключенные, «терроризирующие других, 'вставших на путь исправления', либо нападающие на администрацию, либо организующие в этих целях 'преступные группировки'»), могут быть осуждены по этой статье на 8-15 лет лишения свободы или приговорены к смертной казни). Рвение двух «отличников труда и быта» было вскоре отмечено всевозможными поощрениями.

«Ходовым» является наказание «за отсутствие на рабочем месте». В 1974-75 г. по этому поводу состав-

ляли рапорты даже не служащие МВД — начальник цеха Азаров, инженер по технике безопасности Жилин и др. Свои действия эти вольные мотивировали тем, что з/к обязаны трудиться. Когда же им пытались объяснить, что нормы завышены, а еды не хватает, в ответ шел всеоправдывающий штамп: «Вы ведь наказаны».

Сам факт заключения уже служит причиной наказания. «Поводы» в таком случае находятся путем по-садистски скрупулезного следования режимным требованиям... Так, Подгородецкий зашел к цензору, старшему лейтенанту Колесниченко, в куртке парикмахера. Поздоровавшись, он спросил, нет ли ему письма (рабочие часы парикмахерской совпадают со временем приема у цензора). Она потребовала, чтобы Подгородецкий привел себя в надлежащий вид и доложил, как положено: «Осужденный такой-то явился по вашему вызову». Подгородецкий отказался от выполнения бессмысленной процедуры. После этого Подгородецкий был наказан за «несоблюдение форм одежды и грубость с представителем администрации», хотя все 26 лет заключения он является примером вежливости и опрятности. По рапорту капитана Кытманова, Б. Шахвердян был лишен ларька за то, что «не поднялся для приветствия».

Обычно очередность наказаний такова: устное предупреждение, выговор, лишение ларька на месяц, карцер, ПКТ и тюрьма. Часто, однако, этот порядок не выдерживается и как к наиболее эффективному средству прибегают к лишению ларька и карцеру. С 1977 г., после ввода новых правил внутреннего распорядка ИТУ, стало возможным бессрочное помещение в карцер. Этим не преминуло воспользоваться начальство Владимирской тюрьмы, «прокрутив» 45 суток (июнь-июль 1978 г.) З. Попадюка. Однако это положение Правил, ныне дозволенное «де юре», широко использовалось «де факто» ранее. Так, на те же 45

суток был водворен в карцер С. Сапеляк (ИТК ВС-389/36).

Атмосфера безнаказанности, в которой действует администрация, превращает каждого прапорщика, не говоря уже об офицерах, в настоящих профессиональных истязателей в зависимости от степени озлобленности. «Дай мне его в отряд, он у меня шелковым станет», — говорил старший лейтенант Кузнецов начальнику другого отряда о В. Павленкове, и такие слова не были пустым бахвальством. Отрядный Кузнецов, вечно пьяный, развлекался тем, что выискивал повод для наказания. С. Сорока в рождественский вечер поставил на своей тумбочке свечку и елочную ветку — в карцер. Неаккуратно заправленная койка — в карцер. Расстегнутый ворот — в карцер. Да мало ли за что можно карать «государственных преступников».

Широкая шкала довольно разнообразных наказаний зачастую оказывается недостаточной, и тогда в ход идет составление ложных рапортов. Классическим примером подобной фальсификации может служить акт, составленный по распоряжению нач. оперчасти Храмушина на Буковского об отсутствии на рабочем месте. В своей жалобе в прокуратуру Буковский указал, что отсутствовать, равно как и присутствовать на рабочем месте он в тот день не мог, поскольку это был выходной — воскресенье. Пронюка наказали за невыход на работу, хотя у него имелось освобождение по болезни.

Раздел IV. О МЕДОБСЛУЖИВАНИИ

Нижеследующее изложение говорит о медобслуживании ИТК ВС-389/35 со времени руководства Центральной больницей Ю. Ш. Шелией (то есть с сентября 1976 г.) с привлечением особо одиозных нарушений и в других лагерях (достаточно подробное освещение

этой темы до указанной даты можно найти в материалах уже опубликованных).

Очевидно, что серьезность медобслуживания больных определяется видом и сложностью заболеваний. Трудоспособность, а также размер возможных наказаний для з/к должны определяться администрацией, исходя из заключения комиссии ВТЭК, которая раз в год свидетельствует всех з/к. Заключение же ВТЭКовских комиссий, как правило, подвержены рекомендациям сотрудников МВД и КГБ, а также зачастую предвзятым характеристикам главврача зоны. Так, в свое время были признаны инвалидами, а затем лишены II группы инвалидности (группы, дающей право работать почти всегда по желанию) И. Светличный, В. Подгородецкий, Г. Гимпу, В. Филоненко. Противозаконность таких решений очевидна, поскольку у Светличного не отросли 8 пальцев на руках, у Подгородецкого не исчез горб, у Гимпу не появился оперированный желудок, а у Филоненко не прекратилось прогрессирующее заболевание костного мозга (тромбоцитопения). Кстати, когда у последнего отбирали II группу, то ему вписали в медкарточку анализы крови, которые не наблюдались на протяжении многих лет лечения в диспансере.

Фальсификация результатов анализов, то есть запись их в улучшенном виде, в Центральной больнице ИТУ, а также в медчастях зон 35, 36, 37 — распространенное явление. Например, в историю болезни Марченко заносились данные, не соответствующие истине. Результаты анализов, проведенных ему до ареста в Киевском институте заболевания почек, разительно отличаются от аналогичных, проведенных в киевском изоляторе КГБ во время пребывания там на «профилактических собеседованиях».

От инвалидов III группы (определяющей работу с ограничениями) администрация требует норму выработки, строго наказывая в случае ее невыполнения.

С ведома и одобрения врачей за это понесли наказание Светличный, Пронюк, Марченко. За отказ от работы подверглись моральному террору с угрозами дальнейших наказаний инвалиды III группы С. Мамчур (ныне покойный), Е. Пришляк, Д. Басараб. Как следует из всего приведенного, группа инвалидности не только не является фактором, обеспечивающим з/к облегченные условия содержания, но даже не спасает от режимных преследований.

Атмосфера нарушения законности и злоупотреблений, царящая в ИТК, приносит свои зловещие плоды. Показательна здесь смерть Мамчура. После нескольких вызовов, к заболевшему з/к сначала явился прапорщик, затем ДПНК*, замполит, и прошло значительное время, когда нашли дежурную медсестру Кузнецову (но она не знала, что предпринять, спрашивала у з/к Черкавского, «давать ли укол магнезии?»). Потом, наконец, явилась Т. А. Соломина (врач, исполняющий обязанности терапевта, но окончившая факультет сангигиены), которая, видя катастрофическое состояние Мамчура, сумела лишь распорядиться: «госпитализировать». А больной, у которого сначала была резкая головная боль, потом галлюцинации и рвоты, впал в беспамятство... У него начались судороги, исказилось лицо. Явные симптомы инсульта — у Мамчура несколько лет была инвалидность по поводу гипертонии — не были обнаружены ни медсестрой, ни лечащим врачом на протяжении почти трех часов, пока не пришел терапевт-консультант Утыро. В результате на месте не была оказана первая неотложная помощь. Вскрытие показало кровоизлияние в мозг. Уместно будет привести небольшую хронологию контактов покойного с представителями лагерной медицины. Месячное диетпитание Мамчур получал обычно не чаще 2-3 раз в год. Январь 1977 г. — находился в

* Дежурный помощник начальника колонии. — П р и м е р е д.

стационаре и на протяжении трех месяцев до смерти (10/5/77) тщетно просил о диетпитании. На следующий день после смерти разрешение на диетпитание поступило. Лишь в начале мая ему предложили снова госпитализироваться, однако, приученный терпеть, Мамчур чуть затянул с согласием — в больнице почти тюремный режим содержания, и это, как он жаловался, на него действует угнетающе.

Медработники ИТУ ВС-389 являются исполнителями самых возмутительных распоряжений администрации. Летом 1975 г. по оперативному заданию майор Ярунин лично осматривал анальные отверстия и прямую кишку Б. Шахвердяну перед свиданием. В июле 1976 г. в присутствии прапорщика Ермаковой женщиной-медиком производился гинекологический осмотр матери Марченко. Врач ИТК ВС-389/36 Петров выступает в роли раздатчика продуктов и приемщика информации у з/к, сотрудничающих с КГБ (разоблачительное заявление С. Таратухина, зима 1976 г.). Возможность «безболезненного» получения диетпитания и «регулярного отдыха в больничке» обещал К. Исмагилов при попытке вербовки М. Горбалья — плату за сотрудничество с КГБ (ноябрь 1974 г.). Таким образом, налицо обкрадывание больных з/к, нанесение ущерба здоровью ожидающих своей очереди в больницу.

Транспортировка из 36 и 37 зон в Центральную больницу (35-й лагерь) осуществляется в обычных автозаках (смерть Плейша была ускорена из-за этого), тогда как в законе оговорена необходимость перевозки больных в специально оборудованном транспорте.

Диетпитание в ИТУ ВС-389 остается на крайне неудовлетворительном уровне. В рационе постоянно несвежие, даже не пригодные к употреблению продукты. Так, с августа 1977 г. по сентябрь 1978 г. еда готовилась из квашеной капусты, которая была несъедобна еще зимой. Масло в диетпитании летом-осенью 1978 г.

заменялось маргарином либо комбижиром. В августе-сентябре готовили сушеный картофель. За 6 лет существования зоны 389/35 больные не получали свежих фруктов. Да и стоимость так называемой диеты — около 23 рублей — вряд ли разрешает приобретение минимума калорий, необходимых больному.

Центральная больница — небольшое двухэтажное здание, чистое внутри благодаря з/к-уборщикам; куда свозятся больные из 35, 36, 37 зон. Из-за желания администрации всячески ограничить контакты между зонами, три группы больных постоянно находятся в постоянно закрытых помещениях, куда сестра и врач входят в сопровождении прапорщика. Отсутствие круглосуточного дежурства медиков (медсестра в Центральной больнице формально находится от 8 до 20 часов) подвергает опасности жизнь тяжело больных, равно как и отсутствие дежурного санитаря причиняет им дополнительные страдания. В связи с вышеупомянутым оперативным соображением (пресечение контактов) прогулка разрешена лишь два часа в день на локализованных участках. Медперсонал ЦБ состоит из главврача Шелия (хирург), лечащего врача Черкасовой Т. Н. (терапевт), штата медсестер (3-6 человек). Операционная, лаборатория и рентгенкабинет, оснащенные отнюдь не полно и далеко не новым оборудованием, позволяют проводить на месте операции и исследования в зависимости от квалификации исполнителя, но обычно несложные. На консультации, а также в более тяжелых случаях оперирования приглашаются врачи из Чусовской больницы.

В каждой из зон имеется санчасть с одним (37) — двумя (36 зона) врачами, однако из-за нерегулярности завоза медикаментов, а также отсутствия специалистов (стоматолог на 36 зоне не появлялся почти полтора года — 1976-1977 гг.), положение с медобслуживанием остается неудовлетворительным. Около 30% з/к, находящихся в ИТК ВС 389/35, серьезно больны.

В их числе, с недугами, практически неизлечимыми в местных условиях: Герович — рак мочевыводящих путей, Филоненко — воспаление костного мозга, Марченко — нефрит. Активирование же находится в прямой зависимости от убеждений осужденного, его поведения, позиции в лагере.

Трагический итог такого медобслуживания в Скальнинском ИТУ начиная с лета 1972 г. выражается в следующем списке безвременно умерших: Митюк (умер при этапировании из Мордовии на Урал, не была оказана помощь при сахарном диабете), Гантварс (гипертония), Куркис (прободение язвы), Кибартас (рак печени), Мишкенис (послеоперационное осложнение), Опанасенко (повесился в больнице), Рудокас (сердечная недостаточность), Кнавинып (инфаркт), Плейш (заболевание желудочно-кишечного тракта), Луц (инфаркт), Мамчур (инсульт), Межалс (инфаркт), Строганов (астма, сердечная недостаточность). Последние шесть умерли за время работы начальником Шелии. Поскольку диагнозы тщательно скрываются от больных, а тем более других з/к, в проставленные здесь причины смерти могли закрасться ошибки. По рассказам з/к, прибывших из Мордовии, там положение с медобслуживанием еще хуже.

Надо отметить, что в последнее время с медобслуживанием в ИТУ ВС-389 наблюдаются определенные изменения к лучшему. Сейчас больницы обеспечены непросроченными и эффективными медикаментами по ряду ходовых заболеваний сердечно-сосудочной системы, печени и желчных путей, органов пищеварения, туберкулеза, хотя по-прежнему отсутствуют препараты для лечения редких заболеваний и администрация отказывается принимать бандероли с ними, высылаемые из дома на имя главврача. Медкомиссия (в составе Шелии и Черкасовой) в нескольких случаях разрешила получение посылок тяжело больным. Еще год назад такого выполнения ИТЗ добиться от администрации

было невозможно. Не наблюдается в последние месяцы и вывода з/к на работу с высокой температурой, принудительного труда тяжело больных, как это имело место у майора Ярунина в 1974 г. с В. Ганзюком (костный туберкулез, вес 47 кг при росте 176 см). Есть основание считать, что подобные улучшения — реакция властей на массовые протесты з/к и поддержку мировой общественности. Благодаря, главным образом, второму фактору, вначале неэффективные, часто заканчивавшиеся репрессиями протесты и жалобы в медотдел ГУИТУ, Министерство здравоохранения, МВД, ЦК КПСС, Красный Крест дали возможность говорить об определенных сдвигах.

В. Марченко

Раздел VI. ОБ ЭТАПИРОВАНИИ

Мы знали, что этапы часто бывают тяжелы, но не представляли себе, насколько этап в большинстве случаев тяжелое испытание для з/к. Он длится бессмысленно долго — в 7-10 раз дольше, чем при обычной поездке. За время этапирования з/к обычно несколько раз перегоняют в воронки из вагона, из воронка в одно, другое, третье помещение очередной пересыльной тюрьмы и обратно: «быстрее, быстрее...» (вместо точек нередко следует мат), автоматчики, собаки, «садись, встать», обыск, еще обыск и т. д. Для з/к с тяжелым багажом это превращается в кошмар. Правда, все имущество большинства уголовных з/к укладывается в жалкие узелочки. Что касается больных, то конвой, как правило, не проявляет к ним снисхождения. Они должны передвигаться так же, как и все, сопровождаемые руганью и толчками. Поразительно, что, если тяжело больного з/к нужно отправить в тюремную больницу, его перегоняют обычным этапом —

лишь бы он передвигал ноги, но можно и на носилках. В большинстве наблюдаемых нами (и другими политзаключенными) случаев их не сопровождает врач или сестра. Если больница недалеко, то тяжело больного перевозят на обычном воронке. Дорога ухабистая, она вытряхивает из него всю душу. По рассказу В. Марченко, во время перевозки автозаком (воронком) заключенных от железнодорожной станции до Казанской пересыльной тюрьмы (7. 04. 78) в общую камеру воронка, рассчитанную на несколько человек, затолкали 28 человек. Их держали в железном воронке, на солнцепеке, около часа на тюремном двореке (это обычно). Задыхавшиеся люди умоляли конвой выпустить их, но безрезультатно. Он же сообщает, что в тесном даже для одного человека одиночном боксе 24. 04. 78 держали троих: Циоса, Зейтуняна и Марченко. Их выпустили через полчаса только после обещания пожаловаться прокурору. Но другие оставшиеся в общей камере, не политические, ждали еще несколько часов. Кто-то мочился на пол. В автозаках и тесных, грязных, бестуалетных камерах-«отстойниках» пересыльных тюрем люди ожидают часами. Еще хуже маленькие, всегда вонючие боксы на одного-два человека. З. Антонюк в июле 1978 г. просидел целый день в изоляторе в таком боксике (при этапировании из Владимирской тюрьмы в ИТК-35). Антонюк болен костным туберкулезом и тяжелым заболеванием печени.

Камера столыпинского вагона имеет размер полного или половинного плацкартного купе без окна, с решетчатой стенкой в коридор, где шагает часовой. Окна туалета закрашены или обычно закрыты, вентиляция выключена. Вместо 10 и, соответственно, 3 человек, которые могут лежа поместиться в этих камерах, туда обычно набивают 14-18 и, соответственно, 5-6 человек, вынужденных проводить там 1-3 суток. Иногда на короткое время (несколько часов) туда набивают до 25 человек. Туалет не имеет воды, умыть-

ся невозможно, постельных принадлежностей, конечно, нет.

В большинстве случаев конвойные грубы и циничны. Они выдают воду и выводят в туалет лишь после того, как весь вагон начинает колотить ногами в решетчатые двери, иногда это бывает два, чаще 3-4 раза в сутки. При этом на каждый день этапа з/к получает около 600 грамм хлеба, селедку средних размеров, 20 грамм сахара. Когда на перегоне Москва-Киров в июне 1978 г. Ю. Орлов попросил у конвойного дать попить, ответ гласил: «Обойдешься без воды». Вместе с ним в половинной камере поместили двух стариков-туберкулезников, при ходьбе поддерживавших друг друга. Не допросившись туалета, один из них помочился в целлофановый мешочек, разлив половину по полу и нижней полке. Затем, для изоляции от политического, их перевели в другую камеру, набитую битком. Когда один из них хотел лечь на пол, конвой не разрешил. В. Лисовой, после тщетных просьб вывода в туалет, вынужден был мочиться прямо в камере в случайную банку. З. Попадюка в августе 1977 г. в Пензенской тюрьме держали в одной камере с туберкулезными и сифилитическими больными. Антонюк на перегонах Харьков-Свердловск-Пермь и в самой Свердловской пересылке наблюдал в ноябре 1972 г., как офицеры выводили из камер женщин к себе для сожительства.

М. Матусевич, как голодающий, сопровождался врачом на этапе из Киева в ИТК-35 (июнь 1978 г.). Однако врач отказалась оказать какую-либо помощь уголовному з/к соседней камеры вагона с тяжелым внутренним заболеванием и с тяжелым заболеванием кожи. Его должна была бы сопровождать сестра, но этап отправился без нее. Он был весь мокрый от гноя, и другие з/к, включая, конечно, Матусевича, рвали рубашки и портянки для перевязок. Таковы вкратце условия этапирования.

Ю. Орлов

**ЗАЯВЛЕНИЕ АНТОНЮКА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
И ЗАВ. ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ ЦК КПСС**

Я уже неоднократно обращался к вам по поводу провокаций в местах лишения свободы, но — безответно. Сейчас речь пойдет о куда более серьезном.

Ответьте мне, гражданин Генеральный прокурор, хотя бы на сей раз, зачем меня, наказанного по всей строгости советских законов, провоцируют на действия, караемые, скажем, по ст.ст. 64 и 77¹ УК РСФСР? Что, кому-то неймется, что у меня срок заключения близится к концу? Провоцируют не только меня, а еще, как минимум, четверых. Провоцируют на действия, которые легко привязываются к шпионажу и бросают тень на всех моих товарищей в ИТК-ВС/35, да и не только в ИТК-35. Конкретнее, речь идет о следующем. Свердлов В. И. провоцирует на нелегальную передачу из зоны № 35, куда он прибыл в августе сего года, своего письма Президенту Картеру, которое должно содержать шпионскую информацию, которую он не успел передать иностранной разведке до ареста. Провоцирует в зоне на создание подпольной организации и предлагает свои услуги опытного человека, закончившего академию КГБ и имеющего 9-летний опыт сексота с иностранцами, приезжающими в СССР. Мол, только благодаря каким-то особым деталям своего дела и связям он получил 7 лет за попытку измены Родине, а не за хорошо проведенную роль насадки у других подследственных в Лефортово. Прибегая к приему частичного самораскрытия, Свердлов утверждает, что работники КГБ Афанасов и Шукин предложили ему внедриться в ядро зоны, в частности, в украинскую среду, забросить и обнародовать через зону 35 письмо, утверждающее, что к тем сионистам, которые дружески относятся к украинцам, плохо относятся в Израиле. Утверждает, что агентами ЧК являются Симокай-

тис, Бутченко и 18-летний Тилгалис, что несколько раз встречался с Афанасовым, Щукиным и опером Бабиджашвили, имеет связного и прочее. Прошу Вас расследовать, кто стоит за спиной провокатора, и привлечь к уголовной ответственности как провокатора, так и его пособников и вдохновителей, а не ждать, пока попадется на их крючок какая-то несчастная жертва. Отдаю себе отчет в том, что за свой гражданский подвиг буду наказан. Поэтому небезынтересно Вам взять под контроль мою дальнейшую судьбу.

15. 11. 78 г.

Антонюк З. П.

Раздел VII. ПРЕСЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Приведенные ниже данные о нарушении элементарных прав человека в области прав переписки и информации вообще не могут отобразить всей картины со всеобъемлющей полнотой из-за крайне сложных условий написания.

Кроме того, ограничивают и возможность выхода из лагеря все той же информации. Поэтому придется остановиться лишь на некоторых фактах из жизни политзаключенных ВС-389.

В 1974 г. на пресс-конференции в Москве академик А. Сахаров предоставил западным корреспондентам материалы из лагеря 389/35, переписанные рукой з/к З. Антонюка. Поскольку эти документы были корреспондентами сфотографированы и опубликованы, они стали достоянием и КГБ. Несколькими месяцами позднее в лагере ВС 389/35 З. Антонюка вызвали на так называемую наблюдательную комиссию и предложили написать в газету письмо с раскаянием, в противном случае ему пообещали, что он будет приговорен к тюремному заключению.

Поскольку З. Антонюк от подобной сделки отказался, в июле 1975 года он был отправлен во Владимирскую тюрьму. В 1978 году С. Глузман и С. Ковалев в лагере 389/36 были приговорены к камерному заключению в ПКТ на шесть месяцев за то, что собирали и хранили информацию о положении заключенных в лагере. Чтобы помешать выходу информации за пределы лагеря, администрация самым варварским способом мешала свиданиям заключенных с родными. Так, Ю. Хведько за 11 лет заключения имел возможность лишь два раза повидаться с матерью (в 1969 и 1974 гг.). Как только кто-либо из родственников сообщал, что собирается приехать, администрация отвечала, что Хведько лишен права на очередное свидание.

В мае 1978 г. во Владимир на свидание с З. Попадюком приехала его мать. Тюремная администрация сразу за какую-то мелочь лишила Попадюка права на свидание. Лишь через несколько недель Дойников проговорился об истинной причине лишения свидания: «Мать по дороге во Владимир заходила в Москве по разным адресам антисоветчиков и собирала новости. Ее и впредь будут лишать свидания с сыном».

По мнению Г. Суперфина, постоянные конфискации писем и лишения свидания с матерью явились одной из причин инсульта и смерти его матери. Однако капитан Дойников набрался наглости обвинить в смерти матери сына.

Если заключенному предоставляются длительные свидания, то приехавших женщин и детей часто раздевают догола и обыскивают, подвергают самому унижительному осмотру. 22. IX. 1977 г. перед свиданием четыре надзирателя завели П. Плумпу в отдельную комнату, раздели догола, а лагерный врач Петров засунул пальцы в прямую кишку и долго ковырял там, разыскивая какую-то «информацию». Хотя не было и не могло быть никаких данных, что П. Плумпа в своем теле носил эту «информацию».

В 1976 г., перед свиданием, обыскивая девятилетнего сына и пятилетнюю дочь П. Плумпы, надзиратели отделили их от матери, увели в отдельную комнату, раздели догола и разорвали одежду.

В мае 1978 г. Р. Маркосяну во время двухчасового свидания с братом не разрешили поздороваться с пожатием руки. Было также запрещено разговаривать на родном, армянском языке. Присутствующий при свидании надзиратель все время предупреждал, что если будет сказано хоть одно слово по-армянски, то свидание сразу прекратят.

Как правило, во время краткосрочных свиданий разрешается разговаривать только на русском языке. Если дети или родственники заключенного нерусской национальности не знают этого языка, то они и не имеют возможности воспользоваться общим свиданием.

Национальные или религиозные моменты администрации мест заключения часто использует для конфискации или задержания корреспонденции. Письмо З. Антонюка от 1. IX. 76 г. к жене было конфисковано администрацией Владимирской тюрьмы под тем предлогом, что в письме цитируется Геродот на украинском языке. В результате такой дикой украинофобии у З. Антонюка на целый год прервалась переписка. Письмо З. Антонюка от 2. I. 78 г. просто было уворовано под предлогом отправки его на перевод. Все запросы о судьбе письма остались без ответа.

Во время пребывания Марченко в Киевском КГБ (осень и зима 1977 - 78 г.) в лагерь 389/36 на его имя поступило значительное количество корреспонденции, в том числе и заказной. Однако после возвращения В. Марченко в лагерь администрация отказалась выдать ему письма и поздравления, в том числе присланные по поводу его юбилея, тридцатилетия.

Администрация лагерей на несколько недель задерживает письма заключенных нерусской националь-

ности. Еще в 1976 г. М. Кииренд обратился к Чусовскому прокурору: «Обращаю Ваше внимание на грубое нарушение ВС-389/35 установленного законом порядка выдачи личной корреспонденции. Так, письма мне выдаются через месяц после доставки в лагерь: письмо от 23 апреля я получил 3-го июня, от 12 мая получил 10 июня. То же самое происходит с отправкой моих писем. Я протестую против произвольной и необоснованной задержки моей корреспонденции».

Поскольку жалоба М. Кииренда не дала результатов, а лагерный представитель КГБ Утыра сообщил, что письма, написанные на национальных языках, направляются в КГБ, то М. Кииренд послал заявление начальнику Скалинского управления КГБ Дегтянникову. «По существующему закону, я должен отправлять и получать письма в течение трех дней, однако администрация лагеря 35, ссылаясь на то, что мои письма и письма ко мне пишутся на эстонском языке, вручение и отправку писем автоматически затягивает более, чем на месяц. Этот факт расцениваю как проявление шовинизма». Всем, кто с подобными жалобами обращаются к администрации лагеря ВС-389/35 и 36, цензор или другие представители внушают мысль, что заключенные нерусской национальности должны отказаться от привычки писать письма на родном языке. Например, П. Плумпа начиная с 4.12.79 г. послал в Литву 15 заказных писем, но ни разу не получил квитанции об отправлении.

Когда 5 сентября 78 г. Плумпа спросил цензора, почему заказные письма не достигают адресатов и почему не выдаются квитанции об отправке, цензор ответила, что в случае выдачи квитанции по-литовски написанные письма будут идти в одну сторону около трех месяцев, теперь же они идут лишь пять недель.

К категории враждебной или клеветнической информации, подлежащей конфискации, относятся и религиозные книги или письма на религиозные темы.

Так, в мае 1977 г. И. Огурцову (ВС-389/35) пришла пасхальная посылка, в которой, кроме прочего, была Библия. Работники администрации лагеря посылку вскрыли, Библию похитили, а посылку, уже без Библии, отослали назад.

П. Плумпе, ВС-389/36, пришли письма с переписанными главами из Библии. 17. I. 77 г. начальник оперчасти Рожков ему сообщил, что эти главы конфискованы. Как религиозные и тенденциозные.

Заключенные почти никогда не получают писем из-за рубежа, за исключением писем из Израиля, которые конфискуются чуть реже. За все время пребывания в лагерях не получили ни одного письма, присланного из-за границы, М. Кииренд, В. Марченко, З. Антонюк, И. Грабанс и многие другие. И. Огурцов изредка получает письма только из Польши. П. Плумпа за все годы получил только одно заграничное письмо (6 февраля 1976 г., из Швейцарии).

В лагерях ВС-389/35 и 36 как вид запрещенной информации рассматриваются даже жалобы политзаключенных, направляемые в государственные инстанции. Так, 1. 4. 77 г. у В. Марченко при личном обыске была изъята жалоба, адресованная ген. прокурору СССР Руденко, в которой сообщалось о ряде нарушений законности, допущенных во время следствия и судебного разбирательства дела В. Марченко.

В лагере 389/35 было конфисковано заявление В. Лисового от 31. 12. 78 г. председателю Совета Союза Шитикову, в котором он выразил пожелание, чтобы в лагерьной столовой было больше свежих овощей.

В марте 78 года И. Грабанс направил жалобу в президиум Верховного Совета СССР в связи с тем, что письма из Латвии к нему идут два-три месяца. Вскоре после этого переписка И. Грабанса была вообще прервана и в течение уже пяти месяцев он не получает ни одного письма.

Эти факты, которые составляют лишь малую часть общего целого, свидетельствуют, что управление лагерей ВС-389 имеет весьма обширные возможности для нарушения прав человека и государственных законов в отношении политзаключенных. Так, ему предоставлено право пресечения любой информации о подобных нарушениях вплоть до конфискации жалоб заключенных в вышестоящие инстанции.

В лагерях строгого режима не положено иметь телевизоры и радиоприемники, кроме офицерской радиоточки. Количество корреспонденции, которое заключенный имеет право отправить: писем, открыток, телеграмм, то есть в неофициальные инстанции, — ограничивается двумя в месяц. Использование телефонной связи полностью запрещено. Запрещена отправка заявлений, жалоб и другой корреспонденции такого характера в негосударственные организации.

Заключенному не разрешается в жалобе защищать других заключенных, а также не разрешаются коллективные жалобы. Представители «Красного Креста», иностранные корреспонденты и другие иностранные лица никогда не разговаривали с заключенными советских политлагерей. Нужно сказать прямо: советские заключенные смеются, когда читают в советской прессе сообщения о том, каким ограничениям в своих правах подвергаются полит. з/к на Западе или даже в чилийских лагерях. Эти ограничения не идут ни в какое сравнение с ограничениями прав в советских лагерях.

П. Плуйрас-Плумпа, сентябрь 1978 г.

Религия в нашей жизни

Доминик Моравский

ПОД ЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА

Улыбка истории

Пастырское послание польского епископата на праздник Ченстоховской Богоматери (26 августа 1978) призывало к «ответственности за свободу Церкви не только в Польше, но и во всем мире ... прежде всего, в тех странах, где Церковь лишена свободы, где она подвергается давлению или гонениям». Что это было — предчувствие? Предсказание? Возведенный на престол св. Петра после 33 дней понтификата Иоанна Павла I, кардинал Кароль Войтыла в первую очередь призван нести эту ответственность. Избрание его — заслуженная награда Польской Церкви за ее пастырскую и национальную миссию, длящуюся непрерывно более тридцати тяжелых послевоенных лет, за ее стратегию мира и социального освобождения, защиты прав человека, общественной нравственности и культурной целостности нашего народа. После многовековой итальянской гегемонии, которую до сих пор отождествляли с универсализмом Церкви, это избрание означает переоценку польской истории, неразрывно связанной с творческой ролью Церкви.

Тадеуш Мазовецкий, главный редактор католического журнала «Вензь», в заявлении для итальянского радио (переданном из Варшавы, так как власти отказались дать ему заграничный паспорт), дал удачное определение: «...история редко нам улыбалась на про-

тяжении веков — теперь она одарила нас щедрой и благородной улыбкой». Кардиналы-избиратели должным образом оценили обогащающий вклад Польской Церкви — не имеющий себе равных — в достоиние и жизнь всемирной католической Церкви.

Нет смысла доискиваться, как проходило голосование при избрании нового Папы. Верно ли, что сначала оно зашло в тупик в результате столкновения кандидатур кардиналов Сини и Бенелли? Не исключено, даже весьма вероятно. Однако никто другой из многочисленных итальянских *parabili** не был в состоянии набрать больше трети необходимых для избрания голосов. В общем-то, каждый из них так или иначе представлял привычный образ Ватикана, в то время как необходимость решительного перелома, радикального разрыва с «привычностью» ощущалась все очевидней. Распыление голосов между итальянскими кандидатами в конце концов и позволило значительному большинству кардиналов принять отважное решение, будоражившее их умы, вероятно, еще до открытия конклава. Остальное же — остальное довершил Дух Святой. Один итальянский журналист сказал мне вечером того дня, когда было провозглашено *Habemus Papam*** : «Я неверующий, но после этого избрания — готов поверить в Духа Святого».

* *Parabili* (итал.) — неофициальный термин, обозначающий тех, чьи кандидатуры на папский престол наиболее вероятны. Отметим, что перед избранием Иоанна-Павла I пресса писала, что кардинал Войтыла по своим личным данным, несомненно, был бы в числе *parabili*, если бы не был поляком. Перед новым конклавом, после смерти Иоанна-Павла I, имя Кароля Войтылы почти не упоминалось и в таком контексте: уверенность в избрании одного из итальянских кардиналов оставалась неоспоримой. — *Прим. п е р.*

** *Habemus Papam* (лат.) — традиционная формула сообщения о завершении работ конклава и избрании нового Папы Римского. — *Прим. п е р.*

Первый Папа-поляк в истории Церкви, конечно, избран благодаря личным достоинствам, отвечающим «социальному заказу» современного мира, в котором апостольская столица исполняет свою вечную миссию. Для многих кардиналов-избирателей из Азии, Африки и Латинской Америки новый Папа Римский — *sui generis* представитель «третьего мира», имеющего больше общего со «вторым», коммунистическим, нежели с «первым», вступающим в постиндустриальную эру. И все-таки, не умаляя ни достоинств кардинала Войтылы, ни его всесторонней подготовленности к доверенной ему роли верховного пастыря, мы ясно видим, что избрание это могло произойти, поскольку наряду с Примасом Польши кардиналом Стефаном Вышинским бывший краковский митрополит — самая крупная фигура, воплощающая всю Польскую Церковь, ее богатый опыт, исключительную динамичность и трезвый боевой дух.

Левая римская газета «Республика», известная своей ожесточенной антиклерикальностью и прокоммунистическими симпатиями, озаглавила свой первый отчет (с врезанной фотографией кардинала Вышинского) «Сражающаяся Церковь выиграла битву». Незабываемая папская аудиенция для поляков, живущих в Польше и в эмиграции (*festi nazionale polacca*, как назвала это итальянская пресса), скрепила эту «выигранную битву»: Примас Польши, воздающий честь Папе Римскому от имени польского епископата, и Иоанн-Павел II, также преклонивший колени, оба обнявшись, соединившись, как живая, современная скульптура, — вот символ внутреннего единства Церкви и ее единства с народом.

Папа, который пришел издалека

Так он сам себя определил. Здешние газеты применили еще и киноцитату: *che viene dalla freddo**, «который пришел из холодной страны», согревая сердца верующих — католиков и вообще христиан — и в то же время агностиков и неверующих. Католикам он возвращает чувство принадлежности к Церкви, живущей в посюстороннем мире, говорящей обычным, «нормальным», не клерикальным языком. Христианам других исповеданий он демонстрирует не забаррикадированную, но открытую и излучающую свет вовне Церковь. К неверующим он относится с уважением, сообщая им исповедание веры разумной и исполненной братского духа, одушевленной всеобщими гуманистическими идеалами. В представлении Иоанна-Павла II верующий — не идейный противник, а духовный брат неверующего. «Отличный парень, потрясающий *show-man*, — с восторгом и типично американской деловитостью комментирует первые шаги Папы чикагский журналист, декларирующий свое неверие. И с коварной улыбкой прибавляет: — Жаль только, что он обратит к Церкви такое множество новых людей».

Иоанн-Павел II показывает всем Церковь живую, основанную на мистическом соборном переживании, а не только в ее институциональном измерении традиционного «зримого сообщества». Церковь, которую застал Кароль Войтыла в Риме, частично уже обновленная Вторым Ватиканским Собором, как бы приостановилась в своем развитии, разрываемая противоречивыми экстремистскими тенденциями, часто беспомощная в своей неадекватности требованиям нашей

* Западная пресса, схватившись за внешне удачное определение, неоднократно называла Иоанна-Павла II «Папой, который пришел с холода», используя заглавие известного детективного романа Дж. Ле Карре и снятого по нему фильма «Шпион, который пришел с холода». — *Прим. п е р.*

эпохи. Иоанн-Павел II представляет идеальную точку равновесия и способен справиться с этими недомоганиями. Ибо он видит Церковь в разных ее формах, но со сходными проблемами. Анемичная, почти склеротическая Церковь на Западе, где идет коммунистический разгул, распространяется смешение понятий, прогрессируют разрушительные процессы секуляризации и дехристианизации. Живая или оживающая, вопреки тоталитарному подавлению и программному атеизму, Церковь на Востоке, которая, однако, в некоторых странах уже подвергается воздействию тех же, что на Западе, буржуазно-индивидуалистических бацилл. Церковь на пороге осуществления серьезных надежд, но в то же время сталкивающаяся со многими опасностями — в «третьем мире», где выдвижение новых людей и защита ценности местных культур лежат в основе успеха ее религиозно-цивилизаторской миссии. Ибо иначе этим странам грозят либо наихудшие пороки индустриального общества, либо (что вероятнее) оковы диктаторских режимов. «Папа, глядящий далеко вперед в будущее Церкви и ее живого присутствия в современном мире», — замечает об Иоанне-Павле II кардинал-иезуит с Мадагаскара.

Огромное впечатление произвели первые выступления Папы, начиная с его обращения в день интронизации, в особенности призыв открыть границы и твердая убежденность, что долг Церкви — не замалчивать положение, приводящее к нарушению прав человека и гражданина. Иоанн-Павел II — прежде всего, *человек действия*. Трудно назвать его «интеллектуалом» (некоторые так говорят и, по-моему, ошибаются). Его личность многомерна: он получил серьезнейшее современное философско-богословское образование, наделен глубокой культурой мысли и тонко чувствует проблематику современной культуры. Однако все это находит прямое выражение в пастырской и воспитательной деятельности, в постоянном и сознательно обретаемом

общении с людьми. Так что точнее было бы его определить как христианского гуманиста современной эпохи. Из толпы он выделяет личность, семью, профессиональные, социальные, культурные круги. «Он всегда примечал людей индивидуально, — сказал мне молодой священник из краковского архиепископства, — обращался к местным делам и от них лишь переходил к более общим вопросам. Особенно любил он встречаться с молодежью, со студентами; к нему каждый имел доступ, без бюрократических церемоний; одним своим присутствием он разряжал напряженную атмосферу». Этот дар общения с самыми разными людьми Иоанн-Павел II переносит теперь на свою всемирную миссию и на отношения с представителями римской курии. Натолкнется ли он на трудности? Наверняка. Но это человек твердый, закаленный, который знает, чего хочет он и в чем нуждается человечество на склоне второго тысячелетия. Справится.

А что же ватиканская «Остполитик»?

Римская курия созерцала подвижность новоизбранного Папы и его потребность прямого общения с людьми, набожно помалкивая, но в то же время озабоченно. Этот непривычный Папа порывает с прежней рутинной, заставляет приспособливаться к стилю нового понтификата, исполненному воображения и не исключающему импровизации. Ясно, что в курии многое переменится. Иоанн-Павел не только работающий и проницательный — он еще и хорошо знает механизм действия курии (он подолгу бывал в Риме как член различных ватиканских конгрегаций и управлений). Вероятно, он реорганизует курию в направлении столь необходимой децентрализации и эффективного коллегиального епископского правления (в частности, укрепляя роль совета и секретариата Синода епископов).

Независимо от того, как пойдут дела в секторе ватиканской «Остполитик», сам по себе «славянский понтификат» не может не повлиять на дальнейшее развитие отношений между Церковью и коммунистическими государствами. Дело не остановится ни на приветствии Папы Римского (в его интронизационной речи), произнесенном на хорватском, украинском, словацком и литовском языках, ни на призыве к открытию границ. Известный итальянский иезуит о. Сордже, частый гость ватиканского Государственного секретариата, подтверждает мое мнение и, в частности, говорит: «Монсиньор Касароли руководствовался гомогенной концепцией «Остполитик» — оказалось же, что следует различать специфические ситуации в каждой стране и, кроме того, не выдвигать на первое место желание установить официальные отношения с коммунистическими режимами». Польская модель, с этой точки зрения, продемонстрировала свою эффективность и может указывать направление. Примас Польши был абсолютно прав, когда на Синоде 1975 г. призывал ватиканскую дипломатию не быть помехой проповеди Евангелия.

Можно полагать, что Иоанн-Павел II не ограничится тем, что жертв по-прежнему будут призывать к выдержке и терпению, а диктаторов — столь же общо — к миру и разрядке. Кончается эпоха тайной дипломатии, сверхосторожной (прямо говоря, трусливой) и одновременно крайне наивной. Традиционная ватиканская школа дипломатии в наши дни не выдерживает экзамена. Ей требуется если и не полный пересмотр, то хотя бы принципиальное обновление, переоснащение иными методами и критериями, основанными на защите — или, где нужно, на требовании восстановления — религиозной свободы, неотделимой части человеческих и гражданских свобод.

С точки зрения большой политики, новый понтификат вводит дополнительные затруднения в совет-

скую дипломатическую игру, без того уже запутанную и натыкающуюся на различные препятствия. И в то же время он вносит в международные отношения конструктивный элемент, открывая новые перспективы возможных и далеко идущих перемен — независимо от скорости и степени их осуществления.

Попытка прогноза

Понтификат Иоанна-Павла II обещает стать переломным в истории католической Церкви. По мнению вышеупомянутого о. Сордже, главного редактора иезуитского журнала «Чивильта Католика», новый понтификат, наконец-то, позволит итальянской Церкви созреть, утратить свою полную зависимость от Ватикана и свою провинциальность. Итальянская Церковь окажется вынужденной — и это пойдет ей на пользу — исполнять свою общественную роль без посредничества институтов католической партии (христианских демократов) и так наз. побочных организаций (*collaterali*), католической социальной инфраструктуры, служащей для собирания голосов на выборах. Церковь в Италии одряхлела, устала, словно бы оглохла. Теперь она может вернуть себе прежнюю кредитоспособность, восстанавливая контакты с окружающей действительностью и связи с народом (пример Польши заразителен). В ней хватает сил для возрождения, о чем свидетельствует, например, динамичная молодежная организация «Комунионе э Либерационе». Хватает в Италии и энергичных кругов католической интеллигенции. Отстает итальянская Церковь, однако, именно в пастырской деятельности, одновременно не слишком-то успевая и в делах культурно-воспитательных. В Италии растет интерес к польскому опыту церковной внутренней жизни (например, к пастырскому труду среди студенчества).

Некоторые итальянцы называют этот опыт «польской лабораторией культуры», где происходит открытие и преобразование католических, традиционно народных ценностей, согласование их с требованиями и ожиданиями человека наших дней.

Начало понтификата Иоанна-Павла II предвещает конец «политического католицизма», особенно в Италии (в других западных странах он уже отошел в прошлое), то есть привилегированного положения христианско-демократической партии, которая ищет в Церкви и в Ватикане — по привычке и ради собственной пользы — гаранта или хотя бы отправную точку. Церковь — в глазах Иоанна-Павла II — заинтересована в проникновении в различные общественные движения, в том числе и те, что мировоззренчески далеки от христианства. Ей следует быть открытой для нерелигиозных движений либерального или социал-демократического типа, для идейных и культурных течений, которые либо порвали с марксизмом, либо испытывают необходимость пересмотра его и сознательно или бессознательно движутся к христианской концепции человека и мира. Ибо она представляет единственную шкалу нравственных ценностей, которая не только не подверглась распаду, как другие, но, наоборот, проявляет жизнеспособность и практическую ценность. Приходит конец различным организационным формам католического интегризма, который неизбежно приводил — и это мы тоже наблюдали в Польше — на позиции шовинизма, интеллектуального обскурантизма, антисемитизма и, наконец, коллаборантизма как с тоталитарными, так и с диктаторскими режимами.

Войтыла под цензурой

В одной из крупнейших итальянских газет «Иль Джорнале» (8 февраля 1979) напечатана статья нашего друга и сотрудника, члена нашей редколлегии Густава Герлинга-Грудзинского «Войтыла под цензурой». В 1976 г. кардинал Кароль Войтыла, нынешний папа Иоанн-Павел II, был приглашен произнести цикл предпасхальных чтений для Павла VI и его ближайшего окружения. Текст этих чтений (реколлекий) был издан в Италии под заглавием «Segno di contraddizione». Одновременно в Познани католическое издательство «Паллотинум» выпустило их польский текст. При сравнении обоих изданий выясняется, что польская цензура в четырех местах пустила в ход свои ножницы. Два вырезанных фрагмента, должно быть, заинтересуют читателей «Континента».

Говоря о «систематическом и программном отрицании Бога», Кароль Войтыла ссылается на свое личное воспоминание, которое польская цензура нашла нужным выбросить:

«Никогда не забуду впечатления, которое произвел на меня один русский солдат в 1945 году. Только что кончилась война. В двери Краковской духовной семинарии постучался русский военный. На мой вопрос: — Чего ты хочешь? — он ответил, что хочет вступить в семинарию. Разговор наш затянулся надолго. Хотя он и не вступил в семинарию (он, впрочем, довольно туманно представлял себе задачи семинарии), мне эта встреча дала познать великую истину: как умеет Бог — чудом — проникать в ум человеческий, даже в крайне неблагоприятных условиях систематического Его отрицания. Собеседник мой за свою сознательную жизнь почти ни разу не был в храме. В школе, потом на работе в него неустанно вбивали: нет Бога! А он, вопреки этому, повторял: — Я-то всегда знал, что Бог есть, а теперь хотел бы хоть что-нибудь о Нем узнать».

В другом из этих чтений Кароль Войтыла цитирует эссе Лешека Колаковского «Иисус Христос, пророк и реформатор», опубликованное в 1965 г. в варшавском еженедельнике Товарищества атеистов «Аргументы». Будущий папа Иоанн-Павел II весьма точно излагает ход мыслей философа (во времена написания эссе — еще марксиста), но польская цензура прерывает его там, где он подводит итог. Выброшенный фрагмент звучит так:

«В числе ценностей, которые универсальная культура почерпнула из христианства, Колаковский называет пять важнейших: первенство любви над законом; перспектива исключения насилия из межчеловеческих отношений; истина о том, что не хлебом единым жив человек; ниспровержение идеи избранного народа (Колаковский толкует это в том смысле, что нет народов, которые по каким бы то ни было причинам могли бы навязать свое господство другим народам); тезис об органическом несовершенстве мира».

ФИЛОСОФИЯ

Александр Зиновьев

ЗАМЕТКИ ОБ ИДЕОЛОГИИ

О СОЦИАЛЬНОМ СТАТУСЕ МАРКСИЗМА

Вопрос о социальном статусе марксизма приобретает особо важное значение в связи с тем, что со всей очевидностью обнаружилось отвратительные язвы коммунистического общества, которое строилось и строится якобы по марксистскому проекту. Чтобы разобраться в этом вопросе, надо произвести предварительно, по крайней мере, следующие различия: 1) между наукой, религией и идеологией; 2) между претензиями марксизма и его реальными делами, между его приспособительной формой и маскируемой его сущностью; 3) между ролью марксизма в условиях, когда определенная категория людей ищет решения проблем буржуазного или иного несоциалистического (некоммунистического) общества и рвется к власти с намерением решить эти проблемы (по крайней мере — для себя), и марксизма в условиях общества, в котором он стал господствующей государственной идеологией, в котором определенного рода люди захватили власть и начали строить или уже построили новое, социалистическое (или коммунистическое) общество. Кроме того, надо различать между устойчивым ядром

Публикуемые тексты были прочитаны автором как доклады в испанском университете Алкала 22 и 23 декабря 1978 г.

(сутью) марксизма и его вариациями в зависимости от места и времени.

С самого начала оговорюсь, что коммунистическим обществом я называю общество такого социального типа, какое сложилось в Советском Союзе и является классическим образцом для всех прочих стран, идущих по тому же пути (с незначительными отклонениями, обусловленными историческими особенностями этих стран, а отнюдь не переделками в их марксистских проектах). Впрочем, если кому-то такое словупотребление не нравится, я на нем не настаиваю, ибо речь пойдет о более конкретном явлении — о марксизме.

Наука, религия и идеология не существуют изолированно друг от друга и в чистом виде, т. е. без элементов друг друга и без взаимного влияния. Религиозные учения претендуют на создание картины мира и на объяснение различных явлений природы и общества, религиозные организации выполняют идеологические функции, наука содержит многочисленные элементы идеологии, дает материал для последней и используется ею, и т. д. Однако в наше время можно отчетливо видеть и различие этих явлений. Возникли антирелигиозные идеологии, необычайного развития достигла наука, отобрав у религии и идеологии функции познания окружающего человека мира и самого человека, утратили былую идеологическую роль многие религиозные учения и оттеснены на задний план истории. И можно достаточно определенно фиксировать различие функций рассматриваемых явлений в общественной жизни.

Задача науки — поставлять обществу знания, разрабатывать методы получения и использования знаний. Употребляемые в науке понятия имеют тенденцию к ясности, определенности, однозначности. А формулируемые в науке утверждения по идее (и в тенденции) допускают возможность проверки, т. е. под-

тверждения, доказательства, опровержения. Религия же имеет дело с явлениями души, с религиозными чувствами людей, с верой. Идеология, в отличие от науки, конструируется из определенных, многосмысленных языковых выражений, предполагающих некое истолкование. Утверждения идеологии нельзя доказать и подтвердить экспериментально и нельзя опровергнуть — они бессмысленны. В отличие от религии, идеология требует не веры в ее постулаты, а формального признания или принятия их. Религия невозможна без веры в то, что она провозглашает. Идеология же может процветать при полном неверии в ее лозунги и программы. Это очень важно различать. Часто приходится слышать недоумение по поводу такого факта: в Советском Союзе никто не верит в официальную идеологию, а между тем она там процветает. В чем дело? Да в том, что в идеологию не верят, ее принимают. Вера есть состояние человеческой психики, души. А признание (принятие) есть лишь определенная форма социального поведения. Когда верят в идеологию, то происходит историческое смещение, в результате которого идеология присваивает несвойственные ей как таковой функции религии. Когда доводами разума пытаются доказывать или опровергать принципы идеологии, то смешивают ее с наукой. Задача идеологии — не открытие новых истин о природе, обществе или человеке, а организация общественного сознания, управление людьми путем приведения их сознания к некоторому установленному общественному образцу. Идеология может начаться с претензией на то, чтобы быть наукой. Но, став идеологией, она теряет все основные признаки науки. Идеология может заимствовать из науки ее понятия и утверждения. Но, став элементами идеологии, последние теряют характер элементов науки, становятся неопределенными и непроверяемыми. В рамках идеологии могут высказываться научные идеи, суждения, гипотезы. Но они не опре-

деляют общую ситуацию в идеологии. Лица, высказывающие это, делают это не в качестве идеологов, а в качестве ученых, волею обстоятельств вовлеченных в идеологию.

Идеологические тексты и речи, конечно, действуют сами по себе на отдельных индивидов. Но не в этом специфический способ воздействия идеологии на людей. Идеология рассчитана на массы людей. А тут нужен специальный аппарат признания ее. Причем признания обычно без понимания, ибо понять в принципе невозможно или не стоит труда. Или не до этого. И признания без веры. И такой аппарат формируется. Его задача — принуждать людей к признанию идеологии, карать тех, кто сопротивляется. Конечно, в этом есть и элемент добровольности, ибо признание идеологии в условиях ее господства позволяет многим людям добиваться успеха в карьере и иметь какие-то блага. Для многих без признания идеологии вообще невозможно существование. Таким же аппаратом принуждения обладала в свое время, например, и христианская Церковь. Но Церковь сочетала в себе не только религиозные функции, но и идеологические. И порой использовала первые в интересах вторых. Возможность разделения и даже противопоставления этих функций обнаружилась сравнительно недавно, когда стали возникать антирелигиозные идеологии (марксизм, национал-социализм).

Обратимся теперь к марксизму. Исторически он возникал как претензия на научное понимание всего на свете. Известно, что Маркс даже математикой занимался. Хотя он так и не сумел разобраться в вопросах, теперь понятных даже бестолковым школьникам, соответствующие мудрые указания потомкам он все же оставил. Про Энгельса и говорить не приходится. Тот охватил все формы движения материи — от механического перемещения до мышления. Объяснил возникновение семьи, частной собственности, государства.

И наговорил во всем столько всякой ерунды, что теперь все академии наук мира надо бы было бросить на исправление его ошибок и нелепостей. У Ленина тоже что ни слово, то вклад в науку. Он и логику ухитрился развить, не имея ни малейшего представления о современном ему состоянии логики, познакомившись с ней по гимназическому учебнику и из бредовых идей Гегеля.

С претензией на научность марксизм существует и теперь. Он декларирует себя в качестве науки, причем — в качестве высшей науки, самой научной науки. Специалисты по марксизму готовятся в университетах внешне так же, как специалисты для физики, химии, биологии, математики... Часто они готовятся вместе со специалистами для науки, в их среде, так что их различие обнаруживается лишь впоследствии, когда они начинают играть различные роли (когда, например, один физик начинает делать исследования в области микрофизики, а другой пишет книги о значении высказываний Ленина и Энгельса для развития физики; когда один математик доказывает теоремы, а другой занимается демагогией насчет гениальных идей классиков марксизма в математике и рассматривает пару плюс и минус по аналогии с парой буржуазии и пролетариата). Специалисты по марксизму получают ученые степени и звания, избираются в академии наук. И надо признать, что кое-что в рамках марксизма делается такое, что похоже на науку и что можно рассматривать с научной точки зрения. Однако в главном и целом марксизм (по крайней мере, в Советском Союзе) давно утратил признаки науки и превратился в идеологию в самом строгом смысле этого слова. Может быть, он являет теперь самый классический образец идеологии. Такова ирония истории. Марксисты до сих пор настаивают на том, что благодаря марксизму философия впервые стала наукой. Фактическое же положение прямо противоположно этому: именно

с марксизмом и в марксизме философия впервые в истории утратила качества науки и стала ядром и составной частью идеологии. Когда казалось, что философия достигла максимума научности, она на самом деле отдалилась от науки на максимально далекое расстояние.

Стремление марксизма выглядеть наукой объясняется комплексом причин как исторического, так и социально-структурного (имеются в виду действующие сейчас причины) порядка. Наука приобретала, а в наше время — приобрела, такое значение в жизни общества, что выступать не от имени науки было просто старомодно. Были иллюзии, будто земной рай можно обосновать научно. Марксизм возникал в борьбе с религией и различными формами идеологии, связанными с нею, противопоставляя им научный взгляд на всё происходящее в мире. Сама наука в то время имела такой вид, что провести четкое различие между нею и идеологией было невозможно. Это и сейчас еще не так просто сделать. В самых современных науках и сейчас всякого идеологического вздора появляется не меньше, чем в прошлые века.

Но главное, что определяет наукообразный вид марксистской идеологии в сформировавшемся коммунистическом (советском) обществе, — это его фактическая роль в функционировании этого общества: роль средства управления массами людей, средства стандартизации их поведения, средства эксплуатации низших слоев населения высшими. Марксизм маскирует под науку, и благодаря этому легче изобразить сложившееся общество как высший и закономерный продукт объективных законов истории, изобразить деятельность руководства как деятельность от имени этих объективных законов, изобразить всякий корыстный интерес и идиотизм руководства как гениальное научное предвидение. Первые годы (и даже десятилетия) существования советского общества для некото-

рой части населения марксизм играл роль, подобную религии. Была вера в его постулаты и лозунги. Он владел душами этих людей. Но постепенно эта вера испарилась (особенно — после второй мировой войны). И марксистская идеология, естественно, стала еще более интенсивно привлекать себе в сообщники науку, прикидываясь другом и покровителем науки и, само собой разумеется, высшей наукой. Одним насильем идеологию не навяжешь достаточно прочно. Веры нет. А в наш век научного безумия было бы непростительной глупостью для господствующей государственной идеологии не идти в ногу со временем.

Но марксизм возникал не только как претензия на научное понимание всего на свете, а и как выражение интересов и мечтаний угнетенных и обиженных классов общества, как выражение вековых мечтаний человечества о рае земном. А мечты и желания по своей природе не имеют ничего общего с наукой. Социальные мечты суть утопии. Превращение же утопии в науку исключено — об этом говорит настоящая наука и практический опыт человечества.

А тот факт, что марксизм не только в качестве могучей организации людей, но и по своему текстуальному виду не есть наука, можно установить путем анализа любых его понятий и утверждений, начиная с понятия материи и кончая понятием «научного коммунизма». Ни одно понятие в марксизме (буквально ни одно!) не удовлетворяет логическим правилам построения научных понятий. Ни одно утверждение марксизма (не считая пустых банальностей) не может быть проверено по правилам проверки научных утверждений. Например, громя неугодных ему философов (а эти погромы основателями марксизма инакомыслящих суть теоретическая подготовка к будущим массовым репрессиям) и выдавая за свои открытия украденные у них мысли (что тоже в духе марксизма),

Ленин дает «свое» знаменитое «определение» материи как объективной реальности, данной нам в ощущениях. При этом он наивно (т. е. по невежеству) полагает, что «материя» — самое общее понятие. Но даже начинающим студентам (а порой — и школьникам) известно, что по правилам определения понятий выражение «объективная реальность» будет более общим, чем «материя», а оба выражения «объективная реальность» и «данная нам в ощущениях» с точки зрения построения понятий более «первичны», чем «материя». Я уж не говорю о том, что выражение «объективная реальность» ничуть не яснее по значению, чем «материя». Но такого рода глубокомысленные по видимости (и пустые по существу) выражения производят впечатление высокой науки. И нередко даже на крупных ученых. Впрочем, тут удивляться не стоит, ибо среди ученых кретингов встречается не меньше, чем среди представителей других профессий. Придумывая свой коммунистический земной рай (и называя свои вымыслы, естественно, научным коммунизмом), основатели марксизма и их последователи игнорируют самое элементарное требование опытной науки, если не существует ее предмет. Но если даже рассматривать их «научный коммунизм» как проект будущего общества, то и тут можно увидеть игнорирование самых азов действительно научного подхода к обществу. Например, они совершенно игнорируют факт дифференциации общества на социальные группы и иерархию последних, неизбежное разделение общества на слои с различными жизненными условиями, разнообразие видов деятельности и социальных позиций людей, вследствие которых знаменитые лозунги «каждому по труду» и «каждому по потребности» либо превращаются в пропагандистские пустышки (если их понимать буквально), либо реализуются в форме, ничего общего не имеющей с их текстуальным видом (а именно — труд начальника оценивается выше, чем

труд подчиненных, а потребности определяются в зависимости от социального положения индивидов).

Но самый сильный показатель того, что марксизм есть идеология, но не наука, есть отношение марксизма к опыту реальных коммунистических (или социалистических) обществ, которые считаются построенными по его проекту. Марксизм не способен отразить этот опыт даже на том интеллектуальном уровне, на каком он критиковал капиталистическое общество. Более чем шестидесятилетний опыт Советского Союза и опыт многих других коммунистических стран дал и дает совершенно бесспорные свидетельства о природе этого общества. Массовые репрессии, низкий жизненный уровень для большей части населения, прикрепление к местам жительства и работы, колоссальные различия в жизненном уровне высших и низших слоев населения, подавление всякого инакомыслия, отсутствие гражданских свобод, карьеризм, взяточничество, система привилегий, бесхозяйственность, расточительность на руководящие спектакли, милитаризация и т. д. и т. п. И как на эти факты реагирует марксизм? Советский марксизм (и марксизм других коммунистических стран) эти факты просто не признает, считая всякие разговоры о них клеветой на советский (или иной коммунистический) образ жизни. Западный марксизм уверяет, что западные коммунисты построят коммунистическое общество без этих недостатков и сохранив достоинства обществ западной демократии. Трудно придумать что-либо более несуразное именно с научной точки зрения. Именно научное исследование реального (а не выдуманного, идеологического) коммунизма могло бы без особого труда обнаружить, что все эти факты не случайны, что они вырастают из самих основ коммунистического строя жизни, что они суть неизбежные спутники реализации именно положительных идеалов марксизма. Хотя марксизм и начинал свою историческую

карьеру с намерения научно объяснить ход общественного развития, закончил он ее полным отказом от научного понимания общества, в котором он завоевал роль господствующей государственной идеологии.

Я думаю, что нет надобности рассказывать о поведении марксизма в качестве идеологического диктатора в прошедшей истории Советского Союза. Оно всем хорошо известно. Это — подлости, подлоги, преступления... Если бы в деталях описать всё, содеянное идеологическим аппаратом марксизма за годы советской истории, даже враги марксизма не поверили бы в правдивость этой картины. Говорят, что марксисты руководились добрыми намерениями. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Но утверждение о благих намерениях тут ложно. Никаких иных намерений, кроме намерений живых людей — участников этой марксистской армии идеологов — удовлетворить свои эгоистические потребности, тут не было. И быть не может по социальным законам истории. Я имею в виду нормальные социальные законы, а не ту бессмысленную марксистскую болтовню о законах общества, которыми задурили головы миллионам обывателей.

Марксизм оказался в высшей степени удобным в качестве идеологии побеждающих коммунистических режимов вовсе не потому, что он научен. Если бы он был наукой, да еще высшей, он успеха иметь не мог бы. На изучение науки, как известно, нужно специальное образование. Нужны годы и годы. Он оказался удобным именно потому, что породил огромный поток идеологических текстов, демагогических обещаний и лозунгов, похожих на науку, но не требующих никакой научной подготовки. При желании можно с поразительной быстротой научиться продуцировать марксистские тексты и речи абсолютно для любой ситуации. А для властей марксизм дает чудесный метод и богатую фразеологию для оправдания любой их

пакости. Любой руководящий кретин может сделать вклад в «науку», если, конечно, ему позволят (или сочтут это нужным) его соратники. Именно неопределенность и бесформенность понятий и бессмысленность утверждений марксизма и необходимость не буквального его понимания, а истолкования делает его удобным для господствующих слоев общества, ибо истолкование марксизма становится прерогативой высшего партийного руководства. В марксизме написано такое множество разнообразных фраз, что на все случаи жизни можно выбрать подходящие фразы и истолковать их в желаемом духе. Эту работу и выполняет огромный марксистский идеологический аппарат.

О СОВЕТСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Советская философия есть составная часть могучего идеологического аппарата советского общества. И отделить ее от этого аппарата можно лишь условно. Это — довольно большой (по числу людей) слой, в который включаются лица, получившие специальное философское образование, имеющие философские степени и звания, работающие в философских учреждениях или на особых философских должностях и вообще в своей активности так или иначе причастные к философии. В Советском Союзе невозможно иметь точные данные о числе людей этого слоя и о их распределении по различным рубрикам. Но думаю, что число их намного превышает двадцать тысяч. Этот слой занимает довольно высокое положение в иерархии советского общества. В него входят многочисленные кандидаты и доктора наук, доценты и профессора, академики и члены-корреспонденты, директора институтов, заведующие отделами и секторами, редакторы

газет и журналов и т. д. и т. п. А это всё — лица, входящие в привилегированные слои общества. Даже низшие представители философского сословия имеют сравнительно приличные условия существования, а многие из них имеют перспективу подняться в более высокие слои и даже — в высшие. Во всяком случае, лица, избравшие философию в качестве своей профессии, потом редко отказываются от нее. Разве что — ради более успешной карьеры и более сытной жизни в аппарате партийных инстанций (вплоть до ЦК КПСС) и в органах государственной безопасности. Советская философия целиком и полностью находится под контролем партийных органов. Более того, партийные органы через философские верхи руководят всей остальной массой философов, а вся масса философов является эффективным орудием партии в идеологическом воспитании общества и в идеологическом контроле за ним. Подавляющее большинство советских философов суть члены партии и активные партийные функционеры. Беспартийные суть редкое исключение или лица, готовящиеся ко вступлению в партию. Как правило, это комсомольцы или бывшие комсомольцы. Отбор на философские факультеты производится очень строго. Проникновение в философскую среду лиц, чуждых марксизму (официальной философии СССР), — дело довольно редкое. Как только таковые обнаруживаются, они беспощадно подавляются и изгоняются. Всё обучение философов — подготовка их к роли идеологических работников. Образование дается довольно примитивное, поверхностное и тенденциозное, но вполне достаточное для будущей роли студентов в обществе. И студенты быстро и легко усваивают всю философскую премудрость, с поразительной быстротой научаются быть такими демагогами и болтунами, что многих из них уже на третьем курсе бывает невозможно отличить от классиков марксизма. В силу систематического отбора в

философскую среду бездарностей и в силу низкого уровня образования интеллектуальный уровень советской философии чудовищно низок. Чтобы хотя бы несколько повысить этот уровень, в философскую среду привлекают математиков, физиков, биологов, историков и т. п., главным образом — через философскую аспирантуру. Идут при этом в философию, конечно, бездарные, но тщеславные математики, физики, биологи. В философской среде они обычно сильно прогрессируют в общей болтовне на материале конкретных наук и процветают, поднимая интеллектуальный уровень философии лишь по видимости. Плюс к сказанному — тот факт, что многочисленные лица, причастные так или иначе к аппарату власти, стремятся получить философские дипломы, степени и звания. Этот путь соблазнителен тем, что он способствует карьере и довольно необременителен, ибо нужно быть законченным кретином, чтобы не получить диплом или не защитить диссертацию по философии. Если я не ошибаюсь, даже один известный хоккеист защитил диплом по философии, а один дипломат стал академиком. Число же работников КГБ с философскими дипломами, докторов наук и даже членов-корреспондентов Академии Наук не счесть. Даже один экс-чемпион мира по шахматам является кандидатом философских наук. Между прочим, по логике. Можете себе представить, что это за логика!

Такова далеко не полная картина жизненно-практического положения советской философии. Не принимая ее во внимание в качестве основы, невозможно правильно понять советскую философию в ее текстуально-речевом выражении. Конечно, в советской философии можно обнаружить отдельных приличных и умных специалистов, отдельные талантливые работы на уровне мировых образцов такого же рода. Однако это либо дело случая и недосмотра со стороны философских властей, либо результат невероятных лич-

ных ухищрений, либо нечто, допускаемое для отчетов и показухи, для пускания пыли в глаза иностранцам и маскировки. Общей картины советской философии и ее фактической роли это не меняет. Тем более такого рода отклонения от общей нормы не поощряются, а чаще даже преследуются. Поэтому я и буду к этому в дальнейшем относиться как к нарушениям нормы, а не как к норме. Однажды я публично оценил советскую философию как помойку в интеллектуальном и нравственном отношении, и я от этой оценки не отказываюсь и теперь, считая ее вполне адекватной.

Хотя советская философия в целом есть часть идеологии и не имеет ничего общего (по существу, а не по видимости) с наукой, она всячески стремится выдать себя за науку, причем за науку самую высшую, и, вместе с тем, самую глубокую, самую всеобъемлющую, и, вместе с тем, самую строгую и точную. Вы не сможете назвать ни одного крупного исторического события или научного открытия, относительно которого советские философы не претендовали бы на самое правильное и подлинно научное его истолкование. Сознание своего «подлинно научного», «единственно правильного» и т. п. превосходства над всеми прочими философами прошлого и настоящего (включая и своих собратьев зарубежных марксистов; исключая, конечно, лишь Маркса и Энгельса) — такова фундаментальная психологическая черта советской философии. И, хотя советские философы в домашней обстановке часто признаются в том, что они — невежды, бездари и прохвосты, это ничуть не мешает им публично становиться в позу представителей высшей философской «расы».

Советские философы определяют философию как науку о наиболее общих законах природы, общества и познания, ничуть не заботясь о коварстве употребляемых слов и даже не подозревая о нем. На самом деле всякий закон универсален, но не всеобщ. И никаких

всеобщих законов вообще не существует. Приведите мне пример хотя бы одного такого всеобщего закона, и я покажу, что он либо ложен (т. е. есть отвергающие его исключения), либо является соглашением о смысле общих слов. Но пусть то, что советские философы считают «общими законами», есть некий общий разговор в таких выражениях, как «материя», «пространство», «время», «движение», «качество», «количество» и т. д. Все-таки какие-то рамки этими выражениями задаются. Но если вы посмотрите, чем фактически занимаются советские философы, вы увидите, что они эти границы никогда не соблюдают. Они говорят и пишут обо всем, что угодно. Они вторгаются во все сферы культуры, на которые им указывают свыше или за счет которых можно так или иначе поднажиться, удовлетворить тщеславие, сделать карьеру. Я несколько лет работал в экспертной комиссии, рассматривающей кандидатские и докторские диссертации. Я тогда просмотрел сотни диссертаций. Лишь десятая доля из них удовлетворяла общепринятому определению предмета философии. По моим наблюдениям, картина эта несколько не изменилась и впоследствии.

Но чем бы советские философы ни занимались, основная задача их — пропаганда марксизма, внедрение марксизма во все сферы духовной жизни общества, причисывание под марксизм всех значительных явлений культуры, пропаганда и возвеличивание речей партийных вождей, травля всего выходящего за дозволенные рамки. Например, главный философский журнал «Вопросы философии» в самое, казалось бы, «либеральное» время явил такое безудержное холуйство перед Брежневым, какого не было даже в журнале «Под знаменем марксизма» по отношению к Сталину. Часто приходилось слышать от людей, даже претендующих на статус ученых, с насмешкой относившихся к марксизму, к Хрущеву, к Брежневу и т. п.,

но ссылавшихся на них, будто это — пустые формальности; мол, сошлись на Брежнева для отвода глаз, а там пиши, что хочешь. Это — глубочайшее заблуждение! Во-первых, что хочешь, не напишешь — в печатающих инстанциях сидят надежные контролеры. А во-вторых, именно это «что угодно» есть пустая формальность, а ссылки на классиков марксизма и партийных руководителей — суть дела. Эти ссылки отпадают лишь в воображении авторов, желающих выглядеть прилично. А на самом деле идут годы, отпадает и забывается содержание работ таких авторов, а остается лишь то, что и они действовали от имени и во имя марксизма и партии.

В советской философии есть отдельные вкрапления, которые сами по себе могут быть отнесены к области науки. Таковы, например, логика, методология науки, эстетика, этика и т. п. Но их удельный вес в советской философии ничтожен. Кроме того, и они так или иначе выполняют идеологические функции, будучи составным элементом идеологической жизни в целом. В свое время, например, даже мои логические исследования, не имевшие ничего общего с марксизмом, так или иначе использовались в интересах последнего. Хотя бы в форме некоторого примера «свободы творчества» в рамках советской философии.

Советская философия стремится идти в ногу с веком. Открыли новую микрочастицу в физике — сразу отклики: статьи, диссертации, симпозиумы. Открыли «дырку» в космосе — опять статьи, диссертации, симпозиумы. Установили коммунистический режим где-нибудь в Африке — статьи, диссертации, симпозиумы. Написали Брежневу новую речь или даже книгу о его необычайных подвигах — само собой разумеется, статьи, диссертации, симпозиумы. Но все это по существу есть лишь чисто идеологическая, т. е. формальная реакция на происходящее. Никакого позитивного участия философии в научном творчестве никогда

и нигде не ощущается. Она не делает никаких своих открытий. Более того, она принципиально призвана истолковывать и обобщать чужие открытия. Как «обобщать»? Не ищите в этом никакого научного смысла. Для нее обобщать происходящее — наговорить и написать достаточно большое количество подходящих слов, причем так, чтобы начальство было довольным, чтобы для себя из этого кое-что извлечь можно было. А чтобы желаемое было достигнуто, есть лишь один путь как-то привязать происходящее к банальным или бессмысленным марксистским фразам, т. е. путь пропаганды и возвеличивания государственной марксистской идеологии.

Одной из характерных черт советской философии является беззастенчивое воровство из науки, культуры и философии Запада. Делается это под видом критики западной философской мысли. Общий принцип здесь таков: воруется какая-то западная мысль, делается вид, будто до этой мысли советские философы сами додумались или будто всё это уже у классиков было, а затем западные мыслители критикуются за искажение этой самой мысли. Некоторые наиболее талантливые и образованные советские философы делают вид, будто они используют критику западной философской мысли как удобную форму познакомиться с этой самой мыслью советских читателей и высказать свои собственные оригинальные мысли, по идее выходящие за рамки марксизма. Но это, увы, лишь самообольщение. Советские идеологические цензоры и контролеры, разрешая к печати такие «смелые» творения (а обычно их печатают в партийных журналах и издательствах), свое дело знают хорошо. «Собственные оригинальные» мысли авторов все равно выступают лишь как ничтожные прибавочки к монументальным положениям марксизма, а западная мысль препарируется на потребу советского идеологически обработанного че-

ловека. От мыслей не остается ничего. Остаются лишь некие умыслы и замыслы.

Советская философия существует и производит мощные потоки идеологических помоев главным образом для внутреннего потребления и отчасти — для заграницы. В Советском Союзе то, что делается для заграницы, делается немного лучше того, что делается для внутреннего потребления. И сейчас (это началось еще два десятилетия назад) советская философия всячески стремится завоевать место на международном идеологическом и вообще культурном рынке. И потому она старается выглядеть для внешнего мира поприличнее. Иначе теперь, в условиях пошатнувшегося морального и интеллектуального престижа марксизма, завоевать какой-то авторитет совершенно невысмыслимо. Но и в этой роли советская философия не может быть ничем иным, кроме как элементом в идеологической экспансии Советского Союза в страны Запада. Какими бы образованными, интеллигентными, либеральными, терпимыми и т. п. ни выглядели представители советской философии в общении с западными деятелями культуры, они выполняют ту же функцию, какую раньше выполняли ортодоксальные сталинисты. Они лишь выполняют эту функцию лучше своих предшественников. Столкнувшись с такого рода представителями советской философии, знайте, что они специально отобраны для этой роли — производить нужное впечатление, что им дозволено быть «вольнодумными» и даже порой критиковать какие-то стороны марксизма и признавать какие-то заслуги западной философии.

Как относится советское население к своим философам? В большинстве случаев — с безразличием или с презрением. Но не следует из этого делать оптимистические выводы. Как бы люди ни относились к философии, они соприкасаются с нею систематически и постоянно испытывают ее контроль за их сознанием

и ее оглуляющее влияние. Люди не сопротивляются ей. Сопротивление исключено, ибо за это — плохие отметки, исключение из учебных заведений, невозможность продвижения по иерархической лестнице и т. п. Они вынуждены принимать ее и усваивать, определенным образом формируя свое сознание и характер мышления. В результате даже люди, критически относящиеся к советскому образу жизни и советской идеологии, полемизируют с ними в плоскости того же строя мышления, теми же средствами, с теми же последствиями, т. е. все равно остаются во власти этой философии.

Каковы перспективы советской философии? Превосходные. По числу дипломированных философов, кандидатов и докторов, доцентов и профессоров философии Советский Союз давно обогнал самые передовые капиталистические страны. Правда, сейчас несколько снизились темпы прироста. Но зато качество философов улучшается. Они с каждым годом все более приближаются к западным образцам (изучают иностранные языки, бороды отпускают, западных философов коллегами называют), успешно справляясь при этом с традиционными функциями идеологических надсмотрщиков и погромщиков. На Западе советских философов уже сейчас принимают с распростертыми объятиями, а в недалеком будущем они тут будут себя чувствовать как дома. В свою очередь, советские философы предоставляют богатую арену для удовлетворения тщеславия стареющих и устаревших западных философов, которые за упоминание их имени в советской философской литературе (пусть в качестве недоумков и прислужников капиталистов!) готовы пожертвовать всеми ценностями западной демократии.

Советские философы имеют целый ряд несомненных преимуществ перед западными. Во-первых, им не нужно терзаться в поисках новых творческих идей,

ибо они у них были, есть и будут, — это суть идеи марксизма, а также гениальные (что само собой разумеется) постановления Партии и Правительства и речи руководителей. А что в мире вообще может сравниться по творческой новизне и глубине с речами партийных вождей, написанными для них при участии самих советских философов?! Во-вторых, при всем разнообразии советских философов они образуют нечто единое и монолитное в качестве чиновников государственного идеологического аппарата, тогда как западная философия распадается на десятки и сотни всякого рода школ, школок, групп и группок. В-третьих, советская философия опирается на всю мощь советского государства, хорошо поддерживается им в качестве своего важного оружия, чего нельзя сказать о западной философии. Далее, советская философия постоянно находится в состоянии готовности нападения на любого противника, на которого ей укажут свыше, не испытывая при этом никаких возвышенных эмоций, осуществляя свои погромные действия как будничную привычную работу. Наконец, советская философия выигрывает, когда ее хвалят, и выигрывает, когда ее ругают, — выигрывает от всякого внимания, проявляемого к ней. Она тогда начинает ощущать себя не в качестве идеологической помойки, какую она является на самом деле, а в качестве значительного явления в духовной жизни человечества. И такую она начинает казаться окружающим. Лишь презрение и безразличие к ней низводит ее до адекватного ей уровня социальной значимости. Но западная философия не способна к такому отношению к советской философии как к целому. Я не призываю тем самым к полному бойкоту советской философии. Я лишь считаю разумным выделять в среде советских философов отдельных достойных людей персонально и относиться к ним как к отдельным личностям, а не принимать советскую философию как нечто целое. В последнем случае полу-

чается отношение неравноценных партнеров: с одной стороны — могучее советское государство, представляемое в области философии специально отобранными и назначенными идеологическими чиновниками, а с другой стороны — отдельные частные лица и организации, не представляющие никакой государственности. В этой связи я хочу подчеркнуть, что существующая международная философская ассоциация, абсолютно ничего общего не имеющая с интересами науки, весьма способствует укреплению советской философии. Но я сомневаюсь в том, чтобы западные философы отказались от нее, ибо она и им дает возможность тешиться в бессмысленных спектаклях международного масштаба, какими являются международные конгрессы и прочие события того же рода. И в этом тоже слабость западной философии. В силу ее массовости она во многом уподобляется советской, но при этом она не призывается служить некоей государственной идеологии, некоей правящей партии и вообще некоему обществу как целому.

В заключение хочу заметить, что рассматривать советскую философию с точки зрения перечня проблем, которыми занимаются те или иные философы, и списка опубликованных их работ — значит упустить в ней самое главное, а именно — ее роль в советском обществе и в проникновении последнего в страны Запада. Советская философия — это огромная масса людей, среди которых любой западный философ может найти существо, подобное себе. Но прежде чем признать в этом существе коллегу и соратника в поисках некоей истины, западному философу не мешало бы знать о том, что это существо (за редкими исключениями, которые можно перечесть на пальцах) есть служащий идеологического аппарата коммунистического общества и его, западного философа, потенциальный или даже актуальный погромщик.

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb

8000 München 40 · Bauerstrasse 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**С Ш А: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztain),
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 USA**

**Зап. побережье — В. Соколов (V. Sokolov),
University of California, Crown College,
Santa Cruz, Calif. 95064, USA**

**Мичиган — О. Политис, 3133 No. Wagner Rd.,
Ann Arbor, Mich. 48103, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

ИСТОРИЯ

Борис Парамонов

ПАРАДОКСЫ И КОМПЛЕКСЫ АЛЕКСАНДРА ЯНОВА

Александр Янов обратил на себя внимание еще в бытность свою в СССР двумя статьями, посвященными истории русской консервативной мысли: «Загадка славянофильской критики» («Вопросы литературы», 1969, № 5) и «Славянофилы и Константин Леонтьев» («Вопросы философии», 1969, № 8). Трудно судить об авторе по тому, что он *печатал* в советских журналах; русским читателям не нужно этого объяснять; и я бы не стал вспоминать о его советских публикациях, если бы в обильных зарубежных сочинениях Янова не столкнулся — для начала скажем так — с инерцией сложившихся у него в СССР суждений и оценок. Да и сам Янов ни в коем случае не отказывается от своих прежних работ и даже перепечатывает их на иностранных языках (по его словам, «частично»). За рубежом Янов опубликовал (перечисляю только то, что прочел) «Комплекс Грозного (Иваниана)» в №№ 9-10 «Континента», «Судьба русской идеи» («22», 1978), «На полпути к Леонтьеву» (сб. «СССР: демократические альтернативы», 1976), «Идеальное государство Геннадия Шиманова» («Синтаксис», № 1), наконец, уже в 1978 году выпустил на английском языке книгу под названием «Русские 'новые правые'». С его работой (по-английски) «Разрядка после Брежне-

«Континент» продолжает разговор о проблемах русской истории, начатый работами А. Янова и М. Карповича.

ва» я не знаком; но от знакомства с каждой из перечисленных работ остается впечатление, которое от чтения любой другой только усиливается. Янов — автор одной темы (русская консервативная мысль в ее прошлом и настоящем) и, что еще важнее, обладает вполне устоявшейся, неизменной ее концепцией. Читать его ни в коем случае не затруднительно, и этому сильно помогает манера автора *схематизировать* свои сочинения; текст разбит на небольшие, легко обозримые куски броскими подзаголовками, расчленен пунктами А, Б и В, цифровыми обозначениями различных «постулатов» и «гипотез» в их, так сказать, арифметическом истекании один из другого; не пренебрегает он и наглядными методами, — например, графиками (см. приложение № 1 в конце книги «Русские 'новые правые'»). Янов — видимо, вполне бессознательно — усвоил завет великого знатока человеческих душ Фрейда: схема по душе учащемуся; аудитория же у него, судя по нарастающему потоку публикаций, находится. Похоже на то, что Янов приобретает репутацию специалиста, если не эксперта. Сам он называет себя, не без скромного кокетства, эмигрантской Кассандрой; впрочем, добавляет он, «как сын России» он от души желает своим пророчествам не сбыться.

Люди литературно опытные говорят, что критик для вящего проникновения в подлежащего критике должен стараться имитировать его стиль. Постараюсь сделать это. Итак, первый подзаголовок:

СХЕМА ЯНОВА

Основной вывод, извлеченный Яновым из его штудий, — тот, что современный СССР находится на опасном историческом перепутье, угрожаемый растущими в нем силами националистической реакции. Любая манифестация национального русского сознания

мнится Янову шагом на пути реставрации сталинизма. Ибо — и это коренное убеждение Янова — источником тоталитарной деспотии в нашей стране, или, как он любит говорить, автократии, является сама ее история, традиция русской жизни и мысли. Для доказательства этого тезиса Янов предпринимает вылазки в русскую историю, начиная со времен Ивана Грозного. Именно в это время, говорит он, сформировалась автократическая система (противопоставляемая им абсолютистской — способной эволюционировать в сторону демократии), которая предопределила цикличность русского исторического развития, «всякий раз воспроизводя на новом уровне сложности традиционные опричные параметры». Правда, в глубинах русской истории Янов видит и другую, как уже было сказано, абсолютистскую структуру, сформированную государственной практикой другого Ивана, 3-го, и в существовании этой, потенциально демократической, тенденции видит «основу надежды». Получается, таким образом, что русская история детерминирована не однозначно и допускает различные варианты общественно-государственного развития. Так говорит Янов в работе «Комплекс Грозного (Иваниана)», опубликованной в 1976 году. Но в новейшей своей книге он уже *всякое* обращение к национальной традиции трактует как злокачественный акт, вызывающий из русского прошлого ГУЛаг и только ГУЛаг. Нигде прямо не отказываясь от данной в «Иваниане» трактовки русской исторической традиции, Янов, думается, заметил несовместимость ее с новой, однозначной, и попытался их примирить в компромиссном толковании, сводящемся к тому, что законом русского исторического развития стала у него смена «жестких» и «мягких» режимов; таких смен Янов насчитал «по крайней мере семь» (к примеру, Иван IV — Федор, Павел — Александр I, Николай I — Александр II; последнее колебание маятника: Сталин — Брежнев (!?), после чего, по

Янову, закономерно регенерируется «Сталин»). Интересно, что эти фазы Янов так и называет «брежневскими» и «сталинскими», налагая такое клеймо и на XVI век.

Но Янова интересует не столько русская история сама по себе, сколько всякого рода ее идеологические отражения. Главный предмет его внимания — движение идей, точнее, русской консервативной мысли. Именно здесь, в этом движении, силится он найти признаки того, что «русская идея», т. е. убеждение в существовании особых национальных путей развития, неизбежно, с роковой предопределенностью рождает «тоталитаризм», «ГУЛаг» как в прошлом, так и в будущем. Закон русского национализма — эволюция в сторону идеологического оправдания худших форм тирании.

Для доказательства существования такой эволюции Янов обращается к анализу славянофильства — доктрины первоначально либеральной, но националистической. Цикл развития славянофильства, по Янову, таков (см. статью «Судьба русской идеи»): от первоначальной проповеди свободной жизни и мысли «земли», противопоставленной внешней — и только внешней — силе «государства», — через осознание чисто политических национально-государственных задач у Данилевского — к обскурантистскому этатизму К. Леонтьева (попутно — перерождение исконного славянофильского демократизма в черносотенство).

«Силлогизм замкнулся, ловушка захлопнулась, — пишет Янов. — Новое славянофильство уже не освободителя видело в мужике, не мессию. Оно увидело в нем и обожествило то, что столь драматически отказывалась видеть старая гвардия, — опору авторитаризма. Царь и отечество слились в апофеозе славянского «культурно-исторического типа». Славянофильство, страстно отрицавшее политику, наконец-то обрело свою политику. И это была политика деспотизма».

К этой *не своей* схеме логического развития славянофильской идеи (я потом скажу, откуда взял ее Янов) он прибавляет «славянофилов четвертого призыва», а именно публициста начала века Сергея Шарапова, который довел указанную логику до конечного пункта — проповеди антисемитизма, *неизбежно* вытекающего из русского национализма.

Рок «русской идеи» — вырождение ее в дикий шовинизм.

Такой вывод, говорит Янов, напрашивается не только из рассмотрения исторической модели, представленной славянофильством, но, что самое печальное, подтверждается сегодняшней ситуацией, сложившейся в России. Одна из главных черт этой ситуации — возрождение националистической идеологии и уже наметившееся ее движение в той же линии, на которой «классическое» славянофильство дождалось своего исторического «возмездия». Коррелятивные пары здесь: старшие славянофилы — Солженицын (вместе с группой авторов «Из-под глыб»), Данилевский — идеологи «Вече», Леонтьев — Геннадий Шиманов (последний и есть «возмездие» Солженицыну). Шарапову пары пока не нашлось, поскольку развитие сегодняшнего русского национализма еще не дошло до точки В. («Для простоты изложения предположим здесь, что движение это проходит три главных фазы: от конфронтирующего с режимом либерального национализма (А-национализм) к стремящемуся к сотрудничеству с режимом национализму изоляционистско-тоталитарному (Б-национализм) и от него к сливающемуся с режимом милитаристско-империалистическому национализму (В-национализм)». В то же время, сжатое на более коротком историческом отрезке, современное националистическое движение, в отличие от эволюции славянофильства, каждая фаза которого давала не только иной образ национализма, но и другие имена, в самих своих подразделениях являет признаки внут-

ренного перерождения. Так, Солженицын явно движется от А-национализма к Б-национализму, от первоначальной позиции к коллаборации с властью, примером чего может служить его «Письмо вождям».

Янов устанавливает еще одно соотношение между сегодняшней и вчерашней (XIX века) националистической мыслью. Об этом — его словами из книги «Русские 'новые правые'»:

«Полтора века назад «русская идея» родилась одновременно на двух уровнях — «наверху» и «внизу». Тогда, как и сейчас, «верховые» (upstairs) санкт-петербургские националисты («правый истеблишмент», как я называю их) преследовали цели, противоположные целям «низового» (downstairs) московского национализма («правые диссиденты», в моих терминах). В то время как ПД противопоставляли «нацию» как символ свободы «сталинизму» того времени — т. е. режиму Николая I, — ПИ употреблял тот же символ, чтобы обрести народную поддержку «сталинизму». Другими словами, цели были противоположны, но источник вдохновения, так сказать, был одинаков. Из этого общего источника следовал общий метод политической мысли.

В целях *политической* борьбы с санктпетербургскими «западниками» санктпетербургский ПИ испытывал нужду в интеллектуальной поддержке московских ПД. Со своей стороны, ПД, неспособные взять верх в *идеологической* борьбе с западниками внутри диссидентского движения, нуждались в поддержке своих близнецов-врагов на верхах — ПИ. Взаимная нужда оказалась сильнее взаимной враждебности; общность методов оказалась сильнее различия в целях. Общая идеологическая база взяла верх над взаимным отталкиванием: общая логика «спасения России» привела к конвергенции, а затем к коллаборации, и коллаборация с авторитарным режимом в конечном счете привела к интеллектуальному упадку славянофильства».

Сейчас — то же, с той разницей, что правые диссиденты родились в Питере (ВСХСОН), а правый истеблишмент — в Москве.

Важнейшей литературной манифестацией ПИ была (и остается) линия журнала «Молодая гвардия», которой Янов в своей книге посвятил целую главу. Но ПИ, по Янову, ни в коем случае не ограничивается только литературой, он имеет своих представителей на самом верху партийно-правительственного аппарата (его верховным покровителем, говорит Янов, был бывший член Политбюро Полянский, падение которого, однако, не привело к пресекновению указанного литературного движения). Тенденция ПИ — чистый, уже не метафорический, сталинизм (впрочем, и о «сталинизме» Николая I Янов пишет вполне серьезно). Среди ПД движение навстречу, кроме Солженицына, осуществляет группа авторов, публиковавшихся в самиздатском журнале «Вече», так называемые «фетисовцы».

Очертив схему Янова, укажем на

ЕЕ ИСТОЧНИКИ

1. Трактовка эволюции славянофильских идей, данная в статье Милюкова «Разложение славянофильства». Это Милюкову принадлежит мысль, что движение славянофильства было поляризацией некритически смешанных у его классиков либеральных и консервативных элементов: первые из них, по естественному закону сродства, отошли к Вл. Соловьеву, западничество которого, победив первоначальное его славянофильство, оказалось адекватной их средой, а вторые — консервативные элементы — воспринял К. Леонтьев, очистив их от либерального налета. Таким образом, само по себе славянофильство оказалось как бы и не

существующим, не имеющим собственной формирующей идеи, способной выдержать историческое испытание.

2. Сходная трактовка Вл. Соловьева в его книге «Национальный вопрос в России» (т. II, статья «Славянофильство и его вырождение»). Соловьев сказал здесь, что славянофильство воспевало последовательно народную святость, народную силу и народную дикость. У него же явилась оценка такой эволюции как «возмездия» славянофильству, нашедшему в лице Каткова свою «Немезиду» (не заметив, что Катков — западник).

3. Мысль о том, что национально-консервативная русская мысль осуждена прибегать к помощи правительственной силы в борьбе с оппонентами-западниками (коллаборация ПД и ПИ — у Янова), взята у Гершензона, из его книги «Исторические записки».

Я указываю это здесь не для того, чтобы упрекнуть Янова в неоригинальности, а по другим причинам. В первых двух случаях он следует односторонней, узкопартийной оценке славянофильства, исходящей от его противников-оппонентов. Это показывает, что Яновым не предпринято объективное, беспредпосылочное исследование феномена славянофильства (шире — национально ориентированной мысли). Более того, предпосылкой выбрано априорное отрицание «русской идеи» (за ее предикат). Обращение к Милюкову и Соловьеву потребовалось только для развертывания аргументации.

В третьем случае — обращении к Гершензону — допущена прямая передержка. Союз национально мыслящих с властью Гершензон ставил в вину не столько им, сколько либералам-западникам, не сумевшим увидеть правды почвеннических и религиозных идей.

Собственным привнесением Янова остается аналогия, проведенная между прошлым «русской идеи»

и настоящим ее развитием. Чтобы по достоинству оценить эту аналогию, нам нужно рассмотреть

МЕТОД ЯНОВА

В главе 5 своей книги «Русские 'новые правые'», озаглавленной «Парадокс Солженицына», Янов пишет, что Солженицыну, как и всем русским писателям, выступавшим в роли политических мыслителей, присуща привычка измерять политическую действительность абсолютными моральными критериями. Метод самого Янова — прямо противоположный: он измеряет действительность *только* политическими критериями. В своей книге он неоднократно с задором и вызовом отказывается обсуждать религиозно-моральную проблематику, иронически признавая свою некомпетентность. Но оснований для иронии нет: своей позицией Янов обрекает себя на то, чтобы не видеть предмета, о котором пишет.

Вот только один пример из статьи «Судьба русской идеи». Янов пишет о духовном кризисе в начале XIX века — событии, известном под именем «романтическая реакция». Для Янова эта реакция значима только в том смысле, который придали этому слову расхожие политические штампы: реакция — нечто противоположное прогрессу. Творческий смысл этой реакции ему не понятен. (А ведь Янов — специалист по Леонтьеву и мог бы принять во внимание многочисленные леонтьевские разъяснения этих терминов.)

Судите сами:

«Век Просвещения верил в разум и презирал историю. История станет кумиром новых пророков, и Средние века с их иррационализмом будут превозноситься как образец «правильной жизни»*.

* Что за жаргон? Прочитай Янов хотя бы книгу советского историка Гуревича «Категории средневековой культуры», он не посмел бы в таком тоне говорить о Средневековье.

Век Просвещения третировал религию. Новый век смиренно придет к ней за разрешением тех загадок, которые оставил ему старый.

Век Просвещения был холодно и строго классичен в искусстве. Новый век будет захлестнут самым необузданным модернизмом под именем романтики.

Век Просвещения был космополитичен. Новый век будет ярко национален. «Нацию-личность» выдвинет он вместо обещанной универсальной гармонии».

Таковыми «опозициями» Янов описывает «глубочайший идейный кризис, далеко превосходивший по своему значению все современные ему военные и политические кризисы». Описывает довольно правильно, разве что за исключением странного утверждения «иррационализма» Средневековья. Но того, что «романтическая реакция» намечала путь выхода из этого кризиса, Янов не видит. Он просто заявляет: «Фетиши побиваются фетишами». Так одной фразой перечеркнута чуть ли не вся духовная работа XIX века.

Фетиши фетишами, но не явствует ли даже из семантической окраски приведенного отрывка, что все симпатии автора на стороне «фетишей Просвещения»?

После этого Янов заявляет, что славянофильское миропонимание «страшно бедно элементами» и что «место и роль его в системе европейского романтизма — не моя тема». Спрашивается: зачем в таком случае браться за эту тему?

Однако я хочу продолжить цитату:

«Век Просвещения верил в политические гарантии от деспотизма. Новый век откажется от непримиримой вражды к тоталитаризму, попытается совместить его со 'свободой духа'».

Однажды Г. Померанц в сборнике «Самосознание») задался меланхолическим вопросом: кто больше убил людей — «просветители» или «почвенники»? Ведь если почвенничество чревато погромами, то Просвещение — террором. Этот вопрос имеет прямое от-

ношение к «политическим гарантиям». Век Просвещения в них верил и, тем не менее, породил — для начала — якобинскую диктатуру. Янов, со своим плоско-либералистским мышлением, не догадывается, что свобода коренится в религиозной глубине, а не лежит на политической поверхности. Он видит вершки, а не корешки.

«'Познайте истину, и истина сделает вас свободными'. 'Где дух Господень, там и свобода'. Вот в какой глубине должно обосновываться начало освободительное. Поистине христианство хочет освободить человека от рабства, от рабства греху, рабства низшей природе, рабства стихиям этого мира и в нем должно было бы искать основ истинного 'либерализма'. Истинное освобождение человека предполагает освобождение его не только от внешнего рабства, но и от внутреннего рабства, от рабства у самого себя, у своих страстей и своей низости. Об этом не подумали вы, просветители-освободители».

Это — из «Философии неравенства» Бердяева. Книга эта (как и «Новое Средневековье») пользуется дурной славой у либералов-просветителей — не потому ли, что она в значительной степени построена на идеях Константина Леонтьева? Янов защитил диссертацию по Леонтьеву, но так и не постиг, что такое «либерально-эгалитарный прогресс» и почему он вызывал отвращение у самых глубоких мыслителей XIX-XX вв. Вместо этого он ставит в вину Солженицыну и авторам сборника «Из-под глыб» их различие внешней и внутренней свободы.

Отказываясь от религиозного углубления своего поверхностного либерализма, Янов подрубает сук, на котором сидит. Никогда не лишне повторить, что жизненный, бытийный корень истинного либерализма — в религии, а не в политических институтах. Исторически он связан с принципом свободы веры, метафизически и религиозно — с христианством. Это самый глубокий

фундамент западного свободного общества. Подкапываясь под этот фундамент, подменяя его *научным* обоснованием свободы (вплоть до — в прямом смысле — дурно пахнущего маркузианства), западное общество роет себе могилу. Либерализм, отказываясь от религиозного обоснования, сплошь и рядом обрекает себя на капитуляцию перед демоническими силами истории, лишается собственной силы, мазохистски самораспинается. Хорошо писал М. Агурский в сборнике «Из-под глыб» о том, что западное общество держится еще дисциплиной личности, а не институтами. Но эта дисциплина вырабатывалась не в парламенте, а в церкви. Повсеместный кризис западного мира есть иссякновение его религиозных источников. Он заставляет с новым вниманием прислушаться к критике либерализма, исходившей даже и не от гениального Леонтьева, а хотя бы и от Победоносцева.

Что остается пожелать автору диссертации о Леонтьеве? Рекомендовать ему статью Федотова «Рождение свободы»? Объяснить, что конституционные формы сами по себе не рожают правового порядка и что в глубине политических свобод лежит гражданский строй, над созданием которого трудились русские цари-«деспоты», начиная с Екатерины II? Или напомнить, как парламентским законным путем пришел к власти Гитлер?

Вообще нашим новейшим западникам было бы крайне полезно ознакомиться с книгой Адорно и Хоркхаймера «Диалектика Просвещения». На нее отреагировали даже неразворотливые советские марксисты, выпустившие в 1976 г. сборник убогих статей «Социальная философия Франкфуртской школы». Адорно и Хоркхаймер показали, что источником тоталитаризма XX века, практики лагерей массового уничтожения была «логика господства» — позитивистская концепция бытия, основанная на научных моделях, безотносительных к ценности, трактующая мир в категориях

предметности, т. е. та традиция, которая расцвела и одержала первые свои триумфальные победы в Просвещении, а не на какой-либо «почве». Если же это чтение покажется затруднительным, можно подобрать что-нибудь и полегче — к примеру, повесть Чехова «Дуэль», в которой изуверские идеи селекции людей и концентрационной педагогики излагает представитель передовой научной мысли фон Корен.

Хочу здесь напомнить вышеприведенную цитату из книги «Русские 'новые правые'»: Янов там писал, что взаимная нужда ПД и ПИ оказалась сильнее их взаимной враждебности; и дальше: «...общность метода (выделено мной. — Б. П.) оказалась сильнее различия в целях». «Общность метода» — это апелляция к потребностям национальной жизни. Понимает ли Янов, что национальная жизнь — это не «метод», а реальность? Что заботу о национальном бытии следует относить не к методологическим ухваткам разума, а к каким-то другим сторонам человеческой души?

Не видя ни сверхрациональных высот бытия, ни иррациональных его глубин, Янов судит о предметах исключительно в политической *плоскости*, оперируя набором штампов либеральной фразеологии, превращенных в ценностные суждения. Предметы, как уже было сказано, пропадают или, того хуже, смешиваются до неразличимости. Так оказались смешанными у Янова «деспотизм» и «тоталитаризм», характеризующиеся оба одним формальным негативным признаком отсутствия политической свободы. Отсюда — назойливое, неубедительное, оскомину набивающее отождествление николаевского режима со сталинизмом или стремление увидеть ГУЛаг там, где его и быть не могло. Как-то неудобно объяснять взрослому человеку, числившемуся по департаменту философии, что тоталитаризм потому и называется тоталитаризмом, что характеризуется *тотальным* подавлением, на базе идеологического мифа, всех сторон общественной и лич-

ной жизни (вплоть до разрушения семьи). Можно ли относить эту характеристику к эпохе Николая I, бывшую, между прочим, временем расцвета русской культуры, особенно в 30-40-е гг.? (Понимание этого пробивает себе дорогу даже в советской научной литературе.) Отец ГУЛага — Иван IV? Янов понимает ГУЛаг *только* как «опричнину», т. е. как систему политического террора (хотя на самом деле ГУЛаг нечто совсем другое). Но не кажется ли Янову, что уж к 1917 г., во всяком случае, эта «исконно русская структура» была изжита русской историей? И если после этой «знаменательной даты» Россия — государство *правовое* и даже конституционное — оказалась ввергнута в бездну настоящих, без кавычек, тоталитаризма и ГУЛага, то виной этому не Иван IV и не Шарапов?

Соответственно, нельзя отождествлять не только прежних правителей с новыми, но и оппозиционеров прошлого и настоящего. Взять тех же славянофилов и националистов XIX века. Война их была бумажная, исключительно с идейными противниками. Национальная жизнь, независимо от тех или иных ее интерпретаций, в общем шла сама по себе и даже добивалась кое-каких успехов, знала кое-какой «прогресс». Но перед современными националистами стоит препятствие вполне вещественное: материальная сила, подавляющая все стороны национальной жизни, обрекающая страну и на культурный упадок, и на физическое вырождение (если не на прямое уничтожение), причем сила, которую *не обойти**. Согласитесь, что разница есть. Янов ее не видит. Он видит сходство: Николай I

* Если состоявшим на государственной службе Николай I мог приказать сбрить усы и бакенбарды, то ведь можно было плюнуть на эту службу, уехать в деревню и писать там, к примеру, «Записки охотника» (*и печатать*). А ведь и не все подчинялись сумасбродному приказу: Врангель, оренбургский прокурор, приятель Достоевского, — не подчинился! А сегодня, в «мягкую» эпоху Брежнева, Чорновилу, *уже сидящему в лагере*, насильно стригут усы.

равен Сталину, Солженицын — Константину Аксакову, а Шиманов — Константину же Леонтьеву.

Откуда это у Янова — такая оценочная дальтония (если не просто слепота)? Ответ прост: от марксизма.

Я не хочу сказать, что Янов — марксист. Не может быть серьезный человек, выросший в Советском Союзе, марксистом. Хотя иногда он явно переоценивает Маркса («Что сказал бы Маркс, доживи он до ГУЛага?») — А ничего бы особенного не сказал. Пусть Янов прочтет даже и не «Социализм» Шафаревича, а хотя бы небольшую его статью «Арьергардные бои марксизма» в № 125 «Вестника РХД», где приведена короткая, но представительная сводка суждений Маркса по вопросам различных свобод), но иногда и лягает (впрочем, не называя имени мэтра, а взваливая «экономический материализм» на головы советских историков — см. «Континент», № 10, стр. 284-285). Но Янов *вырос* в марксизме, прошел — невольно, как все мы, — его школу, а другой школы *не знает*. Отсюда все его суждения, всё это непомерное уплощение, обездушивание и обездуховление рисуемой им картины, преобладание (единоприсутствие) узких политических, и только политических, критериев, штампы «левости» и «правости», «прогрессивности» и «реакционности». Марксистская спертость — воздух, которым он дышит. Воздуха же, как известно, не замечают. Отсюда —

парадокс Янова:

— в русской истории последних 60 лет он не заметил ни даты 1917, ни марксизма, ни большевистской диктатуры, ни тех гималаев зла, которые воздвигли в России последователи Маркса — эти «почвенники», занятые уничтожением почвы и всего, что на ней

тысячелетие росло, — от православных храмов до пшеницы*.

ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?

В трактовке, данной Милюковым и Соловьевым эволюции славянофильства, той трактовке, которой следует Янов, содержится крупная ошибка: они видят линию непрерывного развития там, где ее в действительности не было. Корень этой ошибки — все в тех

* Только закончил статью — разразились события в Гвиане, это последнее слово «американской новой левой». Свободные граждане США создали на американском континенте — ГУЛаг. Джонстаун — точная модель социализма, и не какого-нибудь «с человеческим лицом», а самого настоящего, «русского». (Только где же их Иван Грозный?) В довершение всего — массовое самоубийство. Как будто вся эта история случилась специально для того, чтобы подтвердить мысль Шафаревича о социализме-инстинкте смерти. Происходит грандиозный, гибелью грозящий кризис западной культуры, а Янов твердит о русском прирожденном рабстве и сталинизме Николая I. Как он объяснит это событие из своих «постулатов»? Как будут объяснять сами американцы, уже более или менее ясно: Джонс — харизматический вождь. Поиграют этим словечком и успокоятся.

Вот и говори после этого, что демократические институты — лучшее средство для предотвращения тоталитаризма. На парламентария всегда найдется нож. Не свободные выборы спасают, а духовное перерождение.

Шафаревич в недавней своей статье («Вестник РХД», № 125) писал, что революция на Западе превзойдет русскую, — уже ныне сущий охват нигилистического отрицания шире того, что был в России. Действительно, Джонстаун — это вам не Знаменская коммуна нигилиста (и неплохого писателя) Слепцова. Там нигилисты обставились модной мебелью, а здесь — американцы! — добровольно сели на рис и бобы. Нужно ли для социализма искать «объективные исторические причины»? Это — смертельный уклон самого бытия, событие, не в истории происходящее, а в темных онтологических глубинах. Русский ли, американец — всех подстерегает одна опасность.

Неоспоримый кризис нынешнего Запада вынуждает к отказу от догматики «западничества». Любой честный западник должен это признать.

же стереотипах либерального мышления: в попытке приписать славянофильству политическую идеологию, имплицитно содержащуюся в самой установке на примат национального бытия. «Национализм» славянофильский был не политикой, а культурфилософией — учением об органических корнях культуры. Это их позитив. Негатив — в отрицании нивелированной культуры, построенной на основе научного, и только научного, знания, протест против «духа Просвещения». Славянофильство включилось в великое романтическое движение как раз на этих утверждениях и отрицаниях. В этом смысле оно не было националистическим: дурное слово «славянофильство», придуманное его противниками, совершенно не выражает его идеи. Это была идея генотипов культуры, их индивидуальных ликов, *качеств* (философская дефиниция: качество — это определенность). В философской проекции славянофильство было ориентировано плюралистически (говорю сейчас не о собственно философских мнениях славянофилов, а о философии самого славянофильства). Естественно, как русских людей, славянофилов интересовал генотип русской культуры, русское содержание культуры. Но правильна была и сама формальная установка. Сегодня нет серьезного культурфилософа или историка, который бы верил в существование единого плана человеческой культуры. Славянофильский мессианизм, из которого критики извлекают представление о злокачественности славянофильства, о заложенных в нем потенциях культурной (а вслед за этим и политической) гегемонии, был уже не культурфилософской, а религиозной темой. Культурным мессианизмом был немецкий тип мессианизма. Религия — сверхкультурна и подводит к проблеме эсхатологической.

Зерно и зачаток славянофильской эсхатологии можно увидеть там, где критики видят основное *политическое* представление славянофильства: в учении

К. Аксакова о государстве и земле. На самом деле это учение о сверхполитическом, сверхкультурном, сверхисторическом смысле человеческого бытия. Удивительная терминологическая беспомощность (прямо сказать, бездарность) славянофилов (собственного имени не сумевших придумать) сослужила им дурную службу и на этот раз. Там, где нужно было сказать «культура», Аксаков сказал «государство»; где нужно было сказать «небо» — он сказал «земля». Эсхатологическая по сути доктрина оказалась высказанной в политических терминах: власть, свобода, гласность.

Но у этой неадекватной славянофильской синонимии есть и более глубокий срез. Их ошибка и «соблазн», как неоднократно замечалось, выражались более общей тенденцией представлять религиозные ценности в символике преходящих исторических образов, «ценности состояния» в образах «ценностей объективации» (терминология Ф. Степуна, работу которого «Немецкий романтизм и московское славянофильство» следует отнести к лучшему из написанного о славянофильстве. О том же уклоне славянофильства писал М. Гершензон). Так и получилось, что религиозная проблематика у классиков славянофильства была подменена культурфилософской, выражена в терминах культурфилософских. Здесь мы сталкиваемся с более общей проблемой невыразимости религии в символике культуры, по существу — с проблемой языка.

Все сказанное не означает, что мысли К. Аксакова о природе русского народа не имеют специального культурфилософского смысла и не могут быть взяты как отправная точка для характеристики русского *культурно-исторического типа*.

Этот термин вводит нас в проблематику автора его — Данилевского. Считать его следующим логическим звеном в развитии первоначального учения славянофильства, как делали это Милюков и Соловьев, нельзя. Термин, придуманный Данилевским, приме-

ним в гораздо большей степени к доктрине классиков, чем к его собственной. Сам Данилевский связывал «культурно-исторический тип» славянства с определенными направлениями русской внешней политики (верно или неверно сформулированными — в данном контексте не имеет значения), сузил свою задачу до границ политической линии. Лучше всего коренное различие между классиками славянофильства и Данилевским характеризует тот всем (и Янову) известный факт, что они были религиозными мыслителями, а Данилевский — ученым-позитивистом.

Леонтьев связан больше, чем Данилевский, с классиками славянофильства, но только в одном определенном отношении. Можно сказать, что у него происходит обострение эсхатологической проблематики, скрыто присутствующей у классиков. Самое интересное у Леонтьева не то, что он писал, а почему он сделался оптинским монахом. Человек, упоенный цветением сложной культуры, не мог выразить христианского к ней отношения иначе, чем в терминах *суда*. В этом — самый глубокий источник прославленного леонтьевского «обскурантства». Но, конечно, эсхатология не только связывает его со славянофилами, но и отделяет от них, от культурфилософской проблемы, как, впрочем, и самих классиков выводит за грань их позитивного учения.

Коли все это так, возникает вопрос: а возможен ли сам христианский «культурно-исторический тип»? В конце концов, вся культурфилософия славянофилов и строилась на предположении и надежде его осуществления в русском народе, не затронутом глубоко «духом Просвещения». Разделяя культурфилософскую и религиозную тему славянофильства, не делаем ли мы из него проповедь и программу некоего культурного неоязычества? Не приводит ли такой анализ в конечном итоге к отрицанию славянофильской идеи в ее внутренней целостности?

Мне кажется, что христианское отношение к культуре должно неизбежно вести к мысли о релятивности всякой культуры, к пониманию конечности культуры. Это можно назвать христианским реализмом в культуре. Культурфилософия требует одновременно критики культуры (чем и занимался, кстати сказать, К. Леонтьев). Культура требует к себе иронического отношения (в глубоком, романтическом смысле слова «ирония»). Синтез «эллина» и «иудея» не дается в рамках культуры. Феноменальное единство, единство в мире явлений, возможно лишь как насильственное единство. Но понятый в этом смысле релятивизм культуры дает как результат принцип «культурно-исторических типов»: релятивизм — не только в абсолютном измерении религиозной полноты, но и как сосуществование конечных культурных ликов.

Это, однако, не отвечает на вопрос о христианском содержании культуры или даже уже — о русско-христианском культурно-историческом типе. Создается впечатление, что определение такого содержания требует апофатического подхода: легче ответить на вопрос, что *не* является христианским в культуре. Видимо, можно сказать, что наука, изучающая законы «падшего», объективированного мира, не есть часть христианской культуры. Позднее прикосновение России к Просвещению казалось славянофилам христианским задатком. Видение христианства не в полноте культурного творчества, а в «рабьем зраке», в образе «нищих духом» — христианский мотив в России (знаменитое стихотворение славянофила Тютчева). Крайне знаменательным представляется тот факт, что русская история не создала развитой общественной культуры, как Запад, но знала очень высокий тип личности — и в святости, и в гении. Сверхкультурная природа русского гения неоспорима (Толстой, Блок). Это можно объяснить, по Бердяеву, тем, что эсхатология входит в культуру (историю) через погружение

исторического времени в экзистенциальное, т. е. на уровне личности. Наряду с этим настойчивого внимания требует обращенность русского духа к идее Церкви как свободной соборности, «коммунистичности», в которой дано экзистенциальное общение личностей, открывающее путь цельного, свободного знания (зависимость достоинства знания от степени общности людей как основная мысль «социологии познания» устанавливалась Хомяковым, С. Трубецким, Бердяевым). Важно во всем этом, что мы здесь имеем дело не только с проектом русской христианской культуры, но и в значительной мере с уже достигнутым, имевшим место результатом. Несомненно, что такая культура уже вырабатывала успешно в России свой стиль. Был свой яркий стиль и в русской жизни (характеризовавшийся, в частности, ее громадной «бытовой свободой», как называли этот феномен Бердяев и Федотов).

«Русский культурный ренессанс» начала века, от которого, вероятно, не будет отказываться и Янов, был как раз *религиозно-национальным* возрождением. Были вскрыты православные корни подлинной русской культуры, была осознана красота и духовная значимость национальной традиции, погребенной было под постройками «просвещения». Пробуждение *национального самосознания* — неотъемлемая часть этого ренессанса (в частности, именно тогда было впервые адекватно оценено славянофильство). Это же время дало такого чисто русского гения, как В. В. Розанов, один из подлинных отцов ренессанса. Поздний, уже эмигрантский, плод его — блестящий Г. П. Федотов — либерал, социалист и в то же время почвенник.

Я бы сказал, что христианской доминантой русской духовности была тенденция отделять дело культуры от дела спасения. Эта тема присутствует как на верхах (Толстой, у Достоевского — знаменитая дистинкция «истины» и «Христа»), так и у «средняков», вроде народнического идеолога Михайловского. Опас-

ность этой тенденции — в переходе ее к культуроборчеству. Но все-таки погубили в России дело культуры даже и не народники, доработавшиеся в конце концов хотя бы до Иванова-Разумника — интерпретатора Блока и Белого, а большевики с Марксом, не только уничтожившие «надстройку», но и расшатавшие свой заветный «базис». Ясно, что «русская идея» как религиозно-культурный феномен была не модифицирована большевизмом, а сорвана им. Сводить комплекс русских проблем к идее государственной силы, которую якобы развивают большевики, — значит ничего не видеть в России.

Но и у этой последней идеи есть свой самостоятельный интерес. Это вопрос имперский, или, как говорит Янов, «советско-славянофильской империи». Это и есть тема Данилевского. Прежде всего тут следует напомнить, что понятие «государство» не совпадает с понятием «нация». Нация не создает государство, а сама создается им. Об этом писали Ортега-и-Гассет («Восстание масс»), Федотов («Судьба империи»), и эту же тему очень хорошо понимал Леонтьев («Племенная политика как орудие всемирной революции»). Коренная нереалистичность либерального мышления сказалась у русской интеллигенции, может быть, ярче всего в отношении ее к идее государства и государственной силы. К этому вопросу у нее было отношение нерадивого раба, а если без метафор — прямо предательское отношение. Реальность национально-государственной силы была ей ненавистна. Вспомним интеллигентско-либеральную реакцию на статью Струве «Великая Россия». Либеральные идеи казались несовместимыми с заботой о национальном теле. Но этот «отвлеченный идеализм» отнюдь не столь невинен, как с первого взгляда кажется, он приводит к вполне реальным катастрофическим последствиям. Милюков со товарищи за восемь месяцев развалил Россию, а потом из эмиграции, в 1943 г., преклонился

перед силой большевизма (рецидив «сменовеховства»). Как видим из этого случая, не только национализм, но и космополитический либерализм знает свое «возмездие». Но большевизм никогда не был русской силой, он паразитирует на русской силе, на русском теле.

А ведь — в проекции на интересующую нас тему — в заботе о национальной силе нет ничего специфически славянофильского, идея национально-государственной мощи есть идея западная (не западническая), если угодно, общечеловеческая, диктуемая простым инстинктом самосохранения. Глухотой к этой теме либерализм показал свою внутреннюю склонность к нигилизму, враждебному элементарным реалиям бытия. (О диалектике отвлеченного либерализма, перерождающей его в нигилизм, прекрасно написал Лев Тихомиров в брошюре «Начала и концы».) Но преодолеть эту роковую склонность помогает как раз славянофильско-почвенническая позиция. Струве (как отчасти и Катков, которого нынешние западники ругают только понаслышке) был типом консервативного либерала-западника, «английским» типом. И таковы же были ранние славянофилы. Характерна любовь к Англии у Хомякова, у почвенника Достоевского, у о. Сергия Булгакова (см. его «Человечность против человекобожия. Опыт оправдания англо-русского сближения». — «Русская мысль», 1917, №5). Все это показывает, между прочим, бóльшую значимость в славянофильстве — в узком «социополитическом» плане — его консервативно-почвеннических, а не либеральных элементов, а только последние и примиряли с ним отчасти его критиков. Не только история России, но и сегодняшняя ситуация на Западе показывает, что разгул анархического нигилизма питается безрелигиозным и беспочвенным либерализмом. «Почвенность» славянофилов — куда ценнее у них, чем внешне

либеральные требования свободы слова. Схема Милюкова и Вл. Соловьева не работает и здесь*.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ЯНОВУ

Академическая часть моей статьи окончена. Содержание концепции Янова и его методология по мере сил выяснены. Создается определенное впечатление научной несостоятельности автора как историка. Это грех значительный для человека с учеными претензиями, но простительный для человека просто. Теперь мне предстоит рассказать о, так сказать, вненаучных аспектах яновского авторства. Выявляется очень интересно лицо человека. Увы, и об этом приходится говорить в связи с Александром Яновым. И он не просто дает повод для такого разговора — его книга настоятельно требует этого. Ибо если исторические экскурсы Янова можно при желании квалифицировать как плод научной несостоятельности, т. е. трактовать в терминах относительно абстрактных, то нарисованная им картина современных «русских правых» основана на постоянных подтасовках, передержках, недомолвках, сплетнях, а то и прямой дезинформации.

Далее следуют пункты.

1. В гл. I, «Гипотезы», книги «Русские 'новые правые'» Янов рассказывает две истории, должныствующие показать всю опасность возможной победы русских националистов. Первая — о том, как он пришел в гости к «видному советскому ученому-гуманитарию» и увидел у него на письменном столе два портрета — Сталина и Гитлера. Эту новеллу Янов заканчивает такими словами: «Мой хозяин был либерал,

* Я не говорю о дальнейшей эволюции самого Соловьева и о смысле ее, потому что не намерен делать из своей статьи учебник для Янова.

однако он больше склонялся к сталинскому решению проблем».

Вторая — о том, как у пришедшего на заседание так называемого «Русского клуба» представителя журнала «Вопросы литературы», по национальности грузина, но «похожего на еврея», председатель собрания потребовал паспорт, заявив, что он не может продолжать прения в присутствии посторонних. После установления грузинской национальности журналиста заседание было продолжено.

Я с полной ответственностью и с готовностью перенести дело хоть в суд заявляю, что рассказанные Яновым истории от начала до конца — ложь. На что он рассчитывал, складывая эти байки? Только на то, что сиволапые выродки славянофильства в своей дремучей серости не доберутся до его английского текста. У Янова есть прекрасная возможность если и не доказать свою правоту, то хотя бы сохранить лицо: пусть он опубликует эти истории по-русски. Он этого не делает, потому что расчет его был построен на эксплуатации незнания условий советской жизни *американским* читателем. И ни один уважающий себя русский издатель этого не напечатает.

2) В главе II, «ВСХСОН», Янов сильно озабочен тем, чтобы отклеить приклеенный на ВСХСОН Данлопом ярлык «новые русские революционеры». Раз «правый» — значит, не революционер! Потому что: «левый» — это хорошо, «революционер» — хорошо, «правый» — плохо. Такова шкала его ценностей. Слово «революционер» до сих пор звучит для него обаятельно. Он не согласен дать своим идейным противникам такое *высокое* имя.

Крайне интересна мысль программы ВСХСОН о коммунистическом режиме, висящем в воздухе. Готовая ассоциация у Янова: Ткачев (а там и до Ленина недалеко). Между тем весь интерес этой мысли — в том, что неукорененность власти связана с ее насиль-

ническим характером. Корневая *русская* власть не нуждалась бы в физическом уничтожении среды своего «местопребывания» (термин Р. Н. Редлиха). Насильничество идет как раз от ее чуждости «почве» — нет у нее иных способов удержаться в чуждой геополитической среде. Разве будет Янов обсуждать этот вопрос? Нет, — ведь это работает против его утверждения «исторической традиции большевизма» в России.

Янов приходит к чудовищному выводу, что программа ВСХСОН «дает замечательное сходство с большевистской догмой»*. Это замечательное обогащение его схемы: большевики неотличимы от царизма, ВСХСОН от большевиков; только непонятно, для чего большевики расстреляли царя, а всхсоновцев посадили в тюрьму. (Позднее выяснится, что «новые правые» борются не с большевиками, а с «мягким режимом» Брежнева.)

И последнее о яновском анализе ВСХСОН'а. В программе ВСХСОН'а есть мысль о необходимости корпоративного устройства общества; взята она из книги Бердяева «Новое средневековье» и связана им здесь с практикой (а скорее декларациями) итальянского фашизма. Естественно, пройти мимо этого Янов не может: всхсоновцы — фашисты, Бердяев — фашист! Между тем, у Бердяева имела место здесь, я бы сказал, издержка исследующего разума: тенденцию эпохи (реальную, а не выдуманную), правильно *установленную* им, он одновременно *оценил* как знак некоего многообещающего развития; тем самым положительная оценка распространилась как бы и на итальянский фашизм. Всё это еще не бросает тени на

* Потому, что программа ориентирована против духа буржуазной цивилизации, и потому, что выдвигает требование наделения граждан (при желании) землей. Последнее, по Янову, — «экономическая основа русской автократии» (в идее welfare-state). Где он нашел этот welfare у обобранного до нитки народа?

идею корпоративной организации общества (и Янов, когда ее излагают другие, например, Агурский в сборнике «Из-под глыб», предпочитает вообще не касаться этой темы). А вопрос о фашизме не столь мимоходный: надо помнить, что он был движением эпохи, знаком времени и имеет очень много самых разнообразных корней. Янов, наверное, как всякий уважающий себя «образованец», читал Томаса Манна, в частности его роман «Доктор Фаустус». Пусть-ка он вспомнит об одном из персонажей этого романа — умном, хотя и неприятном Хаиме Брейзахере, выведившем эти самые тенденции эпохи из поворота ее («реакции») к самой что ни на есть седой древности: ветхозаветной древнеиудейской идее нации как кровного союза. Вообще вопрос о корнях и почве — сложный вопрос, он не под силу Янову.

3. Суждения Янова о Солженицыне. Солженицын, как говорится, в моей защите не нуждается. Не собираюсь я также, в противовес Янову, излагать подлинную позицию Солженицына своими словами — она изложена им самим. Речь пойдет о том, как излагает ее Янов.

«Парадокс Солженицына» Янов видит в обращении вчерашнего неустрашимого борца с режимом чуть ли не в сотрудника власти, «почти сотрудника КГБ». У этого обращения, говорит Янов, есть своя логика и метод — впрочем, не специально солженицынские, а характеризующие новейшую националистическую позицию в целом. Я уже воспроизводил яновскую трактовку этого метода: занять в России националистическую позицию — значит неизбежно, несмотря на все добрые намерения, скатиться к чернотенству, ибо «автократия», обскурантизм, деспотизм, ГУЛаг, тоталитаризм — в природе самой нации. «Должно быть ясно, — пишет Янов, — что препятствие к подлинному возрождению России лежит

внутри русской нации, а не в других народах. Более того, не ясно ли, что этот мессианизм (взятый под марксистским псевдонимом*) есть один из краеугольных камней той «идеологии» — той «лжи», — борьбе с которой Солженицын посвятил свою жизнь?». Итак, Янову все ясно: русский, поскольку он русский, не возрождается, а вырождается (великая русская культура — не в счет!), марксизм, поработивший страну и десятилетиями ее убивающий, есть невинная жертва «русской идеи», а с другой стороны — чуть ли не потенция русского духа (тысячелетнее существование страны без марксизма — не в счет!). Поэтому, говорит Янов, аксаковская в своем источнике апелляция Солженицына к власти с призывом разделить сферы государственных прерогатив и национальной жизни — утопия (а то, что такое разделение, при полной свободе культурного творчества, уже существовало — хотя бы весь XIX век — не в счет!).

Прием Янова — полное замалчивание зловещей роли насильственной марксистской идеологии в истории 60 лет России — особенно нестерпим в этом случае: когда он пишет о человеке, вся публицистическая проповедь которого строится на борьбе с этой идеологией. В отрицаниях Солженицына поистине нет другого мотива, как — отбросить идеологию! покончить с марксизмом! Замолчав у Солженицына этот мотив — что не может считаться добросовестной ошибкой, а есть сознательное искажение, — Янов представляет в качестве действительного врага Солженицына — интеллигенцию, проводника в русскую (и советскую) жизнь «истинных» либерально-западнических идей, навязав ему, соответственно, проповедь невежества

* В другом месте Янов говорит о «татаро-мессианизме». Думается, этот термин Янов придумал в пику «жидо-масонству». Что это такое, я так и не понял.

и обскурантизм, «народническое мракобесие», как ска-
зали бы раньше*.

Мысль о внутреннем тяготении Солженицына к «автократии», т. е., по-яновски, «тоталитаризму» (на самом деле Солженицын говорит об авторитарности, о духовно авторитетной власти) строится Яновым на том основании, что Солженицын к *данной* власти имеет только одну претензию — из-за ее «нерусского происхождения». Поразительная фальсификация! Коммунизм — и Солженицын знает это лучше, чем всякий другой, — враждебен любой нации, любой почве, любому строю органически сложившегося бытия. Коммунизм — угроза бытию, и вряд ли есть хоть одна строчка в «Социализме» Шафаревича, под которой не подписался бы Солженицын (да и где печатался первоначальный экстракт «Социализма»? В сборнике «Из-под глыб!»). В коммунизме Солженицын отвергает прежде всего его *идеологию* («интернационалистическую», между прочим), и только об этом он и говорит в «Письме вождям», — ту идеологию, которая налагает мертвящую лапу на все стороны жизни подпавшей под нее страны. Как сказал недавно один бывший лейборист, марксизм есть методология исторического насилия, истекающего из стремления удержать нежизнеспособную идеологическую догму. А сам идеологический догматизм, можем продолжить мы, есть род дурной веры, причина которой — утрата подлинных духовных ориентиров, *секуляризация культуры*. Родина этой секулярности — безусловно, Запад,

* Я не хочу пересказывать «Образованщину» и говорить о том, что критика интеллигенции Солженицыным идет не «снизу», не с обскурантских позиций, а «сверху», с высот религиозных, нравственных, творческих. Достаточно сравнить два «вклада» (еще одно любимое яновское словечко) в русскую культуру: Янова, «образованский» (толком не знает предмета, о котором берется судить, — славянофильства), и Солженицына. Русской интеллигенции в свое время оказались не по плечу Толстой и Достоевский. История (интеллигентская) повторяется.

но и советский коммунизм — ее верный оплот, и сюда, не меньше, чем на Запад, направляет Солженицын свою критику. Вопрос о России как некоем естественном барьере коммунизму (точнее — надежды, связанные с ее антикоммунистическими возможностями) стоит так остро только потому, что Россия пожалала поздний и горчайший плод этого секуляризма — марксистский социализм, — а поэтому ей легче, чем Западу, питающему до сих пор социалистические иллюзии, от этих иллюзий отказаться. Собственно, иллюзии в России уже изжиты, коммунизм духовно здесь мертв, вопрос коммунизма в России — вопрос грубой силы, да еще привилегий развращенной им касты правителей и прихлебателей, вроде доцентов марксистско-ленинской философии. Это уже ставит вопрос и об «образованщине», которую Солженицын бьет *только за то*, что она посильно сотрудничает с властью, а отнюдь не за секулярность и западничество, которых она, нынешняя, не творец, а скорее жертва, — и уж тем более не за «культуру», весьма сомнительную, между прочим. Так и получился Солженицын у Янова — друг власти и враг культуры.

Поднеся своему (американскому) читателю эту крупную ложь, Янов, естественно, не стесняется и мелкими передержками: Солженицын проповедует «делку с вождями», вместо интеллигенции выдвигает «полуграмотных проповедников религии» (а это у Солженицына — цитата из Семена Телегина, цитата по всей форме, с кавычками); его постулаты полностью совпадают с шимановскими (у Шиманова — правда, в пересказе Янова — всё о язычниках да желтой опасности — о марксизме ни слова; что же общего?); «Ленин в Цюрихе» — «не художественное произведение, а политический манифест», с единственной мыслью о жидо-масонском заговоре (а о действительной, документально подтвержденной роли Парвуса и германского генштаба в русской революции — ни слова).

Такова, в пику солженицынской «дьяволиаде» (название раздела о «Ленине в Цюрихе») яновская *зо-илиада*.

4. Остаются мелочи, в порядке простого перечисления яновских передержек и передергов. Вот, например, Янов пишет, что после падения предполагаемого покровителя *молодогвардейской* линии Полянского *журнал* «продолжает искушать терпение Брежнева колокольным звоном». Понимает ли Янов, что он говорит? Или, привыкнув однажды плевать в лицо русской Церкви, он никак не может от этой привычки освободиться?

Или возьмем его закон русской истории, «7 раз» уже подтвержденный: после «жесткого» режима к «мягкому» и обратно. Последняя «оппозиция»: Сталин-Брежнев. Позвольте, а где Хрущев? Уж если кто и либеральничал из большевиков, так незабвенный Никита! Не заметить Хрущева Янову понадобилось для того, чтобы указать на опасность — в силу установленных колебаний русского исторического маятника — после «мягкого» Брежнева нового Сталина: русофилы идут! А ведь если не забывать о Хрущеве, получается — все по тому же закону, — что он был «мягкий», а Брежнев, наоборот, «жесткий», так что после него и помягчения вроде бы надо ждать. Вот на каком гнилом фундаменте строит Янов свою экспертизу. Промолчать про Пушкина и Толстого — ладно, куда ни шло, но не заметить Хрущева — это, что называется, *pes plus ultra!**

* Вообще этот яновский закон дает прекрасный повод для веселья: если, взяв его за путеводную нить по русской истории, пойти в ее глубь, получается следующее: Ленин (перед жестким Сталиным) был мягкий, Николай II жесткий, Александр III мягкий, Александр II жесткий, Николай I мягкий, Александр I жесткий, Павел мягкий, Екатерина II жесткая. Всё наоборот! Правда, дальше, на дурачке Петре III закон подтверждается — дурачок был мягкий. За-

Или вот еще мелочишка. Янов подкрепляет свой тезис о большевиках — преемниках «русской идеи» — ссылкой на авторитетное мнение члена первого Временного правительства князя В. Львова. Что за человек? О нем сохранилось свидетельство Набокова-старшего. «Обер-прокурор Св. Синода В. Н. Львов ...был одушевлен самыми лучшими намерениями и также поражал своей наивностью да еще каким-то невероятно легкомысленным отношением к делу, — не к своему специальному делу, а к общему положению, к тем задачам, которые действительность каждый день ставила перед Временным Правительством. Он выступал всегда с большим жаром и одушевлением и вызывал неизменно самое веселое настроение не только в среде правительства, но даже у чинов канцелярии». К этому надо добавить, что Львов «сменил вехи», приехал в СССР и — бывший обер-прокурор Синода! — вступил там в союз безбожников. Очень солидный нашелся у Янова союзник.

В своей книге Янов делает приложения, числом семь, которые, видимо, должны прямой своей документальностью (а не подобранными цитатами и сомнительным пересказом) доказать реальную угрозу «новой русской правой». Что же это за документы? 1-й — упомянутый график о «коалиции страха» и «коалиции надежды» (собственное Янова сочинение, а никакой не документ); 2-й — «кодекс морали» комсомольского функционера Скурлатова; 3-й — статья Евгения Вагина о монархических настроениях в современной России (оставляя это утверждение на совести автора, укажу только на яновскую логику: монархизм — ничего страшнее быть не может! Один «Николай кровавый» чего стоит!); 4-й — склока в мюнхенском штабе радио

то предшественница его Елизавета, добрейшая, хотя и вздорная женщина, оказывается опять жесткой.

Открытием этого закона Янов, несомненно, воздвиг себе памятник.

«Свобода» (причем тут «советские» националисты?); 5-й — провокация советского посольства в Париже (издали под видом информационного материала брошюру дореволюционного антисемита); 6-й — три выдержки из никем не читаемых эмигрантских журнальчиков; наконец, 7-й документ — выдержка из книги Г. Свирского «Заложники», свидетельствующая об обострении в Советском Союзе национальной вражды между самыми различными народами (а кто ее обострил? Осипов? Или, может быть, Солженицын?*).

К счастью, на Западе печатаются не только сомнительные «документы», вроде яновских, но и подлинные документы русского национального движения, например, сборник «Из-под глыб». Западу остается только выбирать: кому верить — Янову или Шафаревичу с Солженицыным**.

Только вот — сумеет ли выбрать?

КОМПЛЕКС ЯНОВА

Книга Янова интересна не описаниями своими и не анализами, а рекомендациями. Собственно, рекомендация только одна — *поддержать брежневскую «разрядку»*.

В нарисованной Яновым картине бывшего и сущего состояния русского общественного сознания, политической ситуации, тенденции развития — поистине, брежневский режим (который в одном месте он сравнил с Веймарской республикой и Временным правительством) есть наименьшее из зол. Программу

* Впрочем, моя ирония здесь не совсем уместна. Янов в одном месте действительно написал, что Солженицын «всадил нож в спину крымским татарам».

** Про Шафаревича Янов — ни слова: ну-ка попробуй опровергни его концепцию социализма! Это не то что игра в одни ворота с Антоновым или Шимановым.

этого режима он описывает в терминах «благополучие», «культурный рост», «сближение с Западом», «политика открытых дверей» (правда, в другой раз пишет: «полуоткрытый режим», т. е., надо понимать, открытый, но не для всех). А однажды характеризует его как режим *космополитического либерализма* — ни больше, ни меньше.

Все эти в действительности не существующие элементы брежневской программы составляют вождь-ленную для Запада «разрядку». Янов поступает в соответствии со старым правилом лукавых царедворцев: подsunуть информацию, которая должна подтвердить уже проводимую политику, а не способствовать выработке новой, более отвечающей положению дел.

Стоит ли повторяться? В очередной раз сравнивать «разрядку» с пресловутой «веревкой Ленина», которую Запад продаст большевикам, чтобы они его этой же веревкой и удушили? Говорить, что западная помощь сорвала проведение в СССР крупных экономических реформ? Напоминать, что сам Запад от «разрядки» ничего не выиграл, что это политика односторонних уступок? (Диссиденты? Посажены *специально* для того, чтобы показать, как большевики понимают «разрядку».)

Янова, однако, больше всего интересует вопрос об альтернативах «разрядке». Вся его работа предпринята для доказательства того, что «новые правые» не знают другой цели, кроме «возрождения легитимности авторитарной идеологии». Иной альтернативы нет, доказывает Янов: или Брежнев, или новый Сталин. Так ли это?

Описывая «сценарий 'новых правых'» — ту политическую линию, которую они возьмутся проводить в случае прихода к власти, — даже Янов не может не признать, что существеннейшим элементом этой политики будет изоляционизм, отказ от давления на Запад и Третий мир. Так ли уж опасна для Запада эта аль-

тернатива? Янов приводит мнения своих американских критиков, которые резонно сомневаются в губительности для Запада этой перспективы, даже если в процессе русской самоизоляции и возрастет «автократия», произойдет «ремобилизация» режима. А о России и говорить не следует, ничего страшнее «чистого» марксизма для нее быть не может. Янов толкует о возрождении «сталинизма» в случае победы национальной идеи на верхах. Но националистическое руководство, если только оно решится стать таким, тем и будет отличаться от марксистского, что поставит себе новые цели — не «мировую революцию» (под псевдонимом «разрядки») и не социализацию России (далее в этом направлении идти некуда), а реальные задачи возрождения страны. Эти — позитивные — цели потребуют, естественно, и других, нежели «сталинизм» и ГУЛаг, средств.

Но Янов все-таки находит аргумент для подтверждения сугубой и трегубой опасности возможного нового курса. Оказывается, в этом случае в «советско-славянофильской империи» остаются *заложники*.

Кто же эти заложники? Перечислю по Янову: это — «восточные сателлиты» (вместе с «Западным Берлином»), «украинцы», «диссиденты», «евреи», «миллионы невинных, вроде Ивана Денисовича», наконец, «просто люди, которым угрожает новый ГУЛаг».

Я сильно сомневаюсь в симпатиях Янова по отношению к невинным Иванам Денисовичам. Для этого у меня есть серьезные основания. Янов, например, забил тревогу по поводу заявления Осипова, сказавшего, что вопрос о физическом выживании русской нации, обреченной на вырождение, важнее вопроса о гражданских правах. Или в статье «На полпути к Леонтьеву» тот факт, что «русская деревня гибнет, что русский народ себя уже демографически не воспроизводит, что удельный вес его стремительно падает», Янов

расценил *только* как «объективную базу для возрождения» националистической «имперской стратегии», не обратив внимания на то, какая *реальность* скрывается за этим легко брошенным на бумагу перечислением. Или в книге своей осмелел «националистическую» интеллигенцию за то, что она принялась проводить каникулы в деревнях, на могилах предков, вместо того чтобы ездить на Кавказ, в Крым и Прибалтику. А фразочка его о «черных тучах русофильства»? Нет, не похож Янов на печальника русского народа.

Так что если вернуться к вопросу о «заложниках» и принять во внимание, что «восточные сателлиты» и так уже выданы с головой Западом (по Хельсинкским соглашениям, этому венцу «разрядки»), а также, что русские диссиденты, по Янову, не прочь от конфронтации с властью перейти к коллаборации с ней, то окажется, что душа у него мало о ком болит по-настоящему.

На этой базе он и строит свои заключения о благодетельности брежневского «детанта», способствующего цветению «полуоткрытого режима».

Теперь окончательно понятно, зачем понадобилось Янову оболгать и очернить Россию, — для доказательства того, что спасать в ней нечего и некого, кроме «заложников».

Но так ли уж спасает их «разрядка»? Возьмем, к примеру, еврейскую эмиграцию. Да, десятки тысяч ею спасаются. Но миллионы евреев остаются в прежнем положении. В прежнем ли? Уже сегодня можно сказать, что еврейская эмиграция усилила в СССР антисемитизм — и не только государственный, а народный. Десять лет назад Слепака не стали бы обливать кипятком соседи с верхнего этажа. Уверен ли Янов, что расчет большевиков строится только на американской пшенице, а не на этом вот опаснейшем повороте народного сознания? Представим себе такую гипотетическую картину: правительство США объявляет,

что в случае атомной войны правом пользоваться убежищами будут обладать только поляки. Какое отношение к ним сложится у остальных граждан?

Да, существует опасность использования большевиками национального движения в России, они способны его извратить, как извращают все, к чему прикасаются. Но вопрос этот стоит совершенно иначе, нежели ставит его Янов. Национализм не сам по себе усиливает «автократию», он только может быть утилизирован коммунистами как соответствующая мотивировка. Но национальная идея имеет свой собственный смысл, свою ценность и свою логику, и она *опасна* для режима. Не в том дело, что она может быть использована большевиками по ведомому им назначению, а в том, решатся ли они на это. Спонтанная сила «русской идеи» настолько велика, что даже простое ее декларирование может вызвать цепную реакцию и повалить все здание марксистской коммунистической идеологии. Правители знают это и *боятся* этого.

Думается, что привлекающий внимание и вызывающий страх наших эмигрантских журналистов поток шовинистической литературы в СССР, все эти стихи, воспевающие «русскую кровь» и «генералиссимуса», — *не естественный продукт русской идеи, а спланированная провокация властей* — с целью опорочить эту идею. О ней же я стал бы судить по работе таких писателей, как Распутин, Носов, Белов, Шукшин. Несомненный подъем русской литературы, представленный этими и многими другими именами, — сам по себе благодетельный знак. Не может дурная идея породить хорошую литературу. И глубже — не есть ли подъем русской литературы отражение подъема национальной жизни? знак неких необратимых — и добрых — перемен? Прихлопнуть новейших одописцев ничего не стоит, да и сами же большевики, ежели им понадобится, сделают это (пример — Шевцов). Распутина с Шукшиным — не прихлопнешь.

У западных же политиков, проводящих «разрядку», имеется свой расчет: *им нужна не свободная и сильная Россия, а слабый СССР*. Но и здесь они ошибаются. СССР достаточно силен, чтобы уничтожить западную цивилизацию, и марксистская идеология ему в этом не помешает, а поможет. Национальный же русский интерес этого не требует. Это, скрепя сердце, признает и Янов. Ведь термин «империалистический изоляционизм», им придуманный, — деревянное железо. У Янова вопрос упирается в тех же «заложников»*.

Вообще проблема эмиграции заслонила перед ним все горизонты настолько, что даже отдаленнейшие события русской истории он рассматривает под этим углом зрения. Одна из глав его «Иванианы» называется «Исходное предположение» и ставит вопрос об оценке русского прошлого в зависимость от того, куда в 15-16 вв. ездили люди — «в Москву» или «из Москвы». В какую сторону направляется поток эмиграции — вот что преимущественно интересует Янова. Это его комплекс.

* * *

Те признаки русского национализма, которыми страшат своих читателей Янов, как выяснилось, в действительности не существуют. Даже Сергей Шарпов, который на бумаге завоевывал Константинополь и обращал евреев в чернорабочих, сгинул в мире теней, и никто не вспомнил бы о нем, если б не яновская тенденциозная археология. Правда, живут и работают

* Но будет ли «заложникам» хуже, если разыграется «сценарий новой правой»? Есть все основания полагать, что у русского национального правительства (а не идеологического марксистского) идея сионизма встретит искреннюю поддержку. Уж кто может быть «правее» Скуратова — а прочтите его статью «Русский национализм и сионизм» в журнале «22».

Антонов с Шимановым. Первый призывает к синтезу православия с ленинизмом, второй говорит, что Россия беременна теократией. Но ведь сбил их с толку не Ленин и никак уж не православие, а Бердяев с его несчастной идеей «III Интернационала» как исторической модификации «Третьего Рима». Бердяев был уверен в том, что эсхатологические порывания присущи одинаково и русскому народу, и марксизму и в большевизме они совпали. Существует определенный «бердяевский соблазн»; и его трудно избежать образованцу, даже если он не состоит на кафедре марксистско-ленинской философии: Бердяев порой взвинчивал вопросы на такую высоту, окутывал их таким философским туманом, что уже становились неразличимы Бог и дьявол. Шестов однажды заметил, что бердяевское пренебрежение эмпирическим миром напоминает ему историю о двух девицах, игравших в шахматы: в пылу игры они «съели» друг у друга королей — и продолжали играть как ни в чем не бывало. То, что Бердяев наделил марксизм бессознательной религиозностью, характеризует не марксизм, а самого Бердяева. Он писал, что опасный уклон русского сознания — подмена апокалиптики нигилизмом. В вопросе о марксизме и социализме сознание самого Бердяева совершало такую подмену. Что же говорить о простецах Антонове и Шиманове!

Самого Бердяева этот метафизический флирт с коммунизмом завел так далеко, что он вывесил в 45-м году красный флаг над своим кламарским домом. Может ли кто-нибудь представить себе, что на такую акцию способен Солженицын? Ставить его в одну линию с Антоновым и Шимановым нельзя хотя бы потому, что эти двое — поклонники идеократии, как это признает и подчеркивает сам Янов, а Солженицын всю свою общественную задачу полагает в деидеологизации власти. Если вспомнить яновскую трактовку славянофильства, данную им еще в его советских ста-

тнях, — Солженицын, как и славянофилы, выступает за *секуляризацию власти*. Власть как общественный институт он предлагает рационализировать; отказ от марксистской идеологии — вернейший шаг на пути этой рационализации.

Но это не значит, что Солженицын выступает за секуляризацию общественной жизни во всем ее культурном объеме. Тут и таится корень проблемы о внешней и внутренней свободе, тут и обнаруживается подлинная, а не мнимая близость его хотя бы к теории К. Аксакова. Слишком много современный Запад дает примеров того, что такая тотальная секуляризация чревата всяческими бедами. Она создает духовный вакуум, который легко и, так сказать, естественно заполняется разного рода лжепророками, вроде итальянских «красных бригад» или пастора Джонса. И когда они захватят власть, выпавшую из ослабевших рук парламентаризма (а тоталитаризм возникает не на почве «автократии», или сильной власти, а в ослабевших демократиях, что и подтверждается историей Временного правительства, чанкайшистского Китая или не к месту помянутой Яновым Веймарской республики), — тогда никакой секулярности от них не ждите. Это будет, как говорил тот же Бердяев, — сатанократия. Нужно понять, что нет *религиозно нейтрального бытия*.

Я предлагаю вспомнить проводимое Г. П. Федотовым в статье «Новое отечество» различие понятий «отечество» и «родина». Первое, «отцовское», понятие — и соответствующая ему реальность — должны строиться рационально-прагматически (хотя чисто философски такое словосочетание не вполне удобно), без привнесения догматов и особо пылких чувств. Второе, «материнское», есть сфера иррациональная и сверхрациональная, в ней живые корни национального бытия, питающие интимные стороны его культуры. Благоговейно-религиозного отношения тре-

бует только эта сфера. И задача современного сознания, в том числе и политического, говорил Федотов, в этом их — отечества и родины — «необходимом и, конечно, болезненном, разобщении». Именно это, по моему, предлагает и Солженицын.

Не к сотрудничеству с ныне сущей властью призывает Солженицын, да и не к «измерению политической реальности абсолютными мерками морали», а к разделению царства Бога и царства кесаря.

И последнее о «сотрудничестве». Вспомним совсем недавнее прошлое: что делал в России Солженицын и что делал Янов. Янов сообщает, что опубликовал в СССР около 60 работ. Солженицын опубликовал на родине — 6 (и все они сожжены и прокляты). Спрашивается: кто сотрудничал с властью? Или Янов возьмется утверждать, что открытая подцензурная литературная работа в СССР в сфере политических писаний (а он рекомендует себя как «политический писатель») дает возможность «диссидентства» (и не в одной случайной статейке, а на протяжении 20 лет)? На его месте не следует бросаться обвинениями в «коллораации», это обвинение в его руках легко может стать чем-то вроде бумеранга. Тем более, что и сегодняшняя его работа, эта безудержная апология брежневской мнимой «разрядки», — сильно смахивает на коллаборантство.

Русским националистам Огурцову и Осипову «мягкий» режим Брежнева дал тюрьму. Солженицына изгнал из родной страны. Янову — он дал возможность перебраться из Москвы в университет Беркли и пропагандировать его благодеяния.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Следование разбираемому автору, которое я обещал в начале статьи, требует в конце ее поместить какое-нибудь «приложение». Охотно делаю это. Вы-

бранный мной документ — конечно, капля в море, но он, думается, правильно ориентирует в отношении недавней нашей истории. Он показывает, какие резоны имеются у русского национально-религиозного возрождения, помимо мечты об «автократии», и какой счет нация и религия могут со временем представить сильно передовой интеллигенции. Этот документ — коллективное письмо, извлеченное из Полного собрания сочинений Маяковского (т. 13, М., 1961, стр. 209-210). В редакционном примечании к нему (там же, стр. 407) сказано, что письмо это было напечатано в газете «Вечерняя Москва», 1924, №119, 26 мая (т. е. читалось предельно широко) и «возымело действие».

В МОСКОВСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

Москва, 25 мая 1924 г.

В московский Совет раб., красн. и кр. депутатов

25-го сего мая скончалась художник-конструктор Любовь Сергеевна Попова. Вся ее работа, как и ее мировоззрение, были связаны теснейшим образом со строительством революционной пролетарской культуры. Тов. Попова работала до последнего времени в следующих организациях и учреждениях: в Пролеткульте — преподавателем режиссерских мастерских, в Институте художественной культуры при Академии художественных наук, профессором Высших художественно-технических мастерских, в Театре имени Мейерхольда (постановки «Великодушного рогоносца» и «Земля дыбом»), художником-конструктором 1-й ситценабивной фабрики (б. Циндель), сотрудником журнала «Леф», членом группы конструктивистов. В первые годы революции она работала в отделе ИЗО Наркомпроса (член коллегии), преподавателем Государственных высших театральных мастерских и в Государственном институте театрального искусства. Всегда в своей работе она находилась в самой передовой группировке в деле строительства новой пролетарской культуры. До Октябрьской революции она была активным работником в профсоюзе художников-живописцев, а в дальнейшем принимала участие в профсоюзной работе Всерабиса (член президиума секции ИЗО).

Мы, нижеподписавшиеся, зная хорошо по совместной работе мировоззрение тов. Поповой и весь уклад личной ее жизни, и связанные с нею тесной личной дружбой за все время революции, утверждаем, что она была убежденной, последовательной и выдержанной атеисткой и материалисткой. Семья же ее, с которой она не была идеологически связана, настаивает на религиозных похоронах, что, конечно, явится актом определенно противоречащим всей ее работе и ее жизни.

На основании всего изложенного просим постановления Моссовета о предоставлении нам, нижеподписавшимся организациям и ее ближайшим друзьям и товарищам по работе, возможности совершить гражданские похороны тов. Поповой.

От имени коллектива сотрудников и редакционной коллегии журнала «Лев»: Б р и к, М а я к о в с к и й, А с е е в.

От имени членов группы конструктивистов: Р о д ч е н к о, С т е п а н о в а.

От имени Ассоциации инструкторов действенных ячеек: Ж е м - ч у ж н ы й.

От имени коммунистического коллектива организаторов мастерской Революции: С е н ь к и н, К л у ц и с.

От имени Исполбюро профсекции Вхутемаса и Рабфака: Б ы - к о в.

От имени Института художественной культуры: К у ш н е р, Л а в и н с к и й.

БИБЛИОГРАФИЯ

«Континент», №9, стр. 317.

«22», 1978, стр. 94-95.

«Синтаксис», №1, 1978, стр. 48-49.

Alexander Yanov. The Russian New Right. (Right-wing ideologies in the contemporary USSR). Berkeley, 1978, p.p. 15-16.

«22», стр. 88-89.

Н. Бердяев. Философия неравенства. 2-е изд. Париж, 1970, стр. 123.

В. Набоков. Временное правительство. «Архив русской революции», I, изд. 3-е, Берлин, 1922, стр. 43.

«СССР: демократические альтернативы». Изд-во Ахберг, ФРГ, 1976, стр. 199.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.
Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

ИСТОКИ

Измаил А х м е д о в

ВОЙНА

Видимо, было что-то заранее продуманное в том, как разыграли перед нами некую комедию. Мы находились в картографическом классе военного училища. Это был первый урок после обеда. Без стука вошел дежурный офицер и что-то прошептал нашему преподавателю. Весь класс мгновенно подняли и отправили в конференц-зал. У дверей вооруженный часовой отмечал в списке фамилию каждого из нас, прежде чем впустить в зал.

После того, как вошли курсанты других классов, начальник Академии с комиссаром и начальником отдела личного состава поднялись на сцену. Коротко и сухо начальник сообщил нам, что есть строго секретный приказ начальника Генерального Штаба Красной армии. Мы направлялись немедленно в распоряжение штаба Ленинградского Военного округа «для выполнения особого задания партии и правительства». Нам было дано четыре часа для приведения в порядок всех личных дел. Через четыре часа мы должны были явиться на вокзал и погрузиться в спецпоезд, отправлявшийся в Ленинград.

На следующее утро мы прибыли в бывшую столицу, и по приказу коменданта города нас разместили в офицерской гостинице. Нам не запрещали выходить из гостиницы, но отсутствовать можно было не более шести часов, и то только в дневное время.

Так мы провели в ожидании неизвестно чего десять дней. Мы бродили по городу, заходили в музеи,

шатались по набережным Невы, иные навещали старых друзей.

В нашей группе был один полковник, настоящий сорви-голова, который до поступления в Академию служил в оперативном отделе Ленинградского военного округа. Настоящий профессионал! Он имел орден Красного знамени за гражданскую войну и уже успел окончить Академию им. Фрунзе. Несмотря на то, что он был членом партии, был он человеком откровенным и вместе с тем умел выйти сухим из воды в самых сложных обстоятельствах. Он развлекал нас рассказами о всяких скандальных происшествиях в среде высшего командования. Рассказал он, в частности, и о том, как маршал Буденный убил свою жену, известную балерину, когда ее обвинили в том, что она была немецкой шпионкой.

26 ноября 1939 года этот полковник вернулся от одного из старых друзей, служившего в штабе округа.

Слегка возбужденный, он подошел ко мне и еще несколькими слушателям в вестибюле и сказал: «Так, товарищи, по приказу из Москвы наша артиллерия обстреляла наши собственные войска на Карельском перешейке. Завтра начинается война, а сегодня вечером мы все будем распределены по военным частям. «Протест» финнам уже направлен, их обвиняют в нападении на нашу страну. Забавно?»

Его сведения о нашей отправке на фронт оказались совершенно точными. Этой же ночью мы все получили приказ направиться в свои части и немедленно отправились в распоряжение этих частей. Позднее я сам видел в секретном отчете, что нападение было, действительно, совершено нами, а не финнами. Инцидент произошел около Выборгского шоссе в советской деревне Майнила, отделенной узенькой речушкой Сестрой от финского поселка Тамисспени. Быстрый и короткий артиллерийский обстрел окончился так же

внезапно, как начался. Стреляло семь советских батарей. Четыре советских солдата были убиты, многие ранены.

Рано утром на следующий день я приехал в штаб Седьмой армии, севернее Ладоги, примерно за 200 миль от Ленинграда. Мне временно присвоили звание майора и назначили офицером связи.

Только позже, увидев в штабе соответствующие карты, я смог оценить, какие громадные силы были собраны и брошены на эту войну. Наша Академия, брошенная туда же в последний момент, казалась лишь незначительным довеском.

Сотни тысяч людей, тысячи танков и артиллерийских батарей, огромные склады боеприпасов были расположены за несколько недель до нашего прибытия вдоль всей финской границы.

Седьмая армия была лишь частью — и далеко не главной частью — всей этой армады. К северу от нее — еще три армии — Восьмая, Девятая и Десятая, а на крайнем севере — против финского порта Петсамо (на Баренцевом море) — находился специальный корпус. Кроме этих гигантских сосредоточений войск, к югу от Ладоги и по всему Карельскому перешейку в направлении Выборга действовали *главные силы!*

Концентрация войск здесь — позднее еще усиленная — была чудовищной: двенадцать стрелковых дивизий, танковый корпус, две отдельных танковых бригады и специальные лыжные батальоны. Наступление поддерживалось авиацией и тяжелой артиллерией с Кронштадтских фортов, да еще орудийным огнем с кораблей. Причина создания такого кулака была в том, что ему противостояла линия Маннергейма — цепь дотов и укреплений из стали и бетона менее чем в трех десятках миль северней Ленинграда. Войска на юге были исключительно из Ленинградского военного округа и находились под «личным командованием» Сталина.

Через два дня после моего прибытия в распоряжение Седьмой армии, 29 ноября, мы услышали по радио речь Молотова о том, что СССР порвал дипломатические отношения с Финляндией в ответ на майнильский инцидент. На следующий день началась война, и Красная Армия повела наступление по всему фронту, встречая отчаянное и умелое сопротивление.

По сути дела, я ничего не знаю о военных действиях на участке Седьмой армии, поскольку почти сразу после начала наступления получил новое назначение. Армией этой командовал генерал Штерн (позднее «вычищенный»), в свое время удостоенный звания Героя Советского Союза за руководство военными действиями против японцев на манчжурской границе. Его начальник отдела личного состава и настоял на моем перемещении из Седьмой армии в Девятую. Он был одним из моих преподавателей в Академии и часто хвалил меня за успехи в учебе. Как только он увидел меня в Седьмой армии, он сразу решил, что работа офицера связи не для меня, что я должен выполнять штабную работу.

На следующий день я отправился на север, в штаб Девятой армии — в Кемь на Белом море. Девятая состояла из двух корпусов, северный включал в себя 44-ю и 163-ю дивизию, южный — 54-ю дивизию и Сибирскую лыжную бригаду. Обоим корпусам были приданы артиллерия и танковые соединения. Командовал Девятой армией генерал-лейтенант Василий Чуйков. Его комиссаром, чье партийное положение делало его действительным начальником, был Лев Мехлис, один из редакторов «Правды» и бывший начальник Политуправления Красной армии. Мехлис был уже тогда генералом армии.

Девятая армия должна была перейти границу в направлении Суомисалми, через самую узкую часть Финляндии выйти к порту Оулу (Улеборг) на Ботническом заливе и взять этот город, по пути уничтожая

все финские силы и подавляя сопротивление населения. Граница была в 175 милях от Оулу. На всем протяжении пути условия были труднейшие: дорог мало, почти сплошной лес и десятки озер. Специальный боевой приказ Девятой армии, подписанный Сталиным, уточнял, что Оулу должен быть взят ровно на восемнадцатый день наступления. Даже Чуйков смеялся над оптимизмом этого приказа.

Мои первые три дня в Кеми ушли на работу с картами и на уточнение взаиморасположения разных частей. Это было особенно сложно, потому что карты Финляндии, которыми снабдила нас военная разведка, были на редкость неподробны, выполнены из рук вон неряшливо и неточно.

В полночь на третьи сутки меня разбудили и вызвали к начальнику личного состава. Я получил приказ отправиться на позиции 44-й дивизии, на восточной окраине Суомисалми, на месте обследовать положение и доложить в штаб.

Дивизия называлась Украинской стрелковой, но в ее составе (более 18 тыс. человек) были бойцы не только с Украины, а еще и казаки, азербайджанцы и даже туркмены. Выглядело все это странной разношерстной командой, которая была обучена и подготовлена в степях и отнюдь не приспособлена к ведению операций в условиях северных лесов, среди озер, скал и жестоких морозов.

Назначение этой дивизии было, пройдя Суомисалми, выйти к берегу озера Кьянта, уже покрытого толстой корой льда; то же должна была выполнить и 163 дивизия, плохо обученная и нищенски экипированная.

После того как мне представили мое соединение, меня познакомили с майором Николаевым, выпускником политехнического училища. Николаев, который практически не имел никакой военной подготовки, был назначен моим комиссаром. Нам выдали машину с солдатом-водителем, автоматы, револьверы и гранаты.

Точка отправления — Кемь — находилась за 266 км на восток от границы, хотя позднее штаб армии и передвинулся в Ухти, почти на треть ближе к Финляндии. Вскоре мы обнаружили, что карты этой части СССР были столь же неполными, как и карты Финляндии. В результате мы вынуждены были положиться на собственную изобретательность да на те подсказки, которые смогли получить от передовых частей Девятой, когда проходили мимо них.

Путь оказался длинный: сначала до Ухти, откуда мы двинулись уже параллельно границе на юг, пока, наконец, не наткнулись на штаб Сорок Четвертой в маленьком городке Раате, расположенном прямо на границе.

Когда мы уезжали из Кеми, некоторые из наших офицеров пожали нам руки с таким выражением, словно уже не надеялись когда-либо нас увидеть снова. Погода основательно ухудшилась. Была середина декабря, температура упала градусов до 30 ниже нуля, а снег по сторонам ледяной дороги — настоящие стены из снега высотой в 1,5—2,5 м, и еще с севера налетал режущий ветер. Было только одно преимущество в этом холоде — лед на озерах такой мощный, что наша артиллерия ехала по озерам и болотам без всяких затруднений. Поэтому, видимо, и было выбрано такое время года для начала войны.

К северу от Раате мы встречали части 44-й, двигавшиеся в сторону штаба и к фронту. Некоторые отдыхали, другие встречались нам на марше. Когда была возможность, я беседовал с офицерами или солдатами — разумеется, поодиночке. Были среди них и хорошенькие девушки из медицинской службы или из службы связи. Никто, в конечном счете, не был охвачен тем энтузиазмом, о котором нам протрубили уши по радио и в газетах. Люди, машины, артиллерия,

танки, лошади — все двигалось к Суомисалми. И, возможно, к гибели.

На каком-то привале при такой встрече солдат, простой мужик из-под Полтавы, задал мне вопрос: «Товарищ командир, зачем нам надо тут воевать? Разве товарищ Ворошилов не говорил, что мы не хотим ни пяди чужой земли, но и своей ни пяди не отдадим? Это он говорил на съезде партии! А мы вот идем воевать! За что? Не понимаю». Николаев не дал мне ответить, объяснив, что финны угрожали Ленинграду.

На другой остановке мое внимание привлек уже немолодой солдат, возница, который никак не мог заставить одну из своих лошадей сделать хоть шаг вперед. Лошадь была измотана и двигаться категорически отказывалась. Но солдат все же не бил ее кнутом, как полагалось в таких случаях, выглядел каким-то пристыженным и пытался уговорить животное продолжать путь. Был он похож на самого обыкновенного человека, но выражение лица — такое, словно он появился с другой планеты. Я спросил, кто он и откуда. Он сказал, что до войны был профессором физики в Ленинградском университете и по бюрократической неувязке оказался возницей. Он улыбнулся и добавил, что не жалуется, но я пометил себе в книжечке, чтобы как-то разобраться с этим случаем. Правда, когда это было сделано, я уже оказался далеко.

Около Раате наша машина сломалась, и шофер сказал, что для ремонта надо не меньше двух дней. Мы прошли несколько миль до ближайшего соединения и передали машину начальнику снабжения. Он громко протестовал, но это не принесло ему пользы, потому что у нас были полномочия, выданные штабом армии.

Совсем уже в сумерках мы прибыли в штаб в Раате. Тут мы провели ночь в маленьком домике, где больше

ста офицеров безуспешно пытались заснуть. Но заснуть сидя удавалось немногим. Большинство вообще вынуждено было стоять. Все — под градусом. Водка — по 250 грамм на офицера (столько же полагалось и солдату) — была основной частью нашего рациона. И тем, кто пил, было куда лучше, чем непьющим. Вечером тучи папиросного дыма, запах множества тел, скученных в тесном помещении, мне надоели. Я вышел глотнуть свежего воздуха, не заботясь о том, что потеряю свое стоячее место.

Едва я успел слегка продышаться, как услышал, что кто-то, двигаясь вдоль узкой полоски тени, выругался и упал. Удар, грохот двух коротких взрывов, стон, потом все смолкло. Я включил карманный фонарик и пошел в ту сторону. На снегу лежал мертвый лейтенант, внутренности его вывалились наружу. Споткнувшись, он как-то умудрился сорвать кольцо с собственной гранаты. Он был еще совсем мальчик.

Ослабев еще больше, я бродил кругом, пока меня не остановил часовой. Перед нами, всего в нескольких метрах, находились дома финского городка. Финны вытащили из них все, что могли. Все люди ушли, и вообще все живое исчезло. Улицы были мертвы. Захваченная земля. Неподалеку, перед финским погранпостом, тоже опустелым, я увидел при свете звезд лежащие на снегу у входа тела. Это были наши бойцы. Мертвые, все мертвые. Часовой рассказал, что они хотели забрать оттуда мотоцикл, радиоприемник и патефон, оставленные финнами. Все оказалось заминированным. Трупы не убрали в предостережение другим.

На рассвете следующего дня мы втроем отправились в расположение отдельного передового батальона 44-й. За пограничной линией мы продвигались медленно и с осторожностью: путь наш, около 33 километров, лежал по вражеской территории, и ехали мы не по нормальной дороге, а по тропе между глыбами

льда и спрессованного снега. Временами мы останавливались и внимательно вглядывались в дорогу, опасаясь мин. Иной раз сквозь тьму леса виднелись скользкие во мраке белые фигуры. Это были финны, которые, конечно, понимали, что наш простой автомобиль им не опасен.

Не раз мы проезжали мимо трупов советских бойцов на дороге, иногда их бывало несколько, сваленных в кучу. Цена продвижения батальона. И никакой возможности ни увезти их, ни похоронить. Так же, как не будет никакой возможности похоронить всех остальных наших погибших в этой короткой, но ужасной войне.

Глаза некоторых мертвецов были широко открыты. Все лежали в тех самых позах, как их застигла смерть. От мороза они совсем окаменели и выглядели, словно фигуры из музея ужасов. Один труп стоял совершенно вертикально в глубоком снегу на обочине, обе руки были протянуты вперед, словно к чему-то тянулись. Другой — полусгорбленный, винтовка к плечу, — словно вот-вот выстрелит. Многие, конечно, лежали лицом вниз. Тела были исчерчены замерзшими струйками крови.

Если не считать мотора нашей машины да шуршания шин по твердому снегу, тишина была полная. Иногда эта мертвая тишина нарушалась вдруг взрывом, одинокими винтовочными выстрелами, изредка слышен был вой артиллерийских снарядов. Со временем мы научились различать среди этих звуков треск льда на невидимом озере или хруст ломающихся под тяжестью снега сучьев, очень похожий на выстрел.

Все было каким-то нереальным. Я думал о заколдованном лесе из детских сказок. Я очень нервничал, но успокоиться и не пытался. Смотрел на Николаева и всдителя. Они были пепельные, мое лицо, видимо, тоже...

Страхи эти прошли, когда мы наткнулись, наконец, на передовой батальон. Все снаряжение было разбросано на снегу по обе стороны от дороги. Земля настолько промерзла, что ни о каких окопах и речи быть не могло. С дороги тоже сойти было невыносимо — снег был слишком глубок. Ни лыж, ни подходящей обуви ни у кого не было.

На командном пункте батальона — тоже посреди дороги — командир сообщил мне, что накануне батальон понес большие потери от финских лыжных отрядов. Серией налетов с обоих флангов лыжники пытались разрезать батальон на части, словно колбасу на куски. Батальон удержался, рассеять его не удалось, но потери были огромны.

Командир сказал, что он получил приказ начать атаку на рассвете. «Но где, где, — спрашивал он, — где эти финны? Кого атаковать? Где укрепления? Где доты?» Финны были везде и нигде. Внезапно открывали автоматный огонь с какого-нибудь дерева, так же внезапно исчезали в лесной чаще. Они все были на лыжах и в белых маскхалатах. Не успевал командир приказать открыть ответный огонь, как их уже не было.

Где дивизия? — спрашивал командир. Кто прикрывает дорогу тылу его батальона? Финны по частям уничтожали батальон, а обещанное подкрепление не подходило.

Настал вечер. Внешнее охранение было удвоено, приказано костров не разводять. За две ночи до того батальон был изрядно потрепан, когда солдаты вздумали погреться и разогреть пищу: финны открыли автоматный огонь с верхушек сосен, легко поражая темные силуэты, выделявшиеся на снегу в свете костров. Люди учли этот опыт, но зато все мы страдали от невыносимого мороза. Однако некоторые даже не вылезали из своих окопчиков, вырытых в снегу, чтобы поменьше выделяться на снежном фоне. Большинство сбилось в кучу, запах портянок и давно не мытых тел

был невыносим даже на морозе. Вот она, прославленная Красная Армия, подумалось мне.

Вот в каких условиях вынуждены воевать славные бойцы ради чьей-то личной карьеры, ради неизвестно чьих политических выгод. Те, кто послал их сюда, плохо обмундированных, без подробных карт, не ознакомив ни с местностью, ни, тем более, с тактикой и способами обороны противника, — просто преступники. И все это — отнюдь не «занятие территории», как говорилось в приказе, и уж вовсе не «подавление финского сопротивления»: финны контролировали практически все дороги, кроме разве что небольшого участка, где находился этот несчастный батальон, и легко появлялись всюду, где хотели, в любое время дня и ночи. В отличие от наших они были полностью свободны в своих действиях. Я сделал из всего этого вывод, что не только за восемнадцать дней, но и за восемьдесят Девятая армия до Оулу не доберется.

На рассвете батальону дали приказ подготовиться к атаке. В ней должны были принять участие все поголовно: командиры, артиллерийские расчеты, снабженцы, политруки, батальонный комиссар, парторги, даже редактор батальонной газеты.

Под критическими взглядами своих политработников командир отдавал распоряжения по подготовке к бою. Мне жаль было офицеров батальона — если атака удастся, то прежде всего заработают и славу, и медали политработники. Они, конечно, носили оружие, но солдатами были никудышными и только по случайности попадали на опасные участки. Если же атака будет отбита, весь позор достанется боевым командирам, да еще политруки распишут подробно, в чем их вина и какие ошибки они совершили. Позже эта система была изменена, но в то время командир не имел почти никакой свободы действий. Фактически все контролировалось политработниками.

«Товарищи командиры и политработники! — сказал командир батальона. — Перед нами вражеские укрепления. Батальон должен пробиться к Суомисалми и закрепиться там до прихода главных сил нашей славной дивизии, которые будут сосредоточены на нашем участке. Первая рота атакует справа, вторая — слева. Артиллерия после артподготовки сосредоточится на поддержке наступления. Но предварительно прочесать огнем лес вдоль дороги...»

Стрельба началась. Били не только по деревьям, откуда раньше стреляли финские снайперы, но по всем верхушкам подряд. Это было бессмысленное уничтожение леса, но командир знал, как, впрочем, и каждый его офицер, что солдаты, находящиеся на открытом пространстве простреливаемой дороги, боятся леса — каждое дерево может таить смерть, на каждой вершине может быть гнездо «кукушки».

Бум, бум, бум — еще и еще — но ни с одного дерева не свалилось ни одного финна. Только после этой «артподготовки» пехота двинулась дальше вдоль дороги.

Шум был невероятный. Передние поливали уже обстрелянные из пушек деревья сериями автоматных очередей, следующие стреляли из винтовок, кидали гранаты в глубь леса, били из минометов куда попало, лишь бы подальше, — во всех направлениях, в каких предполагался явно не существовавший на самом деле противник. Никого не было ни на деревьях, ни в мелколесье.

Ни одного финна не убили, ни одного финна не взяли в плен, ни одного даже не увидели. А нужда в «языке» была самая острая. Но за всю войну, даже после рейдов сибирских лыжников, Девятая так никого и не взяла в плен.

Впрочем, одного все-таки добыли. Он был в финской форме, и по дороге в штаб армии его от радости буквально накачали водкой. Когда же он, наконец, при-

шел в себя и его допросили, оказалось, что он швед, доброволец, и знает Финляндию не лучше нас.

Грохочущее наступление продолжалось все утро. Это, конечно, было не наступление, ибо наступать было не на кого, а просто медленное продвижение к западу с максимальным шумом и максимальной тратой боеприпасов.

Время от времени с какой-нибудь стороны раздавалась одинокая автоматная очередь или на голову сваливалась мина из легкого миномета, неизвестно на каком дереве установленного. Через секунду с какой-нибудь сосны скатывался финн, прямо на лыжах, и, как призрак, исчезал в лесу. К полудню «атака» была остановлена. Солдаты снова стали окапываться вдоль дороги. И все-таки на несколько километров ближе к Суомисалми!

После этого мы с Николаевым и шофером двинулись обратно к штабу дивизии. Батальон связался по радио и одновременно через сигнальщиков со штабом в Раате, но донесение существенно отличалось от того, что я видел своими глазами. Во-первых, мои наблюдения были подробнее, во-вторых, из батальона передавали шифровкой.

Дивизия, в свою очередь, связалась со штабом Девятой армии по телеграфной линии. И на каждом этапе информация ужималась.

Мы слегка нервничали на обратном пути, но никто нас не потревожил, и ни одного финна мы не видели.словно в лавочку на углу за сигаретами сбегали...

В Раате жизнь кипела ключом. Туда были стянуты основные части 44-й, а также приданные ей танковые соединения, множество отдельных артдивизионов и вспомогательных частей.

И все это должно было двинуться по той самой дорожке!

Слишком просто мы, однако, добрались назад, и мне это показалось подозрительным. И наша поездка,

и относительно легкое продвижение передового батальона вызывали ощущение, что финны выжидают, пока двинутся главные силы.

Наутро я передал рапорт в штаб армии и получил приказ оставаться в 44-й дивизии. Нам сообщили, что для выступления главных сил информации недостаточно. Это означало еще одну поездку по той же дороге.

Прежде чем отбыть из штаба дивизии, я прочел специальный приказ, предназначенный только для командиров полков. Подчеркивалось, что необходимо обратить внимание прежде всего на оборону флангов и тыла передвигающихся колонн и что обозы должны двигаться под усиленной охраной. Приказ был разумным, но я не представлял себе, как его можно выполнить. Он был бы хорош в обычных полевых условиях, когда разведгруппы и патрули высылаются вперед и в стороны, а в конце каждой колонны находится усиленный арьергард. Требования приказа выглядели бы нормальными в нормальных условиях, но здесь они были неосуществимы: одна-единственная узкая дорожка на запад — мили и мили все той же тропинки, на которой едва ли разъехались бы два грузовика. Ясно было, что без лыж и прочего спецснаряжения ни разведка, ни патрули с тропы сойти не смогут. Снег был по плечи, а то и глубже. Можно было бы использовать сибирских лыжников, но их всех уже передали корпусу, действовавшему на юге.

Снова мы втроем проделали путь в сторону Суомисалми без каких-либо затруднений. К концу дня мы добрались до КП передового полка. И в этот самый момент ад сорвался с цепи.

Полная тишина вдруг сменилась бесчисленными автоматными очередями с деревьев, воем минометов и грохотом артиллерии среднего радиуса действия, обстреливавшей наши позиции. Картина была непрезентабельная. Многие просто орали, иные бросились бежать, иные были убиты сразу, иные — минуту спу-

стя... Рядом со мной грохнулся огромный украинец, крича, как ребенок. Он был ранен в живот. Кругом — кровь, хаос и агония.

После первого шока наши солдаты пришли в себя и попытались отстреливаться. Каждый стрелял, куда ему вздумается. Результата, конечно, это не принесло никакого, но шума и расхода боеприпасов было вполне достаточно. Никто не знал, куда стрелять. В общем, ситуация вполне соответствовала параграфам учебника. Финны держали под контролем всю округу. Сзади пришло донесение, что финны разрезали колонну пополам и всю заднюю половину просто уничтожили. Это была настоящая мясорубка. Через минуту радио смолкло и сигнальщики больше не появлялись. Стемнело, огонь стал еще интенсивнее, и потери наши дошли до того, что медицинский персонал не успевал обслуживать даже самых тяжелораненных.

Мертвых, конечно, оставляли на месте. (После войны специальный отряд, посланный на поиски трупов, собрал и похоронил около 60 тысяч красноармейцев. Трупы были полуразложившиеся, многие из них долгими неделями лежали в весенних лужах.) Ситуация становилась все более критической.

К счастью, после наступления темноты огонь финнов продолжался недолго, и вскоре только одиночные выстрелы еще напоминали о нем.

В 10 часов я получил радиogramму из штаба армии. Нам приказывали вернуться в Девятую, в Ухти. Николаев заартачился и заявил, что хочет остаться с полком и отличиться в бою.

Танк Т-34 и два бронетранспортера с пехотой должны были сопровождать нас в Раате.

Когда настало время отправляться, Николаева нигде не могли найти. Он, видимо, слишком испугался, раз даже приказу не подчинился. Я, разумеется, нервничал, и не только из-за него. Через час после получения приказа я уехал. Танк шел впереди, за ним

— бронетранспортеры с солдатами. Я сидел в башне танка около пулемета.

Как только мы двинулись, тонкий месяц поднялся на востоке над лесом. Поэтому мы легко различали все предметы метров на сто вокруг.

Раскиданные по дороге трупы и сожженные машины второго эшелона основательно затрудняли наше продвижение. Половину тридцатитрехкилометрового пути до Раате мы проделали спокойно. Но вдруг водитель крикнул, что на дороге как будто бы мины или что-то подобное. На снегу достаточно ясно выделялись шесть бугорков. Когда я дал по ним очередь, они взорвались один за другим. С первыми же моими выстрелами несколько финнов в маскхалатах скользнули с обочины дороги в лесную чащу. Я дал очередь вслед, но это было уже бесполезно. Мы двинулись дальше. Танк прошел минное поле без приключений, но бронетранспортер, следовавший непосредственно за нами, точно по нашей колее, напоролся на нерасстрелянную мину. Под грохот, скрежет и крики его обломки и тела людей разлетелись в стороны. Я вылез из танка и помог погрузить раненых и мертвых на второй бронетранспортер.

Несколькими милями дальше мы встретили другой полк, расположившийся на ночлег. Я оставил бронетранспортер вместе с солдатами и в танке, уже без сопровождения, добрался до Раате. Оттуда штабная машина отвезла меня в Ухти, и я подробно доложил обо всем, что произошло с 44-й.

Двумя неделями позже, в начале января 1940 года, я сопровождал начальника личного состава в расположение корпуса на севере от нас (корпуса, в который входили 44-я и 163-я дивизии).

КП корпуса находился на восточном берегу озера Кьянта, севернее Суомисалми. Было необходимо, чтобы корпус начал операцию в поддержку 44-й.

Но на КП мы так и не прибыли. Когда мы приблизились к расположению КП, оказалось, что он брошен, а корпус отходит от озера к востоку и северу. 163-я — тоже, но тут уже пахло скорее разгромом, чем отходом. Я очень удивился, что начальник лично-го состава не был об этом осведомлен.

Мы тоже отступили с корпусом.

Наконец, мы обнаружили штаб корпуса и присоединились к нему на дороге вдоль озера, по которой отступала 163-я после неудачной попытки взять Суомисалми. Никогда не думал, что отступление может быть таким беспорядочным. Лошади, люди, пушки — все бежало, катилось, ехало во всех направлениях, какие были возможны, лишь бы перебраться обратно через границу. Еще хуже было то, что финская авиация налетала на бежавшие войска и расстреливала их на дорогах и на льду озера. Множество людей и машин ушли под лед, искрошенный бомбами.

Во время этого перехода я впервые лично встретился с Мехлисом. Он при штабе корпуса, видимо, искал боевой славы, словно был рядовым комиссаром. А ведь он был действительным хозяином армии, и он один мог бы добыть вооружение и снаряжение, в которых так нуждались войска. Его место было в Ухти, там и только там он мог бы сделать что-нибудь для спасения армии.

Во время отступления Мехлис расспрашивал меня о 44-й. Я довольно резко рассказал ему все, что видел: и о солдатах, которые совершенно не подготовлены к такой войне, и о том, что ни одна карта никуда не годится, что разведанные неверны и что лыжные войска должны находиться там, где они действительно нужны, и тогда, когда в них есть необходимость.

Мехлис с трудом вынес резкости, но выслушал меня до конца. Я же относился к нему как к личности с большим уважением. Он был типичным интеллигентным евреем, с высоким лбом и большими умными

глазами, изысканными манерами и очень негромким, но выразительным голосом.

До самой границы корпус и дивизия прошли без значительных потерь, хотя вся корпусная артиллерия и половина личного состава 163-й, а также все снаряжение и боеприпасы погибли.

Через четыре дня после этого отступления и через два дня после возвращения в Ухти мы получили известие о том, что 44-я уничтожена полностью, или — как гласил официальный рапорт — «более 700 человек, преодолев все трудности», вернулись в Раате.

Мехлис назначил комиссию для расследования этого дела. Это была его армия, и он, в сущности, целиком потерял один из двух корпусов.

Естественно, что после моего рассказа я был назначен руководить этой комиссией. В нее входили еще два человека — начальник контрразведки, в армии игравший роль энкаведешника, и один из комиссаров, подчиненных Мехлиса. Предполагалось, что у меня, как у слушателя Академии, достаточно специальных военных знаний для того, чтобы разобраться в событиях, а двое других придавали комиссии необходимый вес.

Мы прибыли в штаб северного корпуса, потом в штаб 163-й дивизии, и в конце концов в Раате, чтобы опросить тех, кто уцелел из 44-й.

После сбора свидетельств в трех соединениях мы составили рапорт. Основными причинами разгрома мы сочли: плохую связь со 163-й на правом фланге, плохое общее руководство армейского штаба, слишком малое количество автоматического оружия, недостаточную поддержку наступления лыжными войсками. В качестве прочих причин мы отметили недостаточность сведений о местности и о технике врага, неверные карты, слабую подготовку солдат к ведению боевых действий в местных условиях. Разумеется, все было расследовано и изучено до мельчайших деталей.

Мехлис передал наш рапорт в военный трибунал вместе с приказом строго расследовать действия Виноградова и Гусева, которые вскоре исчезли.

Вот и все выводы из нашего отчета — двух человек расстрелять по обвинению в измене. Больше ничего не изменилось.

На следующий день я как руководитель комиссии должен был присутствовать при расстреле. Генерала и комиссара вывели в сквер напротив контрразведки и расстреляли.

При казни присутствовали также все 700 человек, оставшиеся от 44 дивизии. Среди этих выживших был и мой комиссар Николаев. Он остался инвалидом, психически неполноценным человеком: то кричал что-то, то бормотал, то принимался стрелять в кого попало... Вскоре его отправили в сумасшедший дом.

Он был одним из множества комиссаров, которые уцелели и вернулись в Раате (почему-то среди 700 вернувшихся из целой дивизии уцелели почти все комиссары). В нашем рапорте были сведения о том, как эти типы избавлялись от формы, чтобы их не отличили от солдат, — больше всего они боялись плена и, как звери, в отчаянном страхе бежали через лес по глубокому снегу. А рядовые солдаты сражались до последнего, сооружая баррикады из трупов погибших товарищей. Этот рапорт не только оказался решающим для моей карьеры, но, вероятно, и спас мне жизнь. Мехлис посоветовал мне переписать его в двух экземплярах и оба отдать ему.

Через неделю после расстрела Виноградова и Гусева мне пришел приказ явиться к Мехлису. Я вошел и увидел его в бешенстве, он едва сдерживался.

«Вы идиот! — проскрипел он мне, — Я должен вас отдать под трибунал, я должен вас расстрелять! Как вы допустили, что копия рапорта попала в руки НКВД? Теперь она, должно быть, уже в Москве у Бери!»

Ай-яй-яй! Я, простой татарин, «временный майор», замешался в такую компанию! Я был просто потрясен! Не думал я, против кого окажусь свидетелем! И, тем более, не мог предположить, каким оружием против Мехлиса мог оказаться этот рапорт в руках НКВД и каковы могут быть последствия!

В это время в кабинет вошли оба командующих корпусами и Чуйков. Генерал армии спокойно смотрел, как я что-то бормочу в ответ Мехлису. Потом вдруг сказал: «Я думаю, Ахмедов написал все, как было. И НКВД вмешался в расследование. Так что ему хуже не будет, сделай он хоть сто экземпляров...»

Может быть, Мехлис подумал, что ему следовало бы быть тогда в Ухти, а не в отступавшем полку: может быть он, как мне казалось, был порядочным человеком. Не знаю почему, но после слов Чуйкова он успокоился. В конце концов он сказал, что все понял, и даже извинился за то, что наорал на меня.

Через несколько дней в письме мне прислали вырезку из газеты. Там было сказано, что я — среди множества других — награжден за храбрость в боях на финском фронте. Это, безусловно, было делом рук Мехлиса.

После этого у меня оказался месяц для того, чтобы привести в порядок карты и доделать все другие дела. Работа была не слишком напряженной после того, как в северном секторе уничтожили 44-ю дивизию, разгромили 163-ю и потеряли корпусную артиллерию. Не было сложностей и с южным корпусом и его лыжниками. В этом секторе продвинуться не удалось, но зато и не отступали.

Лафа кончилась в начале марта. Мехлис опять вызвал меня в кабинет. Он решил посетить 54-ю дивизию — может быть, в надежде получить еще одну медаль, — и я должен был его сопровождать. 8 марта на его самолете мы прибыли в расположение 54-й дивизии. На КП собралось чуть ли не с полсотни старших

и высших офицеров. Почти все — из штаба армии. Я среди них — самый младший.

В ночь на 12 марта я был в комнате телеграфиста, следил за приходящими и уходящими сообщениями. В час ночи раздался звонок срочного сообщения. Я прочел на ленте, что заключено перемирие, которое должно вступить в силу в полдень 13 марта. Сообщение предварялось указанием, что оно секретное и, кроме штабных офицеров, никто о нем знать не должен. Сообщение заканчивалось тревожными словами: «до полудня 13-го израсходовать все боеприпасы до последнего патрона».

Моей первой реакцией, с тех пор как я оказался вмешанным в дела Мехлиса, было удивление: что нужно ему в 54-й в такое время? Немыслимо, чтобы человек его ранга не был в курсе дела и не оказался в своем собственном штабе в то время, когда подписывали соглашение.

Ответ на свое недоумение я получил довольно скоро. На следующее утро он со своим самолетом вернулся в Ухти, и в ближайшие дни, не успел я еще добраться до Девятой, как Мехлиса уже там не было, он улетел в Москву.

Утром последнего дня войны я пришел на полковой КП. Командир полка Ибрагимов был тоже татарин. Поскольку он не был штабным офицером, он даже и не представлял себе, что до конца войны осталось каких-нибудь два-три часа.

Когда я пришел, его полк как раз подвергся интенсивному обстрелу... К счастью, это были финны — все же легче, чем свои, которые должны были «израсходовать все боеприпасы до последнего патрона». Перед самым полуднем финны разнесли наш передний край. За пять минут до полудня они уже были в считанных метрах от КП.

И в этот самый момент КП попал под прямой огонь. Ибрагимову пуля угодила в голову. Я держал

его на руках и, прежде чем он умер, успел сказать ему, что до конца войны осталось несколько секунд... Ровно в полдень всем частям было приказано прекратить огонь, приказ был дублирован по радио. И русские, и финны побросали оружие на землю. Все обнимались.

Война окончилась. Только позднее мы узнали, во что она обошлась: 60 тысяч убитых, 200 тысяч раненых, из которых около 10 тысяч остались без рук или без ног в результате обморожения. Да еще потеря уважения большей части цивилизованного мира...

Огромная страна, напавшая на маленький народ, на один из самых бедных к тому же... Выиграли же мы совсем немного — город Випури (Выборг), какие-то укрепления, несколько тысяч кв. километров леса, озер и болот — вот и все, что досталось «победителям».

Я вернулся в Москву доучиваться в Академии, но ненадолго: это был период, когда Сталин обратил свой взор на другие малые страны, имевшие с СССР общую границу, надеясь отхватить кое-какие территории, поскольку Германия и остальной Запад были заняты уже начавшейся Второй мировой войной. Прежде всего он почтил своим вниманием Румынию, потребовав, чтобы она уступила ему Северную Буковину и Бессарабию. Исторически он получил ту же часть Бессарабии, которую Россия аннексировала в начале XIX века в войне с Оттоманской империей, но на северную Буковину он и таких «прав» не имел.

В середине июня, когда давление на Бухарест достигло апогея, Академия опять закрылась. Опять слушателей и преподавателей погрузили в спецшелоны. Назначение — Каменец-Подольский, на юго-западе Украины, около румынской границы. Я не собираюсь осмеивать Румынию, но случилось так, что моя краткая роль, мое мимолетное участие в делах этой страны были опереточными по сравнению с тем, что пришлось пережить на финском фронте.

26 июня 1940 г. я поступил в распоряжение верховного командования в Каменец-Подольском. Тут я получил «совершенно секретный» приказ о наступлении в случае, если бы Румыния отвергла советский ультиматум. Приказ был адресован лично командующему 12-й армией.

В мое распоряжение был предоставлен пилот с двухместным открытым самолетиком. Мы полетели в Коломыю — еще недавно польский городок на берегу Прута, на севере Буковины. Отправились мы по хорошей погоде, но по мере приближения к Коломые предгорья Карпат все больше затягивались низкими тучами, в которые нам неминуемо пришлось углубиться. Мы кружили в туче, пытаясь что-либо разглядеть. Эти блуждания продолжались несколько часов. Мы так ничего и не разглядели, но наконец туман поредел.

Пилот казался бесстрастным, но я заметил на карте несколько очень симпатичных вершин и благословлял судьбу, что мы до сих пор на них еще не нарвались. В конце концов, когда горючего осталось ровно на то, чтобы кое-как вернуться в Каменец-Подольский, пилот шутливо заметил, что я могу воспользоваться своим парашютом. Я об этом уже подумывал — не потому, что мне так уж хотелось прыгать, но просто в силу моей офицерской исполнительности. Так или иначе, моя карта показывала, что мы находимся либо над Буковиной, либо над восточной границей Словакии. Мне, однако, совсем не улыбалось испытывать судьбу: в Румынии я попал бы в плен, а в Словакии меня бы интернировали. С таким приказом в кармане и то, и другое было бы весьма некстати.

В конце концов я вернулся в Каменец-Подольский и взял штабную машину. Вскоре после полуночи 27 июня, проехав некоторое расстояние на север вдоль границы, я услышал по радио, что моя миссия окончена: румыны подчинились советским требованиям.

Через несколько дней после этой капитуляции я видел, как наши войска «освобождали» Буковину. По радио шумели об этом немало. Говорили о «великой радости освобожденного народа», о том, как этот народ встречал своих освободителей... А видел я перепуганных и прячущихся людей и наших солдат, вытаскивающих добро и продукты из лавчонок. Буковина, как и Бессарабия, были, наконец, «освобождены», и мы снова заняли свои места в аудиториях Академии. Я радовался этому. Я понял, чего стоит и чем пахнет война и штабная работа.

Чтобы получить диплом, надо было написать дипломную работу и сдать госэкзамены. Большая часть слушателей выбрала наиболее легкий способ — они писали на тему «Деятельность Сталина в гражданской войне» и конечно, легко получили свои дипломы. Я же предпочел «Морские сражения Первой мировой войны» — эта работа пахла совсем уж не синекурой, но диплом я все-таки тоже получил.

Мне приходилось внимательно следить за тем, чтобы на устных экзаменах все освещать с точки зрения «линии партии», верней, с той точки зрения, которую эта «линия» в данный момент пересекала.

На экзамене присутствовали начальник генштаба и другие представители высшего командования. Замполит Академии сказал какую-то речь об электрификации, поскольку в тот день исполнилось сколько-то лет высказыванию Ленина на тему кооперации и электрификации, которые в сумме и образуют социализм.

Меня вызвали выступить в порядке прений. «Товарищ Ахмедов, ваша специальность как раз электротехника, пожалуйста, выскажитесь». В течение пяти минут я «высказывался». И о том, что электрооборудование в нашей армии становится все более совершенным и сложным, и о том, что ведутся исследования в области магнетронов (из которых, кстати, могли бы

развиться радары), и о военном применении телевидения, о возможной роли атома в будущей войне, о возможности воевать путем простого нажатия кнопки, и т. д., и т. п.... И все это связывал с коллективизацией, что в сумме, как известно, давало социализм. Закончил я восклицанием «Да здравствует Ленин». Генерал крикнул «браво», все захлопали.

В результате я получил — единственный на курсе — сразу звание инженер-майора и диплом с отличием. Это было в августе 1940 года.

АХМЕДОВ Измаил Гуссейнович (Эге) — родился в 1904 году в г. Орске, Оренбургской губернии. Окончил Военную электротехническую Академию в Ленинграде и Академию Генерального штаба в Москве. В звании инженера-подполковника работал в НИИ связи Наркомата Обороны СССР, а затем в Генеральном штабе Советской армии. В 1942 году, находясь в заграничной командировке, порвал со сталинским режимом. С 1953 года живет и работает в США.

BULLETIN D'INFORMATION - NEWS BRIEF

BIMENSUEL - BIMONTHLY

Editor: Cronid Lubarsky

С ноября 1978 г. «Тетради Самиздата» издают «Информационный бюллетень» (2 выпуска в месяц).

Если целью «Тетрадей» является ознакомление читателей с наиболее важными статьями, заявлениями и др. материалами, распространяемыми в Самиздате участниками демократического (правозащитного) движения в СССР, то «Бюллетень» имеет целью оперативно сообщать свежую информацию о событиях, связанных с этим движением: об образовании и деятельности общественных групп, демонстрациях протеста, арестах и насильственных психиатрических госпитализациях, положении узников совести и других фактах, имеющих отношение к правозащитному движению в широком смысле слова (включая национальные движения, защиту прав верующих и т. п.).

«Бюллетень» выходит под редакцией д-ра Кронида Любарского, бывшего политзаключенного, до своей эмиграции — распорядителя Русского общественного фонда помощи политзаключенным и члена Московской группы «Международной амнистии».

Информация, публикуемая в «Бюллетене», поступает из многих источников, в том числе независимых. Сбор ее происходит на основе так наз. «Информационного пула», участники которого (видные диссиденты, общественные организации и т. п.) на кооперативных началах обмениваются поступающей к ним из СССР информацией.

Сейчас «Бюллетень» издается только по-русски, но планируется его перевод на основные европейские языки.

Начало издания его стало возможным благодаря материальной поддержке русской колонии в Брюсселе.

С 1 января 1979 г. «Информационный бюллетень» открыт для подписки.

Условия подписки

Подписная плата на год (24 номера):

В Европе: 750 бельг. фр. (110 фр. фр., 50 н. м.).

Вне Европы (США, Канада, Африка): авиапочтой 900 бельг. фр. (30 долл. США).

Подписка производится через издателя «Тетрадей Самиздата» (Брюссель).

Деньги направлять на почтовое konto «Тетрадей Самиздата» в Брюсселе или почтовым переводом с пометкой «Бюллетень» — *Compte chèques postaux (CCP) N° 000-0971885-42 (Bruxelles)*.

Во Франции подписка производится только таким образом (не банковскими чеками). При присылке чеков из других стран просьба добавлять 100 бельг. фр. (3,5 долл. США) на покрытие банковских расходов.

Published by: CAHIERS DU SAMIZDAT asbl

Editeur responsable: Anthony de Meeûs, 105 drève du Duc, 1170 - Bruxelles

талантов, подаренных избранным словно специально для того, чтобы в них жила душа России.

Она и сейчас русская певица. И будет ею до конца. Как были до конца русскими художниками Шаляпин и Рахманинов, Стравинский и Бунин.

...У нее очень сильный и твердый характер. Я бы сказала — одержимый характер. И эта одержимость позволяла и позволяет ей делать то, что не под силу иным.

Но дело, конечно, не в характере. Она истинно талантлива. Талантлива по-особому. Ее талант — это ее талан, ее судьба. А ведь именно таков полузабытый генезис древнего русского слова талант. Ее талан — это ее счастье и ее вечный крест. Никогда и ни за что — пока жива, пока дышит — не выпустит она этой своей тяжелой ноши из рук. И никогда и ни за что не отречется она от своей веры, от своего Призвания. Этому Призванию свято служит она всей своей жизнью, своей красотой, своим талантом. И счастлива. Невзирая на тяжкие сомнения, что вечно терзают ее ищущую душу. Невзирая на то одиночество, что четверть века глухой стеной отделяло ее — вознесшуюся — от иных, тех, что были, казалось, рядом, а на деле и макушкой высокого театрального парика не касались подошв ее легких туфель. Невзирая на остро жалящую ненависть, что всегда скользкой, незримой змеей свивает себе гнездо у ног всякого, кто выше.

Да, у нее сильный, одержимый характер. И он ей очень нужен. Для того, чтобы пронести — не расплескав, не исказив, не замутнив — то, чем Он — мудрый и всевидящий — наделил ее. Она понимает свою Миссию в жизни, она знает, что самый большой грех — не выполнить той задачи, что Он возложил на нее. А для этого ей нужен ее характер — сильный и одержимый. Характер этот рождает много баек и глупых пересудов. Но судачат-то те, кому не дано в жизни

свершить великого. Ее характер не оставляет безучастным никого, кто соприкасается, встречается с ней, и либо притягивает — тех, кто также одарен и знает, как тяжок этот крест, либо навсегда отталкивает. Главным образом тех, кто видит в ее жизни лишь внешнюю ее сторону — успех, цветы, овации...

Талант и характер... Но без этого характера не вознеслась бы быстроглазая девчонка из прокопченного дымом Кронштадта начала тридцатых к заоблачным вершинам мирового искусства.

...Галине Вишневской выпала трудная судьба. Собрав в себе уникальное — блистательный голос и великолепный актерский дар — она еще и умеет мыслить, умеет осознанно использовать свой талант. Оттого и трудная судьба. Она ведь у каждого в русском искусстве — испокон веку. У тех, кто шел сам, своим путем, а не глотал пыль, что поднимают толпы впереди идущих на исхоженных дорогах искусства.

Четверть века русского оперного искусства связано с именем Вишневской. Нет, не связано. Четверть века жизни русской оперы о б я з а н о Галине Вишневской своим развитием, своим и н ы м путем.

Вишневская пришла в Большой театр СССР в 1952 году. В роскошный, монументальный, торжественный театр без полутеней, без недоговоренностей. Все было четко, ярко, лапидарно. Театр являл собой музей. Музей прекрасных, истинно прекрасных голосов. Музей великолепных, истинно великолепных русских опер. Эти прекрасные голоса и этот великолепный театр существовали ради прославления вечно мудрого народа, некогда угнетенного и забитого, но воплотившего в конце концов в явь свою вековую мечту о новой, свободной и счастливой России. Еще со времен незадачливого князя Игоря народу была очевидна цель — то «светлое будущее», что стало сегодня настоящим. Из далеких кровавых веков героини опер — будь то подданные Ивана Грозного, Бориса Годунова

или Петра Первого — с откровенным восхищением приветствовали в финалах спектаклей зрительный зал, заполненный вершителями и жертвами новой кровавой истории России. Смысл каждого спектакля подгонялся под эту идею — невзирая на подчас и явно слышимый «хруст костей» в хрупком организме оперы.

Непосредственными предшественницами Галины Вишневской в Большом театре были такие певицы — хорошие певицы, — как Наталия Шпиллер, Елизавета Шумская, Ксения Держинская, Татьяна Талахадзе... Их героини были не по возрасту взрослые, сознательны и не по возрасту сосредоточены на идее высокого своего предназначения. Их героини были далеки от психологического самоанализа своих действий. Но, собственно, рано еще было ждать от них этого самоанализа. Он не пришел еще в 40-х и в начале 50-х годов — в официальное советское искусство. А Большой театр истинно олицетворял это официальное искусство, проникнутое идеологией авторитарной силы и веры.

На конкурсном прослушивании Галина Вишневская спела арию Аиды — с оркестром под управлением Кирилла Кондрашина (не знак ли это был?). Спела — и озадачила тех, кто слушал ее. Никандр Сергеевич Ханаев, Николай Семенович Голованов, Борис Александрович Покровский... Они — судьи — почувствовали в молодой певице то, чего так не хватало в удушливых пределах «императорского театра», — ее особый талант, который дается, может быть, раз в столетия, вероятно, специально для того, чтобы взломать окосневшую рутину, которую в советском искусстве привычно называть «традициями». В тот день решила судьба Гали Вишневской, но путь русской оперы. С того дня начинается новая эпоха Большого театра, когда понятие т е а т р постепенно обретает здесь свое истинное значение. Только прекрасного пения уже недостаточно.

...Опере трудно в XX веке. Самое тонко-психологическое искусство музыки и пения не выдерживает конкуренции с кино, телевидением, даже с драматической сценой. Парадокс? Да нет. Иные средства выразительности, иные пути создания образов — более ясные и очевидные, более простые и доступные. А в опере — сложная символика музыкальной речи. Опера требует активного сотворчества каждого слушателя. Но слушатель в XX веке уже привык быть зрителем. Ему все труднее поверить страданиям шестипудовой пушкинской Татьяны, явно с негодными средствами притязавшей на любовь малорослого Онегина. Зрителю даже трудно понять смысл и ощутить всю прелесть пленительных мелодий, великолепно спетых героиней, которая страшится сделать лишний шаг на сцене. Зритель хочет не только слышать, но видеть то, что адекватно слышимому.

Судьба судила Галине Вишневской начать новое в советском оперном театре. Точнее, не совсем новое, так как было оно предсказано за столетия до того великим Шаляпиным, который чудесно соединил в себе равновеликие дары — актера и певца. И который (вновь, не знак ли это?) принужден был испытать долю изгнанника.

* * *

Нет, бесспорно, есть своя логика — страшная логика — в этой связи судеб реформаторов Российского искусства.

Истинно, у Российского искусства особая судьба. Странная и будто алогичная. И кровавая. Никогда не щадила Россия своих самых талантливых детей. Страшной метой метила она их. Дыба и застенки, нищета и сводящее с ума одиночество — духовное, нравственное, моральное... И что истинно дивно, истинно не-

объяснимо: чем страшнее и мучительнее была та мета, которой «награждала» Россия своих лучших детей, — тем большей любовью, тем большей привязанностью к своей земле отвечали эти дети. И болью. Бездонной и неотступной болью за судьбу — не за свою горькую судьбу, но за странную и трудную судьбу своей матери-России.

А наш век принес и еще одну мету для русского художника, артиста. Изгнание. Вынужденное, которое принято почему-то называть добровольным, или насильственным. Изгнание из России — это когда душа и тело словно бы врозь. Душа там, в душе — вся боль и мука этой страны; ее судьба — твоя судьба, ее беда — твоя беда... И все, что есть в тебе, все то необъяснимое, что вознесло тебя над иными, — только для нее, для России, для ее блага, для ее славы. Той славы, что достойна Россия и что умаляют те, кто недостойн ее.

* * *

Четверть века, что пела Галина Вишневская на сцене Большого театра, изменили героинь опер. Нет, это неверно, что, созданные однажды, герои затем не меняются. На то и великое искусство театра, чудесное искусство интерпретации. Известно, чем сильнее, чем ярче личность артиста, тем индивидуальнее его герои. Так и у Вишневской. Ее героини чудесным образом помолодели. И обрели все те качества, что и свойственны молодости, — мятежность, смелость, силу, пылкость, яркость, глубину и емкость чувств, счастливое ощущение своей избранности, исключительности... На сцене Большого театра начали новую трудную и беспокойную жизнь, начали борьбу за себя, за свое человеческое достоинство Татьяна и Лиза в операх Чайковского, Марфа в «Царской невесте» Римского-

Корсакова, Франческа в рахманиновской «Франческа да Римини», пуччиниевская Тоска, Виолетта из вердиевской «Травиаты», Наташа из «Войны и мира» Прокофьева, Софья из его же «Семена Котко»... Труднее, напряженнее стал путь этих героинь, сложный мир чувств несли они в себе — подчас запутанный, неоднозначный. Следить за развитием личности этих героинь, за их эволюцией было не по-оперному интересно. Словно взломалась, казалось бы, несокрушимая стена между оперой и ее весьма далекими в те времена «родственниками» — драматическим театром, кино и телевидением 50-х и 60-х годов.

* * *

Однако это все Вишневская — актриса. И разговор о ней вначале потому, что это редко, а может быть — уникально. Актриса в певице. Актриса и певица. Актриса особого рода. Главное ее оружие — голос. Чтобы выразить, чтобы создавать им, голосом, образ. Но каким же должен быть голос, которым можно создавать образы? Голос у Галины Вишневской — чистый, свежий, «серебристый». И это «серебро» дает удивительное ощущение молодости и легкости. Это «серебро», однако, никогда не позволяло Галине создавать образы старух, матрон. Это не ее амплуа. И, напротив, «серебро» разрешало ей, лирико-драматическому сопрано, спеть колоратурную партию Марфы в «Царской невесте». И как спеть! Вот где истинно актриса помогла певице. Актерское амплуа Галины Вишневской точно отвечало образу.

Но серебристость голоса певицы отнюдь не мешает насыщенности его тембра. В Италии подобный голос именуют *ligico spinto*, то есть трепетный, пылкий. А это означает сочность, искристость, эластичность звука, обилие тембровых контрастов, патетическую

страстность пения. То есть Вишневская — прекрасная исполнительница вердиевских, пуччиниевских партий (вспомним о ее Тоске, Аиде, Виолетте в «Травиате», наконец, о великолепно спетой два года назад в Англии на Эдинбургском фестивале труднейшей заглавной партии в вердиевском «Макбете»). Но в голосе Вишневской есть и особая полетность и лучезарность, насыщенность и интенсивность звука. А это уже качества исполнительницы вагнеровского репертуара. К сожалению, на русской сцене сегодня Вагнер не в чести. И, прежде всего, из-за отсутствия певцов, наделенных мощными голосами и способных выдерживать многочасовые сложные партии. Вишневской почти не довелось петь вагнеровский репертуар. А жаль. Это потеря. Но «вагнеровские качества» ее голоса позволяют ей добиваться особого эффекта в операх русских композиторов.

То есть опять разговор об удивительном и редком синтезе. О «стилистическом комплексе», соединяющем русский и итальянский вокальные стили, да еще и добавляющем вагнеровскую манеру пения.

Но не много ли? Великолепный комплекс исполнительских манер и стилей. Редчайшее сочетание блистательных вокальных данных и незаурядного актерского дарования. Счастливая сценическая внешность... Одно из этих качеств хватило бы иному для полноты жизнеощущений.

Но у Вишневской ко всему этому еще и работоспособность — одержимая работоспособность, которой природа почему-то чаще наделяет менее одаренных, нежели истинно талантливых. Но уж если вот такая одержимая работоспособность заложена в человека талантливого — значит, ему особое назначение в жизни.



«Путь артиста тяжел, а «легкие лавры» — это только со стороны может так показаться. Артисты — это прежде всего труженики. Наша профессия требует полной отдачи, вся жизнь должна быть ей подчинена. Но для меня другого пути и не существует. Только это, больше ничего». Это слова Вишневской. Сказаны они давно, около десяти лет тому назад. Но смысл их не изменился. Он таков же ныне. И главное — в них абсолютная истинность. Вишневской вообще чужда поза, дидактика, неискренность. Она не спешит соглашаться, если мыслит иначе. И может подчас разрушить легкий тон светского разговора своим совершенно иным мнением. Подчас оно и огораживает; те, кто не знает ее лично, психологически подготовлены к встрече с красивой оперной дивой, скорее всего, не очень умной и, вероятно, капризной. Но встречаются с личностью, имеющей свои твердые, выношенные убеждения. Они проверены годами труда и большого опыта. И Галина не видит необходимости светски-равнодушно соглашаться с собеседниками, особенно если разговор идет о музыке, театре, пении. Но она и не будет спорить, доказывать. Она говорит убежденно и, вероятно, внутренне удивляется наличию иных мнений.

Когда Вишневская говорит о необходимости тяжелого труда в ее профессии — можно быть уверенным в истинности этих слов. Во всяком случае — для Галины. В Большом театре она поначалу удивляла своих коллег, потом поражала. А затем и раздражала, злила своей истовой работой, традиции которой давно уже утрачены в этом коллективе.

На другой день после тяжелого спектакля, с утра она непременно на концертмейстерском уроке в театре. Уже подготовленная, распетая. День ее начинается очень рано, и не с чашки кофе, а с вокализов. Голос

должен работать все время, голос не должен «остывать»! На концертмейстерском уроке Галина не просто требовательна к себе, но беспощадна. И не однажды конфликт с концертмейстером — почему не остановила на неточно спетой ноте, пассаже?! А концертмейстер в растерянности: попробуй останови иную примадонну и укажи ей на нечисто спетую фразу! Неприятностей не оберешься!

А Вишневская иная. Ей до всего нужно дойти самой, все понять и сделать по-своему. Но понять — значить узнать, прочитать... Каждую свою роль, каждую премьеру Вишневская готовит по-особому: книги, журналы, литературные первоисточники, музыкальный «фон» оперы, работы коллег... И на первую же репетицию Галя приходит уже со своим, готовым для нее образом, который затем очень неохотно, в спорах, подчиняет режиссерской идее. Или подчиняет своему образу режиссерскую мысль. Вот здесь она спорит, отстаивает свою позицию. Спорит горячо, страстно, подчас до ссоры... А ее безучастные и равнодушные ко всему на свете коллеги, по режиссерским указаниям покорно меряющие сцену шагами, злорадно судачат о ее характере. А потом бегают на спектакли Галины и потихоньку ахают в кулисах, поражаясь ее мастерству, блеску и совершенству. И не понимают, откуда этот блеск, как умудряется Вишневская сместить акценты в спектакле и приковать все внимание — и зала, и коллег — к себе, к своей героине. И не понимают, почему режиссер или дирижер, только что до хрипоты, не выбирая выражений, споривший с Вишневской на репетиции, вновь просит в режиссерском управлении назначить на следующий спектакль именно ее.



Эта роль — особая для нее. Хотя пела она ее не на сцене Большого. Когда опера эта была поставлена в Большом (точнее — в его филиале), Галя была ребенком и менее всего интересовалась теми драматическими событиями, что сопровождали рождение гениальной, по сей день непревзойденной оперы Шостаковича. Непревзойденной в советском искусстве и, на мой взгляд, в мировом тоже. Январская, 1936 года статья «Правды» «Сумбур вместо музыки» более чем на четверть века прервала жизнь этой оперы, остановила развитие русского оперного искусства. И лишь когда две последние цифры в ряду годов, отсчитывающих летосчисление от Рождества Христова, поменялись местами — в январе 1963 года, новое поколение слушателей России встретилось вновь с героями Лескова и Шостаковича. Опера зазвучала на сцене, чуть позже была снята в кино.

...О «Катерине Измайловой» Шостаковича разговор надо бы вести особый. Долгий, обстоятельный и трудный. Не только судьба этой партитуры необычна, но и сам ее жанр, сам ее характер иной, непривычный. Множество вопросов рождает она. Почему обратился Шостакович к драматической повести Лескова именно в начале 30-х годов, когда гремели уже над Россией заглушавшие стоны и плач марши и бодрые песни братьев Покрасс? Почему публицистическую повесть Лескова Шостакович превратил в философскую трагедию шекспировского размаха и глубины? Почему именно крестьянская, сельская тема притянула к себе Шостаковича тогда, в 1932 году, когда страна завершала коллективизацию, «успехи» которой — страшные, опухшие от голода крестьяне — достигли и городских улиц? Как связалась — и связалась ли — в сознании (а может быть — в подсознании) композитора трагедия русского крестьянства 20-х и 30-х годов

XX века с духовной трагедией русского села середины XIX века? И почему изменил — усилил, укрупнил, углубил и расширил — главный образ лесковской повести, Катерину?

В фильме пела и играла роль Катерины Галина Вишневская. Нет, не похоть и самодурство вели ее героиню, не мелкой интрижки искала ее душа. Эта Катерина была натурой незаурядной, которой не с руки, не под стать ловчить, хитрить, обманывать или лгать. Такая сила и страсть, такая глухая тоска гляделась из ее глаз, читалась в каждом ее движении... «Ах, тоска какая... Хоть вешайся!» — едва открывался занавес, сообщала Катерина. И сразу оживал недюжинный характер. Вишневская каким-то особым, густым звуком пела низкие ноты в слове «вешайся», резко, зло обрывала последний звук фразы, словно злилась сама на себя за то, что высказала то, что на душе. С первых же фраз эта Катерина — личность. И эта личность — в конфликте с окружающим, с обществом. Этот конфликт навязан ей обществом, которое не принимает, не понимает ничего и никого, превышающего те убогие пределы, которыми ограничено оно само, это общество. Значит, конфликт Катерины и клана Измайловых неизбежен. Катерина с первых же звуков дает понять, что она понимает неизбежность столкновения, готова к нему и будет отстаивать свое право на себя — такую, какая она есть, — до конца. Каждая следующая сцена — развитие этого страшного, со смертельным исходом, поединка. Катерина Вишневской знает, понимает всю безысходность своего положения. Но единственное и главное, что ей доступно сейчас, — это бескомпромиссность. Во всем — в чувстве к Сергею, в ненависти к Борису Тимофеевичу, в неприятии того гнусного и мрачного мира, что окружает ее.

Да, Вишневская, вслед за Шостаковичем, укрупняет этот образ, выводит его из сферы лирико-бытовой

драмы на просторы социальной трагедии. Личность и общество, несовместимость личности и общества — не л и ч н о с т е й, трагедия насилия общества — нет, шайки неличностей — над личностью... Вишневская доводит до логической вершины скрытую в подтексте шостаковичевской оперы идею. Думаю, что сознательно доводит. Но возможно, что и не сознательно. Потому что в образе Катерины читает себя — сильную, мужественную, способную на противостояние шайке неличностей, тех, кто не способен биться в одиночку и может лишь подвывать в стае. Вольно или невольно, но Вишневская в образе Катерины высвечивает свою, самую главную свою жизненную тему. И раскрывает ту сокровенную мысль, которую всегда таит, всегда глубоко прячет в своей музыке смертельно запуганный бесконечными издевательствами и гонениями Дмитрий Шостакович. Вишневская своим прочтением образа Катерины точно отвечает на те вопросы, которыми задавались мы выше. Катерина Измайлова — одна из лучших, одна из наиболее точно прочитанных ею ролей. Это один из самых сильных и самых откровенных ее образов.

* * *

Впрочем, нет. Вернемся к первым годам ее в Большом театре. Как мы помним, на конкурсе в стажерскую группу театра Вишневская спела арию Аиды и не просто убедила, но покорила маститых членов комиссии. Партии Аиды суждено было сыграть свою, особую роль в судьбе Галины. Она готовила эту партию в театре под руководством Александра Шамильевича Мелик-Пашаева, которого до сих пор считает своим учителем. А Мелик-Пашаев, однажды назначив Вишневскую на роль Аиды, так до конца своих дней и не разрешал петь эту партию в его спектаклях кому-либо иному.

Именно в облике прекрасной эфиопской царевны, обращенной египтянами в рабство, и предстала Вишневская впервые перед западным миром любителей оперы. 6 ноября 1961 года исполнением этой партии на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке она открыла своим именем сегодня уже долгий список советских певцов, выступающих на зарубежных сценах. Они поют по-разному — и хорошо, и не очень удачно, а подчас и просто плохо. Но поют благодаря ей, Галине Вишневской, которая сумела своим искусством убедить придирчивых и расчетливых западноевропейских и американских менеджеров в том, что в России есть вокальная школа, есть певицы, что их антреприза — выгодное вложение капитала. После первого концерта в Карнеги-холл ныне покойный музыкальный критик Таубман писал в «Нью-Йорк Таймс»: «Вишневская — это нокаут в глаза и уши».

Ее первая оперная партия на Западе, ее Аида имела оглушительный успех. Рецензент журнала «Musical America» Роберт Сабин в декабре 1961 года приравнивал дебют Вишневской к выступлениям Бригит Нильсон, Леони Ризанек, Леонтины Прайс и писал: «Я не могу вспомнить более пламенного характера или более оригинальной манеры исполнения, соединенных с острым умом и подлинной музыкальностью. Что касается ее пения, то это было подлинное мастерство художника. Viva Vishnevskaja!» Затем Аида Вишневской прошла свой трудный путь любви и жертвы на сценах лондонского Ковент-Гардена (1962), парижской Гранд-Опера (тот же 1962 год), получив наивысшие оценки критики, заслужив имена «русской Каллас», «Шаляпина в юбке» и т. д.



В интервью, опубликованном на этих же страницах в 1977 году, Галина Вишневская сказала: «Я — русская актриса. В этом моя плоть и кровь».

Да, она истинно русская. Прежде всего, психологической тонкостью, сложностью и словно бездонной глубиной характеров своих героинь. Из этой глубины черпает она мотивы, логические основания их поступков и решений. А логика действий ее героинь очень непроста.

...Марфа Собакина в «Царской невесте» Римского-Корсакова — особая грань искусства Вишневской. Как бы точнее объяснить эту особенность?

...С каждой строкой этой статьи мне все труднее и труднее. Моя профессия несколько парадоксальна — я должна рассказывать о том, что обрело свое выражение в музыке прежде всего и именно потому, что уже не формулируемо словом. Музыка всегда над словом, музыка что ли продолжает слово, углубляет и раздвигает его пределы, возносит его. Это сфера безгранично высоких и тонких чувств... И чем выше они, чем тоньше они — тем точнее «попадание» этого удивительного искусства — музыки. И чем выше они, чем тоньше они — тем меньше нужно, тем меньше можно говорить о музыке. Нужно слушать. И слышать...

...С каждой строкой этой статьи мне все труднее писать о Вишневской. Потому что в иных своих партиях она истинно поднимается в те заоблачные вершины человеческого духа, о которых Ромен Роллан сказал, что «...дышится там легче и привольнее. Свежий и прозрачный воздух очищает сердце от всякой скверны, а когда рассеиваются тучи, с высоты открываются безграничные дали и видишь все человечество».

Марфа Собакина у Вишневской — одна из таких «заоблачных вершин». Она особо долго готовилась к этой роли, мечтала о ней. Драма Мея «Царская невеста» стала настольной ее книгой. Галина была буквально

влюблена в свою Марфу. Каждая черточка в ее характере, каждая деталь ее поведения, каждая линия в ее костюмах были по-особому дороги ей. Галина подолгу обдумывала каждое слово, каждый жест своей Марфы. И костюм... Для Зишневской всегда очень важен внешний облик ее героинь, она всегда сама рисует, сама придумывает их костюмы. Но свою Марфу она одевала особо. Долго рылась в архивах костюмов, которые — некогда переданные Большому театру как ненужные, не используемые в музеях русского быта — пылились, никем не тревожимые, в мастерских ГАБТа. Буквально роясь в пыли веков, отыскивала Вишневская костюмы для своей Марфы. Все на ее Марфе было иное, не такое, как у других. Во втором акте, к примеру, на ней был зеленый — а не розовый, как обычно, — шитый золотом сарафан и желтая блуза. Почему зеленый, а не розовый? В последнем действии вместо традиционного платья Вишневская-Марфа появлялась в тяжелом красном парчевом одеянии. Костюм должен был, по замыслу актрисы, придавливать ее к земле, внешне Марфа должна выглядеть совершенно противоположно ее нутру. Диапазон развития характера ее Марфы был другого масштаба, чем у прежних исполнительниц. Начинала Вишневская этот характер почти буквально с нуля. Ее первый выход во втором акте — это совсем еще юная, чистая, наивная Марфа. Она — как молодой росток, которому предстоит еще расцвести.

Стремясь раздвинуть границы роли, Вишневская особо подчеркивает в этой первой, выходной арии героини наивность и безмятежность. Чистым, каким-то легким и почти бестембровым звуком поет Галина эту арию — бесхитростный и откровенный рассказ Марфы о своей незамутненной любви к жениху, Ивану Лыкову. Но не успевает отзвучать эта ария Марфы, как властные голоса меди железной поступью провозглашают мрачно-торжественный запов царской «Славы». С это-

го запева начинается на сцене жизнь иной Марфы. Увидев вдалеке закутанного в богатый охабень могучего всадника и угадав в нем царя Ивана Великого, эта Марфа мгновенно преображается. Словно кассандрово чутье подсказало ей — вот ее судьба, ее погубитель. Нет, она не испугалась, хотя и пропела положенное: «Ах, что со мной? Застыла в сердце кровь!..» Марфа не испугалась, но, ощутив опасность, изготовилась отстаивать свое счастье, свою любовь, собрала все свои силы, чтобы обратить их против того Грозного, что истинно угрожает ей.

С этого момента Вишневская ведет свою героиню по пути борьбы. И этим ломает привычный, канонизированный образ пассивной, страдающей героини. Привычная Марфа — это невинная жертва, погибающая, оказавшись предметом страсти сразу нескольких людей. Все совершающееся в опере происходит помимо нее и направлено против нее. Вокруг нее — бездейственной и пассивной — кипят страсти, из-за нее Грязной оклеветал и погубил Лыкова, затем убил Любашу, наконец, погибает сам... А Марфа в этом кипящем котле низменных чувств возвышенно светла и чиста, ее не касается весь смрад этих интриг, она — вне их. И, вероятно, осталась бы вне их, если бы не приворотное зелье, подсыпанное ревнивой Любашей в ее кубок. Приворотное зелье, которое и лишило Марфу рассудка.

Ну, а если бы не приворотное зелье? Как должна реагировать Марфа, не отведавшая этого зелья, на все происходящее? Может ли она оставаться равнодушной и наивно не замечающей этого плотного клубка страстей? Для любой другой Марфы вопрос этот непригоден. Но Марфа Вишневской — не жертва, она участница борьбы, в которой каждый борется за свое. Грязной — за любовь Марфы, Любаша — за любовь Грязного, Бомелий — за внимание Любаша... А Марфа Вишневской много выше всех иных героев, она не

посягает на чужую жизнь, на чужие чувства, она борется за себя, за право любить самой, а не только быть любимой. В этом страшном мире бездуховности и корысти она одна одухотворена и бескорыстна. Ее чувства ярки и открыты, и в них она бескомпромиссна.

Нет, эта Марфа теряет рассудок не от приворотного зелья, подсыпанного ей в кубок коварной Любашей, но от столкновения с миром, который бесконечно чужд ей. Это проблема несовместимости личности и общества, в которое личность не может, не способна «вписаться». Потеря рассудка этой Марфой и есть ее единственная а к т и в н а я реакция на нормы жизни этого общества. Сам факт выживания в нем, сам факт вживания в это ненормальное, чудовищно искаженное общество — свидетельство смещения нормальных реакций. Если же они не смещены — результат столкновения с этим аномальным обществом может и должен обернуться потерей рассудка. Именно таков путь этой Марфы.

Не случайно в четвертом акте она — в ответ на вопрос о ее здоровье — спокойно и здраво говорит: «Да, я здорова, я совсем здорова! Я слышала, сказали государю, что будто бы испортили меня. Все это ложь и выдумка!» Марфа Вишневской говорит здесь истинную правду. Она здорова, больно то общество, в котором она живет. И наибольшее, что может сделать эта Марфа, — это пробудить искру раскаяния в прожженных душах людей, что вокруг нее, заставить их понять всю чудовищность своих поступков. И ее последняя прекрасная ария приводит Грязного и Любашу к раскаянию и гибели.

Необычный образ Марфы. Активный, трагический, социально заостренный на теме несовместимости высокой по своим душевным качествам личности и погрязшего в пороках общества, пытающегося подчинить себе вся и все, не терпящего никого, кто чувствует или мыслит иначе. Такая трансформация образа

естественно смещала акценты в спектакле. В центре его — когда партию Марфы пела Вишневецкая — оказывался не Грязной, а она, Марфа. И еще: чудесным образом прочертила певица связь между такими контрастными образами, как Катерина Измайлова и Марфа Собакина. И та и другая в одиночку противостоят окружению, не боятся этого страшного противостояния. И та и другая погибают, обреченные в этой их правой борьбе за себя. И та и другая — личности. А это нечасто. Особенно на современной сцене.

* * *

И в современной жизни тоже. Всем, кто хлебнул из варева советской жизни, хорошо известно — каково это, быть личностью. Весь строй воспитания, обучения приучает к мысли о ничтожности, о незначимости твоего «я». Даже невзирая на выдающиеся качества ума, на дарования или знания. То, что в советском обществе называется «демократизмом», на деле оборачивается обезличиванием, обезглавливанием, подравниванием и уравниванием. Главная задача — не дать никому, ни единому человеку, будь то великий артист или гениальный ученый, осознать свою исключительность, свое высокое предназначение. Это — главная заповедь в строительстве «человека нового типа».

Сколь же много блистательных индивидуальностей утонуло, не выплыло из этого моря «людей нового типа»! В очень трудной, в очень сложной психологической обстановке росли и растут личности в России. И выживают самые сильные, те, что способны противоборствовать мощному напору встречного потока в мутной реке, несущей в себе более двухсот миллионов человеческих душ.

Но не трудности ли роста обеспечивали и обеспечивают ныне русским художникам и артистам — тем, что выплывали, — блистательно высокий уровень дарований, умений, знаний? И больше — незаурядность, непохожесть, свою мысль и свой взгляд, свое лицо и свои слова? То есть то, что и зовем мы личностью. Но личности выплывали из мутной реки и, увы, почти неизбежно уплывали из своей России. Поток выбрасывает тех, кто против течения.

Вишневская плыла против течения. И тогда, когда своей молодостью, яркостью и непохожестью принесла новое в Большой театр, буквально встряхнула его, повела за собой капризно-несговорчивую труппу примадонн. И тогда, когда на худсоветах и совещаниях — в театре или в Министерстве культуры — оказывалась в смелом одиночестве, в своей искренности и правдивости резко критикуя то, что хором превозносили другие. И тогда, когда к изумлению своих маститых коллег, неожиданно извлекала из стажерской молодежи вроде бы малообещающего певца или певицу и через пару месяцев занятий представляла труппе восходящую «звезду» (а у Вишневской особое чутье на «звезд»).

Галина была хорошим «пловцом» и до поры до времени выдерживала мощь встречного потока. Но надо признать, что психологически она всегда была подстрахована плечом смелого и мужественного «пловца» — ее супруга Мстислава Ростроповича. Брак их, ведущий свое начало от 15 мая 1955 года, — это, помимо всего прочего, союз двух ярких личностей. Я не стала бы говорить здесь общеизвестного — о мощи дарования Мстислава Ростроповича, если бы не весьма значительный нюанс в творческой личности Вишневской.

Вот уж воистину, эта Ева была создана из ребра своего Адама. Но ребро это было необычным. Оно оказалось столь велико и значимо, что отнюдь не

только добровольное желание Адама пожертвовать им, а подлинная необходимость отчленить ребро от тела этого Адама привела к рождению этой Евы.

Вишневская и Ростропович во многом едины во взглядах на искусство, в нравственных и этических позициях. Но Ростропович таков и есть, таким и был и будет. Вишневская же искала и нашла то, что искала, — у Ростроповича. А найдя, более не отрекается. Она вообще человек убежденный.

Однако не подумайте, что ее позиция — это его позиция. Нет, это *их* позиция. И Галя уже почти четверть века жена Славы и потому, что его и только его позиции — в искусстве и в жизни — убеждают ее. И ничьи иные.

Почему я утверждаю это? Нет, не только из опыта личного общения с замечательными музыкантами, но и на основании тех концертов, что давали и дают Галина Вишневская и Мстислав Ростропович совместно. Ростропович, мне кажется, с особым удовольствием аккомпанирует Вишневской в камерных концертах. Дуэт этот сам по себе уникален в мировом искусстве и может быть сравним пожалуй лишь с такими дуэтами, как Вальтер Гизекинг и Элизабет Шварцкопф. Или Артур Никиш и Елена Герхардт. Но дуэт Вишневской и Ростроповича истинно великолепен не только как музыкальное явление, но и как психологический диалог.

...На концерт, где Вишневская в сопровождении Ростроповича пела цикл Шостаковича «Сатиры» на слова Саши Черного, попасть было крайне трудно. Не только потому, что концерты Вишневской и Ростроповича пользовались особым успехом у слушателей. Новый цикл Шостаковича был одним из очень немногих сочинений великого композитора, в котором он выплеснул что-то глубоко спрятанное в нем и никогда прямо не формулируемое. Нет, совсем не шуткой обернулись у Шостаковича стихи Саши Черного,

которого в нынешней России не очень-то любят почитать, а если и поминают, то говорят, в основном, о его любви к шутке. Стихи Саши Черного стали для Шостаковича совсем не шуткой, но драмой низвержения вечных ценностей, болью за утраченные и поруганные светлые идеалы:

*Наши предки лезли в клетки и шептались там не раз:
«Туго, братцы... Видно, дети будут жить
вольготней нас».*
*Дети выросли. И эти лезли в клетки в грозный час
И вздыхали: «Наши дети встретят солнце после нас».*
*Нынче, так же, как вовеки, утешение одно:
Наши дети будут в Мекке, если нам не суждено.
Даже сроки предсказали: кто лет двести, кто —
пятьсот,
А пока лежи в печали и мычи как идиот...*

Эти слова — одного из романсов цикла «Сатиры» — отчетливо и ясно выпевала Вишневская со сцены Колонного зала Дома Союзов. А зал недоумевал и немножечко боялся. И надеялся, что все это только шутка. Но Вишневская не шутила, не смеялась. Она была зла и, подчеркнуто скандируя — как прокламацию, — завершила романс:

*Я хочу немножко света для себя, пока я жив;
От портного до поэта всем понятен мой призыв...
А потомки... Пусть потомки, исполняя жребий свой
И кляня свои потёмки, лупят в стенку головой!*

Каждый звук словно отскакивал от ее губ, в каждом была сила и страсть. Звуки эти — если бы суждено им было материализоваться — были бы подобны пулям; каждая метко западала в чью-то душу, каждая задевала в душе что-то затаенное.

А Ростропович играл будто бесстрастно и спокойно. Но в этом был свой замысел. Аккомпанемент в этом романсе подобен вальсовому трехдольному движению с акцентом на первой доле и с туповато-упрямым повтором второй и третьей доли. Ум-па-па, Ум-па-па, Ум-па-па — однообразно выколачивал рояль. И в этом однообразии, в этом популярном вальсовом ритме рождался образ из простонародья, образ рассказчика, не обремененного ни интеллектом, ни культурой, ни высокими чувствами. Так вот откуда идет голос вопиющего?! Ну, конечно, оратор — человек неискушенный, но представляющий массу таких же, как и он. То есть речь ведется от имени того самого «гегемона», сознательность которого столь настойчиво и дидактично противопоставляется несознательности интеллигенции.

Вот такой дуэт являют Вишневская и Ростропович. У каждого в этом дуэте свои функции, но именно потому это не унисон, а дуэт. Так в музыке, в творчестве. Так и в жизни.

На мой взгляд, брак Вишневской и Ростроповича можно объяснить известным законом физики, согласно которому массы тяжелых тел взаимопротягиваются. Естественно, под «тяжелыми телами» имеются в виду ярко одаренные натуры. Логичность этого сравнения подтверждается и прочими творческими и дружескими связями Галины Вишневской. — Вот несколько примеров. В 1955 году Ростропович познакомил свою молодую жену с Дмитрием Шостаковичем. Впервые услышав Вишневскую на концерте — с циклом Мусоргского «Песни и пляски смерти» — Шостакович был настолько потрясен и околдован ее голосом, ее искусством, что незамедлительно принялся за инструментовку — специально для Галины — камерного цикла Мусоргского. Естественно, Шостакович внес в свою инструментовку то, что услышал в пении Вишневской. Это одна из интереснейших работ

великого композитора и, кстати, очень примечательная. Потому что Шостакович, точно слышавший боль своего времени, всегда более был склонен к образам трагическим, нежели оптимистическим. Но выразить в музыке эту боль не мог, не разрешали ему. Инструментовка трагического цикла Мусоргского явилась одной из блестящих для Шостаковича возможностей выразить себя. Он посвятил свою работу Вишневской, точно ощутив в ней то же самое, что было и в нем, — стремление выразить главную, основную интонацию своего времени, пусть и через музыку замечательного русского композитора XIX века.

Не раз потом писал Шостакович музыку специально для Галины Вишневской. Ей посвящен цикл на слова Саши Черного, цикл на слова Блока, для нее, для ее голоса написана Четырнадцатая симфония...

Еще один пример притяжения «масс личностей» — английский композитор Бенджамин Бриттен, который специально для Вишневской написал центральную партию сопрано в своем «Военном Реквиеме», посвятил ей вокальный цикл на слова Пушкина... Лишь преждевременная кончина помешала французскому композитору Франсису Пуленку завершить работу для Вишневской — цикл песен на русские тексты. Прославленный немецкий дирижер Отто Клемперер, услышав ее в «Аиде» в лондонском Конвент-Гардене, писал ей: «Благодарю Вас, это было самое большое мое переживание за многие годы...» и пригласил Вишневскую в 1963 году на Венский фестиваль для исполнения сольной партии во Второй симфонии Малера «Воскресенье». Французский дирижер Игорь Маркевич специально инструментует шесть песен Мусоргского, чтобы с Вишневской исполнить их в блестящем турне по городам Европы... Чуть позже советский композитор Борис Чайковский посвящает Вишневской свой цикл на слова Иосифа Бродского.

Но вот ведь странно — что ни посвящение Вишневской, то почти обязательно трудная судьба у каждого сочинения. Начнем с конца. Вишневская так и не спела цикл Бориса Чайковского, потому что внезапно Бродского объявили тунеядцем и в уже напечатанных программах концерта цикл Чайковского был заменен чем-то другим.

С «Военным Реквиемом» тоже не заладилось. Бриттен, написав антивоенное сочинение, задумал поручить ведущие партии в нем трем солистам, представляющим народы, наиболее пострадавшие в годы Второй мировой войны: англичанину Питеру Пирсу, немцу Дитриху Фишер-Дискау и русской Галине Вишневской. Что уж там запало в буйную голову министру культуры СССР Екатерине Фурцевой — неизвестно. Но, по всей видимости, усмотрена была крамола в замысле Бриттена, и за неделю до премьеры «Реквиема» Вишневская была отозвана из Лондона. Впрочем, через год ей разрешили спеть в «Реквиеме». Почему через год? Тайны многих причудливых и будто случайных решений унесла с собой в могилу Фурцева — простая русская баба, охочая до водки да массивных золотых колец с бриллиантами, волею причудливой российской судьбы вознесшаяся на пьедестал судьи русской культуры и немало дров наломавшая.

А цикл Шостаковича на слова Саши Черного? Долго сражались за право его исполнения три самых ярких и талантливых советских музыканта — Шостакович, Ростропович, Вишневская. И опять таинство решений Фурцевой. Почему в конце концов разрешила? (А потом запретила...) Ведь тексты-то...

Вот такой борьбой за каждую партию в театре, за каждое произведение, спетое на концертной эстраде, наполнена была вся жизнь Вишневской в России. Четверть века. Вот уж поистине крест. Но она счастлива была нести его. И не представляла себе иной жизни для себя. Да и сейчас не представляет.



Нет, я не согласна с общепринятым уже мнением, что Вишневская была подвергнута опале в Советском Союзе из-за дружбы с Александром Исаевичем Солженицыным. Эта дружба была лишь поводом, которого искали, которого ждали. Причина же, как всегда, глубже и много «старше». А в том, что причина эта была, нетрудно убедиться хотя бы по той стремительности, с которой прореагировала советская пресса на отъезд Галины Вишневской в официальную долгосрочную командировку за рубеж в июле 1974 года. В мае она спела последнюю свою премьеру в Большом театре — партию Полины в «Игроке» Сергея Прокофьева. Сам факт постановки этой оперы на столичной сцене был очень значительным. И я, ничтоже сумняшеся, незамедлительно заказала одному из самых солидных авторов статью об этой премьере для отдела музыкального театра, которым я тогда заведывала в журнале «Советская музыка». В июне статья лежала на моем рабочем столе. Хорошая, профессиональная статья, в которой много внимания было уделено образу Полины — сложному, интересному в исполнении Вишневской. Автор говорил о том, что Вишневская домыслила, доразвила прокофьевский характер, сделала его активнее, труднее, обнаженнее...

Статья не пошла в печать и лежала в моем рабочем столе более полугода — пока другая исполнительница не была введена в спектакль и пока мой солидный рецензент послушно не вычеркнул из статьи имя Вишневской и не заменил его на иное.

Еще в июне 1974 года главный редактор журнала «Советская музыка» в ответ на мой вопрос о судьбе статьи таинственно изрек: «Вишневская уезжает в «долгосрочную зарубежную командировку». Посмотрим, как она будет там себя вести». Нет, это были не его слова. У него вообще не было и нет своих слов.

Он повторил то, что было сказано ему, а точнее — приказано.

Значит, еще в июне 1974 года, когда Вишневская была в Москве, — где-то в высочайших инстанциях, пожалуй, над головой Фурцевой, было решено, что эта великолепная певица и актриса больше не вернется на свою родину. А уж повод для таких решений, как известно, находится всегда. И потому не успела еще Вишневская пересечь государственную границу Советского Союза, как ее имя исчезло из всех печатных изданий, из всех публикаций. Будто и не было в советском искусстве этой певицы и актрисы, долгие годы украшавшей самые торжественные — правительственные, как их принято называть, — концерты. Миллионными тиражами были изданы разнообразные издания к юбилею Большого театра, который праздновался год с небольшим спустя после отъезда Вишневской. Но ее имя уже не упоминалось ни в одном из этих изданий*. Поистине подозрительная оперативность советской полиграфии, которая печально известна своей ужасающей медлительностью.

То есть практически Вишневская была лишена гражданства на четыре года раньше, чем о том было официально объявлено. Но какая же причина заставила так спешить советские официальные инстанции? Почему столь немилостивы были правители страны к всемирно известной оперной диве, которая, казалось бы, дарит своей стране не только престижное имя хранительницы лучших русских оперных традиций, но и весьма солидные валютные счета, пересылаемые в Советский Союз за ее выступления за рубежом?

Причина эта — в невероятном консерватизме советской культуры. Это если широко. И в боязни инди-

* Имя Галины Вишневской отсутствует даже в двухтомной монографии, выпущенной к 200-летию Большого театра. — Прим. ред.

видуальностей, личностей. Это если уже. Но и первое и второе связано. Если есть личность — это уже шаг вперед от консервативного к новому, иному, свежему. Но что несет с собой это новое, иное, свежее? Не то ли, что в циклах Шостаковича или Бориса Чайковского?

Причины изгнания Вишневской из России ясны и очевидны. И они всеобщы. Не только для Вишневской и Ростроповича. Но чтобы прикрыть эти причины — история дружбы с Солженицыным. А для него какая причина? Та же. Он — личность. А личности понимают, спорят, возражают или, в лучшем для начальства случае, предлагают реформации, наивно уверенные, что именно их советов и ждут в министерствах и ведомствах. Но там как раз больше всего боятся этих с в о и х мнений и убеждений. И не прощают их. Никому и ни в чем.

Даже Галине Вишневской, великолепной певице и актрисе, сумевшей — вопреки всему — реформировать русскую оперную сцену и тем упрочить ее славу. Даже Вишневской, открывшей русскому оперному театру путь на мировую музыкальную сцену.

За то, что Вишневская позволила себе с в о и убеждения, она сегодня вычеркнута из книг по истории советской оперы, той оперы, которой она отдала четверть века напряженного и увлеченного труда и творчества.

Однако можно вычеркнуть имя из книг по истории театра, но не из самой истории. Можно сделать вид, что Вишневской вообще не было на советской сцене, но нельзя уничтожить то, что принесла она русскому искусству. Вспомним, как в течение 35 лет пытались в Советском Союзе вытравить из памяти народа искусство Федора Шаляпина. А сегодня именно те, кто некогда предавал анафеме его имя, по крохам собирают полузабытый материал о нем и пишут многотомные исследования о великом русском оперном артисте.

Кстати, не сомневаюсь, что, возродись сегодня Шаляпин к жизни, его постигла бы в Советском Союзе та же участь, что и его последовательницу и заочную ученицу Галину Вишневскую. Шаляпин, безусловно, и сейчас вынужден был бы эмигрировать.

* * *

И еще «юбилей». Не праздничный. О котором не хочется говорить. Пять лет назад, 26 июля 1974 года, Галина Вишневская с двумя дочерьми села в самолет Аэрофлота Москва-Париж с билетом в один конец. Формально она оставалась в составе труппы Большого театра до лишения ее советского гражданства, т. е. до 15 марта 1978 года. В те дни срочно было созвано собрание артистов Большого театра, где, повинувшись дирижерской палочке партбюро, несколько артистов горячо приветствовали изгнание лучшей певицы Большого театра. Артисты это были средней руки, мелкие карьеристы, готовые послушно повторить любую клевету, подсказанную сверху: им лишь бы получить побольше разрешений на заграничные поездки, попросторней квартиру, повыше зарплату, лишний орден или звание... А это все даст власть над своими же коллегами по искусству, по театру — вот и ты становишься сильным, могущественным, можешь влиять на то, как пойдет карьера твоих более молодых и более талантливых коллег, потому что за тобой партбюро, отдел кадров... За тобой все эти многочисленные могущественные комнаты, обшитые с двух сторон черной клеенкой, чтобы снаружи нельзя было услышать, о чем говорят внутри!..

И все-таки имена тех, кто выступил на этом позорном собрании, хорошо известны в Москве. Певцы Е. Нестеренко, Ю. Мазурок, В. Атлантов — впрочем, на гастролях, перед западной публикой, они не хва-

стают этим своим творческим достижением. Внеочередную фальшивую ноту взял уже вышедший на пенсию скрипач Ю. Реентович — ему не привыкать, он и на скрипке в прошлом фальшивил, прикрытый званием многолетнего парторга оркестра Большого театра.

А с другой стороны — куда более талантливые артисты, которые на предложение выступить на том же собрании против «отщепенцев» ответили категорическим отказом. Их-то первыми и обнимут отлученные насильственно от своей страны Вишневская и Ростропович, когда в солнечный для русского искусства день вернутся в Россию.

25 лет работы в Большом театре — целая эпоха в жизни певицы, творческий взлет и рост. Что же теперь? Что с Вишневской на Западе? Зачахла ли она от тоски? Потеряла ли голос? Заболела? Или хотя бы застряла на месте, застопорилась в развитии, повторяя прошлые достижения? Осуществились ли все эти мечты сенильных «органчиков» из ЦК, лично позаботившихся об изгнании Галины Вишневской?..

За эти пять лет Вишневская выступила в оперных театрах Нью-Йорка, Лондона, Мюнхена, Эдинбурга, пела десятки концертов с лучшими оркестрами и лучшими дирижерами мира, сотни сольных концертов — Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рим, Милан, Чикаго, Бостон, Филадельфия, Рио-де-Жанейро, Каракас, Токио... — десятки и десятки городов, не перечить. Такой концертной активности не было у нее никогда за всю ее жизнь в СССР. Выпущен альбом из трех долгоиграющих пластинок с романсами Мусоргского, Чайковского, Шостаковича, пластинки с романсами Рахманинова и Глинки, с произведениями Прокофьева и Римского-Корсакова, с вокальными произведениями в сопровождении оркестра. Записаны на пластинки три оперы с Вишневской в главной роли: «Тоска», «Пиковая дама» и «Леди Макбет Мценского уезда». За свои

записи она получила «Гран-При дю Диск» четырежды, Гран-При Академии имени Чарльза Гросса, приз «Золотой Орфей». Французская академия грамзаписи присудила ей в 1977 г. приз лучшей оперной певицы года. В списке пятидесяти лучших голосов мира, недавно опубликованном в журнале «Экспресс», она единственная русская певица среди десяти сопрано.

Постоянно растет и усложняется ее репертуар. Это не только новая для нее партия леди Макбет в опере Верди, труднейшая в мировом оперном репертуаре, но и огромное количество камерных произведений. Ее искусство по-прежнему будоражит воображение больших музыкантов — они пишут для нее новые сочинения. В январе 1979 года в Вашингтоне состоялось первое исполнение произведения французского композитора Марселя Ландовского для симфонического оркестра и сопрано «Ребенок зовет», посвященного Вишневской. Ведущие французские музыкальные критики прилетели в Америку, чтобы услышать эту премьеру. И само сочинение, и исполнение Галины Вишневской были приняты с энтузиазмом и публикой, и критикой.

Только за март-апрель 1979 года Вишневская дала шесть сольных концертов во Франции, Германии и Италии — западноевропейская публика впервые услышала вокальный цикл Шостаковича на стихи Александра Блока.

Из концерта в концерт, царственно выплывая на подмостки, Галина Вишневская дарит слушателям почти неведомую им русскую вокальную камерную музыку. И зал со слезами на глазах неистово аплодирует этой кронштадтской девчонке, дочери русского народа, несущей сияние его музыки всему миру.

РОМАДИНОВА Дора — родилась в 1937 г. в Москве. Окончила Институт им. Гнесиных (историк и теоретик музыки) и Московский университет (история изобразительного искусства). Работала экскурсоводом, музыкальным редактором Всесоюзного радио, с 1964 г. — зав.отделом в журнале «Советская музыка». Член Союза композиторов с 1967 г., член худсовета «Мосфильма» с 1971 г., автор четырех книг и нескольких сот статей (в основном, по советской музыке), опубликованных в журналах «Советская музыка», «Музыкальная жизнь», «Театр» и др. В 1974 г. в Киеве, в Институте фольклора, этнографии и музыковедения АН УССР успешно защитила кандидатскую диссертацию, но за отсутствием характеристик об «общественной деятельности» диссертация не была представлена в ВАК. В 1978 г. выехала из Советского Союза, живет в США.

ГЕНРИХ ЭЛИНСОН — ХУДОЖНИК СВЕРХРЕАЛЬНОСТЕЙ

Шесть лет назад русский художник Генрих Элинсон выехал из Советского Союза.

После краткого пребывания в Италии он оказался в Соединенных Штатах. Отвергнутый Советами как декадент и буржуазный модернист, «отравленный» западными измами, он не мог выставляться на родине. К счастью, получив филологическое и дефектологическое образование, он мог зарабатывать себе на жизнь, работая логопедом. Однако, когда Элинсон, уезжая, попытался взять с собой картины, ему было сказано властями, что нельзя вывозить из страны предметы русского *национального* искусства, не заплатив высокой пошлины. Будучи не в состоянии выкупить свои собственные произведения, он оставил большинство их в Ленинграде, взяв на Запад лишь немногие.

Несмотря на эстетизацию линейно-объемной фактуры, в первых своих работах за границей Элинсон выражает гнев и беспокойство, полное кошмаров и галлюцинаций, протест, иногда чрезмерный в своей неистовой мифотворческой силе. Выбор экспрессионистических и сюрреалистических проникновений (без сюрреалистической трактовки пространства и с не сюрреалистической картиноностью объектов) делает его произведения волнующими и вызывающими. О работах Элинсона того времени можно сказать непереводаемым итальянским словом *terribilitá*.

Увлечение содержанием в ущерб форме приводит к тому, что композиционное пространство иногда хаотически загромождено фигурами и предметами. Элинсоновская горечь, однако, была глубокой, и его

изысканные, насыщенные, жизненно убедительные рисунки пером (он работает исключительно ручкой с фетровым наконечником) отражают страшное сновидчество его переживаний. В этом накале острого неприятия советского «миропорядка» важна та техническая одаренность, которая действительно ведет художника к улучшению техники некоторых современных мастеров в трактовке отраженного света, полного подсознательных озарений. По мере эволюции работ художника формоощущение принимает на себя усиленно значимую роль. В результате форма с рельефным, углубленным и иным изображением торжествует над содержанием. Тем не менее, черты, вселяющие ужас, и мрачные подробности единоличного послания, вероятно, будут снова являться в рисунках Элинсона, ибо в основном его творчество уходит корнями в магические и темные силы жизни.

Если половое воображение в искусстве всегда было в прямой связи с творческим сознанием, тогда работы Элинсона ясно показывают борьбу между мужским и женским началом. Там, где мужская суть первенствует, господствует сила более грубая. В последних работах художника этот половой заряд перерастает свою первичную (часто несдержанную) связь с невротическими источниками, переступая границы душевного «подполья» и открывая себя в выражении духовной сокровенности, самопознания Абсолюта.

Мужская фигура как таковая редко появляется в элинсоновских картинах; она может быть аллегорически совокупна с лошадей, быком или абстрактными фаллическими очертаниями. Образ зрелой женщины проходит через все работы художника, часто заполняя всю композицию, но иногда он выражен лишь индизказательно, упрощенными овалами женских гениталий. В лучших рисунках художника, однако, «грех чувственности» показан с редким самоотречением и выражается лишь утонченной фактурой линий, про-

изводящих одновременно линейный и тональный эффект. В результате сексуальность (ошибочно приравняемая к «порнографии») не есть половое стремление; в нарочито символизированных работах Элинсона обнаженная фигура становится просто оборотом речи, чистой формой, чистотой формы.

В дальнейшем столкновение противоречий художника разрешается им в более спокойных, медленно текущих композициях, в которых многочисленные фигуры и малые формы растворяются в одной *большой* форме, иногда столь же плотной и замкнутой, как в единстве художественных особенностей раннего романского искусства.

Хотя Элинсон не считает себя религиозным человеком, в его произведениях постоянно ощущается мистически-религиозная основа. Страх и величие в его рисунках потрясают душевное состояние верующего зрителя. И *вера* — безусловно, странное слово в применении к работам художника, который был воспитан в атеистическом обществе.

Нелегко характеризовать изобретательные и оригинальные картины Генриха Элинсона в плане уже существующих категорий или сегодня уже найти определенное место для него в искусстве XX века. Иногда я вижу его стоящим где-то между Максом Эрнстом и Ивом Танги. Элинсон дополняет их более спокойное видение присущим ему движением и пламенностью. В неопределенном пространстве большого белого листа он неустанно создает группы причудливых, многогранных, но одухотворенных фигур. Однако главное очарование его работ — в его стремлении дать выход новой художественной действительности, в которой фантастические видения являются подчиненной частью самоцельности эстетической структуры. Это — нового типа «искусство для искусства», отчасти самодовлеющее, но страстное и поэтому ни в коем случае не бескровное.

С помощью разнообразной по тональности и пластичности фактуры Элинсон достигает различных живописных, скульптурных и архитектурных эффектов, свойственных синтетическому творчеству. Его работы демонстрируют врожденный талант, быстрый ум, своеобразный взгляд на мир и добротное знание техники в древнегреческом значении этого слова.

**Читайте в следующем
номере «Континента»**

стихи украинских и польских поэтов

песни Ю. Алешковского

предсмертную прозу Г. Снегирева

**статьи Э. Кузнецова, А. Терлецкаса,
В. Чернявского**

Литература и время

Памяти ушедших

Арман М а л у м я н

И ДАЖЕ НАШИ СЛЕЗЫ...

В концентрационном мире, где душа обнажена, лак воспитания, образованности слетает так же быстро, как эмаль с упавшей посуды. Тот, кто прошел через блюминги КГБ, через страдания телесные и духовные, способен оценить и измерить человека с первого и единственного взгляда, ибо только катализатор, называемый «жизнью ГУЛага», позволяет безошибочно уловить разницу между добрыми и злыми и сделать выбор. Голод, холод, страх, ужасающая скученность и изматывающий, убивающий труд одни, быть может, способны обнаружить настоящую ценность человеческой личности.

И если в эпоху ГУЛага было весьма сложно остаться Дон Кихотом, я, тем не менее, с ним повстречался.

Разве не был он рыцарем, как герой Сервантеса? Одним из тех удивительных людей, которые посвящают свою жизнь защите вдов и сирот, которые борются за правду, справедливость, чистоту, которые ищут... могилу Дон Кихота?

Когда Владимир Максимов попросил меня написать о нашем общем друге, я понял, что не смогу написать надгробную хвалу *большому писателю*, которого потеряла Россия: это было уже сделано и сделано

прекрасно. И, кроме того, это совсем не в моем характере.

Юрий Домбровский умер.

Его творчество — будет жить. Его несомненный талант подвергнется внимательному анализу, критике, он будет оценен. Его книги войдут в мировую литературу сквозь парадные двери.

Что касается меня, то я предпочитаю познакомиться читателей с эзком, с человеком, с другом.

Враги? О да, они у него были. Нетерпимость и глупость человеческая. Две единственно вечные «матери», как он говорил. Он не переносил трусости и подхалимства тех, кто шел на любые унижения, чтобы выжить.

Для Юрия в лагерях существовало два сорта эзков: способные к борьбе — и «ждущие освобождения по амнистии» (он употреблял аббревиатуру этого выражения).

Этому высокому угловатому парню я дал три прозвища: Ворон, Нос и Дон Кихотский. На ворона он действительно был чем-то похож: глубоко сидящие в орбитах глаза, осторожность, ум и естественная сухощавость, подчеркнутая «фасонной стрижкой», обязательной в «домах отдыха», предоставленных в наше распоряжение «голубыми фуражками». Должен признаться, что ему не очень понравилось это прозвище, напоминавшее ему «воронок» и ворона из басни.

«Нос»? Он у него был выразительным, солидным, внушительных размеров. Юрию очень понравилась знаменитая тирада Сирано де Бержерака, которую я продекламировал ему в шизо, и каждый раз, когда мы вступали в споры с гебистами и «Нос» хотел подать мне знак, что его очередь брать слово, он делал жест роستانовского героя и говорил: «Я попаду в конце посылки...»

И все-таки «Дон Кихотский» ему шло больше всего. Его человечность, целомудрие, его чувствительность

были скрыты под маской ворчуна; он обладал глубоким умом; юмором, заостренным, как толедский клинок; благородством и гордостью испанского гранда. А его рост и худоба, о которых уже говорилось, делали его похожим на ветряную мельницу, вроде тех, с которыми он собирался сражаться, — стоило ему только поднять руки, и впечатление было полным...

В отместку он дал мне кличку «Дюваль» — по персонажу Дюма-сына, с которым я разделял имя и... палочку Коха (он — от Маргариты Готье, я — от шестого туберкулезного барака).

— Воркута!

— Норильск!

При звуке пароля, которым стали названия этих двух концентрационных комплексов после героических и незабываемых восстаний, разлетаются стекла, двери под ударами досок соскакивают с петель. Тайшетский шизо 601 в свою очередь взят зэками. Охрана бежит, хотя мы заверили ее, что никакого зла никому из них не будет причинено. Суматоха и сутолока, шумом похожие на восточный базар, царят в штрафном изоляторе. Заключенные ходят от одного барака к другому. Навстречу нам идет группа воров «в законе» — поздравить с победой над «суками». А вот и несколько человек 58-й, и над их головами возвышается одна, сильно напоминающая ворона, окруженного воробьями и голубями. «Голова» приближается ко мне, горячо сжимает мою руку и представляется:

— Юрий Осипович Домбровский, милостью кремлевских шарлатанов — враг народа, профессия — старый лагерник. Счастлив им быть и познакомиться с вами на этой даче.

— Арман Жан-Батистович Малумян, милостью «усатого» и манипуляциями гебистских алхимиков — предатель родины, которая никогда не была моей.

— Вы француз?

— Да. Из Парижа. В настоящее время отдыхаю

на курорте по двадцатипятилетней путевке. Профессия — непримиримый.

Один из уголовников спрашивает меня:

— Как же ты сюда попал?

— Позвольте, сударь, — сказал Домбровский, нажимая на «д» и подмигивая мне краем глаза, — позвольте, сударь, мне поговорить с моими братьями 58-й. В наши дни, в наш век опущенных голов и согласного молчания это же совершенно невероятно — встретить зэков, устроивших политическую забастовку, поколотивших «сук» и сломавших окна и двери в шизо. Господи, что за эпоха! И что станет со всеми этими «тук-тук», провокаторами и их хозяевами?

Вот так мы и познакомились, и если существуют на свете люди, которые делают друзьями с первой встречи и на всю жизнь, то Юрий, несомненно, к ним принадлежал.

Теперь я корю себя за то, что не описал Юрия при его жизни в «Сыновьях ГУЛага». Все из того же проклятого страха причинить неприятности тем, «кто был там».

Я снова встретился с ним, когда попал на три недели в тот же шизо 601, потом опять — в БУРе, куда попал на две недели, в Тайшете, в транзитном лагере. Как вы могли заметить, наши эпизодические встречи происходили в местах «привилегированных», которые можно назвать «семинариями» для «образцовых» зэков.

Нас было всего шестеро в камере (предназначенной для двоих), что по стандартам ГУЛага — почти роскошь. Было лето, время каникул, жара, и воздух в камере был пропитан благоуханием параша и испарениями шести тел. Сморенный духотой, я дремал. Время от времени открывая глаза, я видел Ворона, восседающего на параше, как Иов на куче собственного дерьма, и столь же нищего, как он, и разговарива-

ющего с эстонцем из Тарту Эвальдом Б. Я слышал, как он цитировал Киркегора, Ясперса и Хайдеггера.

— Глянь-ка, Арман проснулся. Хорошие сны видел, старина?

— Нет. Небытие. Слушая, как ты называешь эти имена, я ожидал, пока ты произнесешь «existence», чтобы перейти к экзистенциализму и к Сартру, представляющему небытие.

— Правда, я к этому как раз собираюсь перейти, хотя без особой нежности отношусь к нему и ему подобным, своими писаниями и бездумной позицией помогающим тем, кто нас хоронит. С этим своим «...человек есть свобода безо всякой связи с божеством» он прекрасно вписывается в генеральную линию Кремля.

— Я прошу тебя, Дон Кихотский, предоставь этого салонного нигилиста его судьбе.

— Прекрасно сказано, но от этого влияние Сартра на лучшую современную молодежь не уменьшится. И это серьезно. Он приносит массу вреда, ибо каждый его чих переводится на пятнадцать языков. Возвращаясь к нашему разговору, — обратился он снова к Эвальду, — определение семантики, которое я тебе дал, совершенно схоластично, ибо в наши дни, с точки зрения марксистского видения, даже изучение смысловых истоков слова меняется в зависимости от политической необходимости.

— Точно, Нос, — в зависимости от того, в каком лагере оно употребляется, слово может или совсем потерять смысл, или сменить его на противоположный.

— Что ты хочешь этим сказать, Арман?

— Например, один и тот же человек может быть разведчиком для страны, которая его посылает, и шпионом для страны, в которой он действует. Между тем, функции его от этого не меняются.

— Попал. Именно так. Террорист становится «бойцом народной армии освобождения», палач —

ответственным работником, дезертир — идейным союзником, уголовник — «социально близким», предатель — истинным патриотом; а тебя, мой дорогой Арман, боровшегося с нацизмом, — тебя зовут «фашистом» те, кто применяет их методы.

— Сделай одолжение, Юрий, скажи, что ты думаешь о пикантном плеоназме «народной демократии»?

— Да, он действительно смачный. Но, я думаю, тому есть объяснение. Правители этих стран прекрасно знают, что их режимы ни в малой степени не демократии, но хотят уговорить весь мир, что они — народные. Кроме того, греческого они не знают, а энциклопедии... реакционны. Проказа века — концлагерь — стал лагерем для трудового перевоспитания. И наши братья возвращают ИТЛ их настоящий смысл — *истребительно-трудовых лагерей*.

Как ты был прав, Дон Кихотский! С тех пор все продолжается в том же духе: восстания рабочих Восточного Берлина, Будапешта и Праги стали «фашистскими вылазками», свободный мир — лагерем поджигателей войны, НАТО — армией наемников-реваншистов, войска Варшавского пакта — гарантами мира, Стена Позора — Стеной Мира. «Социализм» построил рай на земле и, чтобы «избранные» были ограждены от соблазнов, окружил его колючей проволокой, сторожевыми вышками, занавесом — будь то занавес железный, шелковый, бамбуковый или тростниковый.

...Мы снова встретились — на этот раз на несколько месяцев — в больнице № 2 в Ново-Чунке, где был и транзитный лагерь для тех, кого выпустили Хрущев и Булганин, — не потому, как думают некоторые, что у них было повышенное чувство справедливости, и не из угрызений совести, и не из гуманности, а по необходимости. «Контингент заключенных» был непродуктивен, использовался нецелесообразно, а

многочисленные бунты и забастовки в лагерях грозили вылиться во всеобщее восстание.

Наша встреча была радостной и волнующей, хотя Ворон и не принадлежал к тому типу людей, которых называют экспансивными. Он очень редко оказывал кому-нибудь настоящее доверие, но те, кто знал его и заслужил его дружбу, знали и ту ценность, которую он вкладывал в это понятие. И если я был горд называться его другом, то и он был горд называться моим...

Одной из особенностей Юрия была его эрудиция. Со своей матерью он переписывался по-латыни. Это и стало причиной забавнейшей сцены, происшедшей в кабинете «кума» из МВД, куда я и еще трое наших товарищей сопровождали Юрия согласно установленному нами в то время правилу.

— Что ж это, вы тоже, Домбровский, участвуете в этой комедии — ходить в сопровождении свиты, когда вас вызывает офицер безопасности? Вы же не из Воркуты, насколько мне известно!

— Нет, и это то, о чем я больше всего сожалею из всей моей эковской карьеры, Бог знает какой долгой. Мне очень хотелось бы увидеть, как московское начальство было вынуждено послать делегацию из сорока ответственных работников высокого ранга, руководимую Генеральным прокурором СССР и замминистра внутренних дел, чтобы вести переговоры с бастующими политзаключенными.

— Шуточки!

— Шуточки? А ваши кремлевские хозяева, должно быть, иначе думали, если послали Руденко и Масленникова с письмом, подписанным Ворошиловым и Пеговым и дающим им право действовать от имени советского правительства и принимать на месте необходимые меры... письмо, которое они вынуждены были показать экам до начала переговоров.

— Пустяки!

— Так почему же вы позволяете четверем заключенным сопровождать меня и присутствовать при этом разговоре? Это вы называете комедией? Если бы политзаключенные ввели это правило раньше, вы давно были бы без работы, гражданин кум, вы должны были бы зарабатывать свой хлеб в поте лица, чего, как я понимаю, вам делать еще не приходилось.

— Хватит, Домбровский. Прекратите грубости. Я позвал вас не для того, чтобы вы тут речи произносили, а чтобы вы перевели мне это письмо, оно написано на иностранном языке.

— По-латыни.

— Вот-вот, по-латыни. Переведите.

— Категорически отказываюсь, гражданин начальник. Я никогда не был вашим сообщником, облегчая вам... работу.

— Я тебя закатаю, Домбровский...

— По-английский на «ты» обращаются только к Богу и пишут в стихах. Две области, вам абсолютно неизвестные. Стало быть, я ваших слов не слышал.

— Причем тут английский? Вы-то русский, или как?

— Русский. Но не советский. И вообще я намереваюсь стать британским подданным, ибо в этой стране соприкасаешься только с джентльменами, уважающими других, личную жизнь, переписку. Нормальные аспекты жизни, которые вам, разумеется, незнакомы.

— Вы думаете, что если вы освобождены и это... реа... реба... ратаби...

— Еще маленькое усилие, гражданин начальник. Вы узнали новое слово, которое должно присоединиться к пяти другим, вам уже известным: «донос», «протокол», «наседка», «провокация», «приговор». Р е а б и л и т а ц и я — это достаточно ясно?

— Ладно, раз вы не хотите переводить, я попрошу одного из этих... Вы вот — священник, вы должны

знать латынь? — сказал он, обращаясь к отцу К-ому, поляку из Кракова.

— Да.

— Переведите.

— Я не знаю русского языка.

— Если вы не знаете русского, что же вы здесь делаете?

— Я приношу им поддержку Церкви.

—(последовал виртуозный мат)

— Я не понимаю по-русски.

— Ну, погоди, у тебя будет время обучиться русскому в карцере. Ты, Морозов*.

— Я — по-латыни!? Вы что, начальник, у вас мухи в голове завелись? Я имя-то свое с трудом пишу! Вы должны открыть новое дело о саботаже на тех, что меня посадил и помешал мне выучиться латыни, что вам сегодня так было бы нужно, чтобы узнать стратегические тайны, которые зэка Домбровский, несмотря на скорое освобождение и реабилитацию, продолжает передавать своей матери.

— Ладно, ладно, Морозов. Но вы, хоть и освобождены, но не реа... не амнистированы. Подождите немножко.

— Вот уж десять лет, как я жду. Срок оттянул от звонка до звонка, так что уж не теперь мне штаны снимать.

— А вы, Б..., вы студент-фи...ло...г?

— Да, начальник.

— Переведите.

— Бандеровцы не сотрудничают с вами.

— Десять суток — слышишь? — десять суток карцера!

* Семен Морозов, мой добрый и храбрый товарищ, участвовавший во всех боях, был убит через три дня после освобождения двумя «суками» из группы «шпальников», которых мы сильно потрепали в транзитном лагере в Тайшете.

— Это меня очень удивило бы. Это не в вашей власти. Я — активированный, так что в лагерном списке меня больше не существует. Вы видите здесь только мою тень, а на самом-то деле меня здесь нет.

— Вас, Малумян, просить, разумеется, бесполезно. Как всегда, вы ответите «нет».

— Да, в первый раз я с вами согласен: я скажу «нет».

— Знаю, знаю. Вы пользуетесь отсутствием дисциплины и теперешним либерализмом, а это долго не продержится. А вам здесь еще долго сидеть. Погодите, я сделаю вам хорошенькое дельце!

— Еще одно?

Взбешенный «кум» опустил голову, подумал немного, потом вдруг засмеялся и крикнул рассыльного:

— Корнейчук!

— Здесь, гражданин начальник!

— Найди-ка мне Гусева, главврача, да побыстрей.

— Есть, гражданин начальник.

Капитан Мельник закурил «казбек», с наслаждением затянулся и оглядел нас всех ироническим взглядом.

— Вы думаете, вы самые хитрые, оборванцы, хитрей всех. Решили, что обвели вокруг пальца старого чекиста. Подумайте... если можете. Непонятно? Больничка равняется врач равняется латынь!

Довольный своим умозаключением, он самоуверенно засмеялся.

— Какая элегантная диалектика, — сказал восторженно Юрий и добавил: — Однофамилец вашего посыльного несомненно потерял свои крылья*... он оципан вами...

В кабинет вошел главный врач Гусев, человек незлой; славный парень, но не храбрец. К тому же, еще и очень плохой хирург — соединение качеств, позво-

* Имеется в виду А. Корнейчук, автор пьесы «Крылья».

лявшее ему занимать должность вольного главврача в больнице для заключенных.

— Здравствуйте, товарищ капитан. Звали?

Гусев с испугом осматривает нашу группу. Жалоба? При нынешних обстоятельствах опасно. Донос? На этих пятерых не похоже. Мы видим по его лицу, что он понемногу успокаивается. Водка, которую он выпил перед тем, как прийти на вызов кума, начинает оказывать действие. Девяностоградусный спирт с чуть подслащенной водой имеет двойную ценность: во-первых, за содержание алкоголя, а во-вторых, за бесплатность, поскольку предназначен для лечения эзков.

— Здравствуйте, доктор. Будьте добры перевести мне это письмо, написанное по-латыни.

— Но...

— Вы врач, значит, вы должны знать латынь.

Алкоголь явно приводил Гусева в состояние крайнего благодушия, так что он потерял всякую осторожность. Он был в той стадии эйфории, которая иллюстрируется двумя поговорками: «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке» и «пьяному море по колено».

— Латынь? Не особенно. А что, это очень нужно?

Мы все смеялись от души — за исключением капитана Мельника, разумеется. Даже Гусев улыбался, как будто он сыграл с кумом хорошую шутку.

— Вы что, серьезно, доктор? Вы шутите? Вы знаете латынь, вы должны знать латынь!

— Ох! Плохо, очень плохо. Ужасно.

— Но все-таки...

— Несколько чисто медицинских терминов, но остальное...

Латинское письмо Юрия так и не было переведено. Сомневаюсь, чтобы «родственничек» оставил его в досье без перевода — это служило бы свидетельством плохого исполнения кумом своих обязанностей.

13 декабря 1978 года вместе с Н. Горбаневской, В. Максимовым, В. Буковским, В. Делоне я был на показе фильма о китайской концентрационной «жизни», центральным персонажем которого был полуфранцуз-полукитаец Жан Паскалини. Мы оценили как «знатоки» эту боль, это унижение человеческого достоинства, позор лагерного мира, макиавеллизм «самокритики», превратившейся в коллективное доношительство, — все это напоминало нам наш собственный опыт.

Разве мы не спаслись из «трудовых лагерей» или психушек? И при том имели наглость не погибнуть, а явиться «живым укором», чтобы помешать тем, кто и сегодня, несмотря ни на что, продолжает петь Интернационал, — короче, явиться, как стыдливо говорят коммунисты, жертвами «отдельных недоразумений»? Отвлекаясь от всего, что отделяет меня от коммунистов, должен признаться, что у меня с ними есть одна общая точка соприкосновения: они, как и я, страдают абсолютной и непробиваемой глухотой; только у меня она физическая, результат многочисленных травм, а у них — нравственная.

Кадры фильма показывали измученного, сломленного, больного Паскалини и его товарищей, тайно приносивших ему еду и медикаменты и говоривших: «Ты должен выйти отсюда, чтобы рассказать свободному миру о том, что ты тут видел».

Сколько общего между его страданиями и моими! Француз, как и я, за одно это и арестованный, принимающий муки за то, чтобы им остаться... И, ощущая рядом теплое присутствие моих друзей-диссидентов, я вдруг, смотря эти кадры, перенесся в Восточную Сибирь двадцатью пятью годами раньше, в 6-й барак, где я боролся с болезнью и исход борьбы был еще совсем не ясен. Время от времени я выплывал из небытия, чтобы через мгновение погрузиться в него еще глубже.

Сквозь две наплывшие волны сознания я замечаю доктора Ц. и позади него — Дон Кихотского, Леонида В. и Мариана Г. Доктор Ц. говорит мне, улыбаясь:

— Ваши друзья достали для вас антибиотики и свежие фрукты.

Каждый раз, как я выплываю на поверхность, я вижу встревоженное лицо Дон Кихотского. Он вытирает мне пот со лба и дает попить кислого молока, не знаю каким чудом найденного.

— Дюваль, ты не можешь, ты не должен этого делать. Ты обязан бороться, ты не имеешь права умирать. Ты должен выжить, чтобы когда-нибудь вернуться во Францию и свидетельствовать за тех, кто не сможет, не сумеет или не захочет свидетельствовать.

Я остался жив и начал выздоравливать, и, несмотря на запрещение «кума» посещать меня под страхом карцера, мои товарищи-забастовщики каждую минуту приносили мне то еду, то сласти, выменянные у расконвоированных уголовников на одежду, даже... бутылку крымского вина, «чтоб кровь стала погуще», как сказал Витя К-ов. Живительное тепло дружбы затягивало провалы боли, и ясно было, что дружба неразрушима, пока существуют на свете такие люди.

Каждый час Ворон являлся с новостями о великом множестве освобожденных, реабилитированных, активированных, репатриировавшихся иностранцев... Короче говоря, великое передвижение. Великое передвижение, увы, также и в перенаселенных бараках с тяжелобольными, физически и морально сломленными, которые стекались из лагерей, рассыпанных по всему району, чтобы умереть в этой больнице, не сумев уже воспользоваться своим «освобождением».

— Дюваль, у меня хорошие новости. И еще одна не очень хорошая.

— Начинай с хороших, Ворон. Узнать дурную никогда не поздно.

— Петр М. написал мне письмо из Москвы. Он уже там. Многие из освобожденных наших проезжают через Москву, он ходит на вокзал всякий раз, как приходят поезда из наших краев, — точен, как швейцарское расписание поездов. Он встретил Сашу А., Митю Б. и многих других.

— Потрясающе! Дай Бог, чтобы надолго! А не очень хорошая?

— Это скотина Воронин, стукач гнусный, — его реабилитировали. Он уезжает с ближайшим эшелонном.

Мои соседи слушают нас и комментируют новости. Среди них — два венгра, японец, два корейца. Это все ребята, на которых можно рассчитывать в борьбе со всем, «что есть коммунизм». Их ненависть к СССР столь велика, что они, к сожалению, смешивают советское с русским, Россию с СССР, как многие люди на Западе, и из-за этого не любят говорить по-русски — кроме как с такими парнями, как Юрий, который принадлежит к многочисленным сынам России, умеющим внушить любовь тем, кто видит свой долг в ненависти.

— Как, Воронин? Он — свобода? — выговаривает японец. — Он один вагон с меня. Моя его режет голову.

— Сколько братьев наших погибло из-за таких вот мерзавцев, иуд этих. Сколько жертв вообще на совести этой системы? Неужели мы никогда этого не узнаем? — говорит Морозов и печально качает головой.

— Разумеется, узнаем, — говорит Юрий, — каждый из нас может сделать простой расчет с помощью обыкновенной арифметики... и данных, официально опубликованных. Население страны в 1917 году составляло что-то около 140 миллионов человек. Средний процент демографического роста по Союзу статистика дает как 1,7. Умножим 140 миллионов на 1,7, получаем

ется 2 миллиона 380 тысяч. С 1917 по 1940 год — 23 года. Умножим 2 миллиона 380 тысяч на 23 и получаем 54 миллиона 740 тысяч, прибавляем их к 140 миллионам — это будет 194 миллиона 740 тысяч. Такова цифра, представляющая количество населения Союза в 1940 году.

— Почему 1940? — спрашивает Ким.

— Потому что в 1939-40 годах было присоединено множество территорий и стран. По милости Сталина и при соучастии Гитлера (не говоря уж о бессилии Запада помешать этому), население всех этих территорий стало советским — это дает что-то около 20 миллионов. Стало быть, вместе получается 214 миллионов 740 тысяч. Это ясно?

— Ясно, ясно.

— Так. Теперь умножим 214.740.000 на 1,7 и получим 3.650.580 новых граждан в год. С 1940 по настоящий 1955 год — 15 лет, умножим на 3.650.580, получается 54.758.700, прибавляем к 214.740.000 и получаем общий результат — 269.498.700, скажем — 270 миллионов населения. Но вы, как и я, читали в газетах, что население этой страны — 200 миллионов.

Холодный пот выступил у всех на лбу. Мы онемели от этой простой логики.

— Юрий, — сказал дрожащим голосом Морозов, — не хватает 70 миллионов. 70 миллионов мертвых. 70 миллионов, — повторил он.

— Да, Семен. Конечно, была война, унесшая 20 миллионов наших. Конечно, была эмиграция во время революции и еще все, кто остались на Западе в 1945. Но это не должно составлять больше 5 миллионов. Разумеется, Кремль с годами будет увеличивать, вздуть даже цифры военных потерь, чтобы восполнить количество «недостающих», поскольку вычисления, которые мы только что произвели, может сделать кто угодно. И тем не менее никуда не уйти от того, что не хватает 45 миллионов человеческих жиз-

ней — прямых жертв Ленина, Сталина и их сообщников-наследников, которые нами теперь управляют. Таков трагический результат надежды, которой была на заре своей Октябрьская революция. И нас теперь по лагерям и ссылкам — около 15 миллионов. Итог коммунизма настолько чудовищен, количество жертв выразится в таких астрономических цифрах, что никто не захочет поверить в это, когда мы начнем об этом говорить*.

— Русски виноваты, — сказал Шаня Т., венгр.

— Нет, братишка, ты ошибаешься, — сказал Юрий, мягко и печально, обняв его за плечи. — Ты ошибаешься, — повторил он, — ты неправ, и ты обижаешь нас — Семена, Володю, Петю и меня: мы русские и гордимся этим. Не забывай ужасов нацизма — но не все немцы были нацистами, и не все нацисты были немцами. Преступления коммунизма здесь и везде превосходят по своим масштабам все, что существовало в древней и современной истории. Именно поэтому я и хочу, чтобы помнили, что не все русские были коммунистами и не все коммунисты были русскими.

Вот уже в течение 23 лет — с той самой минуты, 17 февраля 1956 года, когда я проехал Бранденбургские ворота в машине, на которой плескался трехцветный флажок французского консульства в Западном Берлине, — я не перестаю говорить это, Дон Кихотский!..

Сидя в морге — одном из редчайших мест, где можно было разговаривать, не боясь чужих ушей, — Дон Кихотский разбирал свои заметки и письма. Завтра он уезжает из лагеря. Я чувствовал в Вороне нечто необычное. Неловкость, почти стыд человека, выходящего на «свободу», по отношению к другому, остаю-

* Как нам теперь известно, цифры эти были «скромными», если можно так выразиться.

щемуся на каторге. Встреча наша была, понятно, печальной: разлучаются два добрых друга, что-то ждет обоих в будущем? Я был, разумеется, счастлив за него, и все-таки — слаб человек и грешен! — я ощущал некоторую зависть, и это заставляло меня краснеть.

Вбежал запыхавшийся Иван М. и выпалил:

— Арман, посыльный кума повсюду ищет тебя.

— Который посыльный? От МВД или МГБ?

— МГБ.

— Пакость в перспективе. Ну что ж, подготовимся выйти на арену. Бедняга Нос, даже накануне твоего освобождения и то нельзя быть спокойным.

— Я уже предупредил, — сказал Иван, — Петю, Володю, Семена Морозова и вместо Юрия — Мариана Г., чтоб они пошли с тобой. Они ждут тебя перед столовкой.

— Спасибо, Ваня, хорошо, что догадался предупредить Мариана.

— Как это — вместо меня? — сказал Юрий. — Насколько мне известно, я еще здесь. Я пойду с Арманом. Даже речи быть не может, чтобы я пропустил свою очередь*. Это просто невысказано — чтобы я не участвовал в последних «дебатах» с нашими «приятелями».

— Я тебя прошу, Дон Кихотский, оставь Россинанта в конюшне. Завтра ты освобождаешься, нельзя позволять себе такую неосторожность. Это же не из МВД кум, а из МГБ, так что все гораздо более серьезно и опасно, особенно для тебя.

— Прокурор сказал, что я освобожден и реабилитирован. Стало быть, я — «гражданин», ошастливленный всеми правами... или, скажем, почти всеми. И мой долг гражданина страны, «где так вольно ды-

* Роль сопровождающего при вызовах кого-либо из заключенных к куму каждый исполнял в течение недели.

шит человек», выразить мое глубокое расхождение с этими... господами.

— Слушай, Юрий, брось ты это! Я тебя... — начал Иван.

— Хватит, кабальеро! Должен ли я это так понять, что, будь ты на моем месте, ты не пошел бы провожать Армана к куму? Я вас слишком хорошо знаю — тебя и Дюваля. Ну, ладно, не будем заставлять ждать наших друзей и господ из МГБ.

— Юрий!..

— Нет. Пошли. И не забудь, Дюваль, — «в конце посылки...».

Никакие просьбы Ивана, никакие мои попытки урезонить его не поколебали его решения. Настоящий арагонский осел.

Несмотря на жару, я надел иванову телогрейку — на случай, если сразу в камеру, — насыпал в карманы махорки, положил газетной бумаги на закрутки, три портянки и несколько спичек. Два кусочка грифеля, спрятанные в стельках сапог, позволят мне передавать друзьям записки. Я проглатываю кусок хлеба с остатками еды из иванова котелка и три куска сахара. Теперь я готов — до следующего «банкета».

Заходим к куму. Дверь открыта. Первым видим лейтенанта Ящука, сидящего за своим столом. Рядом с ним стоит главный бухгалтер лагеря, вольный. Немного дальше, на табуретке, — какой-то незнакомый майор. Майор, возможно, из оперативного отдела Озерлага, физиономия у него вполне подходящая. По особым поручениям, наверное. Но зачем главбух? Это не обещает ничего хорошего.

— Привет, Малумян. Входите, входите, — говорит кум весьма сердечно, что никак не вяжется с его персоной.

— Вызывали, гражданин начальник?

— Да. Вы вот всегда кричите о беззаконии и протестуете по делу и без дела, но на этот раз вы уж не

сможете обвинить МГБ в том, что оно вам одни неприятности приносит!

— ?!?

— Нате, смотрите хорошенько. Вот перевод на 200 рублей из французского посольства в Москве. Ну, что вы на это скажете? Не верите, а? Возьмите-ка и читайте.

Он дает мне перевод. Сердце мое бешено бьется. Перевод из моего посольства! Мои родители действуют. Посольство знает, где я, и дает мне знак. Все мое существо переполнено ощущением счастья. Я читаю вслух, слегка дрожащим голосом: «Посольство Франции, Москва, Большая Якиманка...»

Майор встает с табуретки и подходит ко мне:

— Вы француз?

— А вы будто бы этого и не знаете. Кстати, это подтверждается переводом.

— Может, это. А может, и то, что вы — агент французской разведки. Иначе с чего бы это вдруг французскому посольству переводить деньги вам, заключенному?

— Бросьте, гражданин начальник. Свои потертые фокусы оставьте для наивных новичков, а не для таких «образованных», как я.

Я держу перевод двумя руками, как собака, вцепившаяся в кость. Я даже не слышу, что еще там говорит этот майор. «посольство», «Москва», «Франция» — пляшет у меня в голове.

— Возьмите и распишитесь, — говорит мне главный, протягивая одну сторублевую и две пятидесятирублевые бумажки. — И здесь тоже распишитесь, — прибавляет он, — на уведомлении о вручении, что вы действительно получили двести рублей в собственные руки.

Ставя свой росчерк, я вдруг понимаю, что посольство таким образом получит подтверждение моего

ареста и заключения и убедится в том, что в день, обозначенный здесь, я был жив.

— Дай посмотреть, Арман, — говорит Юрий серьезно.

Я протягиваю ему извещение. Он читает и вдруг *почтительно его целует*.

— Что это с вами, Домбровский? Спятели вы, что ли? — спрашивает кум.

— Вам нелишне будет узнать, что даме всегда целуют руку. Но Франция — дама, и — великая. Она научила нас, русских, как, впрочем, и остальные народы, что такое Свобода. Я должен был воздать ей эту почесть.

На следующее утро Юрий покидал лагерь. Я проводил его до ворот и обнял в последний раз его и других освобожденных товарищей. Они были уже за зоной, и дежурный офицер ставил птички в списке. И совсем так же, как тогда, когда я увидел его в первый раз, — поверх всех голов я увидел его голову, голову ворона, окруженного воробьями и голубями.

Перед тем, как ворота закрылись за ними, Дон Кихотский повернулся и крикнул:

— Братья, Арман! Дверь приоткрыта, мы выйдем и порвем все цепи. Мир должен узнать, и, если кто-то из нас потеряет жизнь на этой дороге, другие должны дойти. Вся правда о том, что здесь происходило и продолжает происходить, должна быть сказана — вся, без остатка. Мы должны победить страх и нарушить молчание, чтобы построить справедливое и надежное будущее. Прощай, Дюваль! Прощайте, братья!

Он поклонился нам и застыл с опущенной головой, из глаз его падали слезы на землю Сибири, впитавшую уже столько крови...

Я никогда больше не видел Юрия Осиповича Домбровского, не слышал его голоса.

Будьте прокляты! Своими тюрьмами вы уничтожили право надежды на жизнь, среди миллионов других, и этому замечательному человеку. Даже слезы, чтобы оплакать его, вы у нас украли.

Я хотел бы поклониться его могиле и выгравировать на камне:

«ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ ЮРИЙ,
НАШЕДШИЙ МОГИЛУ ДОН КИХОТА.
ИБО В НЕЙ ОН ПОКОИТСЯ.»

Известная по отдельным главам в Самиздате книга Льва Халифа «ЦДЛ», публикуется впервые издательством «Альманах».

Лев Халиф

«ЦДЛ»

ЦДЛ — книга о нравах и жизни писателей в СССР, их взаимоотношениях между собой и с руководящей элитой, о крушении и гибели многих талантливых писателей и незаслуженном признании бездарности и посредственности.

Десятки известных и неизвестных имен предстанут перед читателем в их неповторимой человеческой красоте или омерзительной тупости и бездарности.

Цена книги 7 дол. 80 центов

В стоимость включена пересылка в пределах США и Канады. Для пересылки книги в другие страны к заказу следует добавлять 1 дол.

**Книга распространяется издательством «Альманах»
исключительно по подписке.**

Срок выхода книги: 3-й квартал 1979 года

Заказы просим направлять:

ALMANAC-Press, P. O. Box 480264, Los Angeles, California 90048

ПАМЯТИ ТОЛИ ЯКОБСОНА

Он был жителем несуществующей страны — России. Но она была для него бóльшей реальностью, чем страна, в которой он пребывал телесно.

Толя Якобсон родился через 18 лет после события, которое он неизменно называл октябрьским переворотом: перевернулся огромный исторический пласт и погреб под собой Россию, а на поверхности его возник — СССР. Советская система породила удивительный психологический феномен — тоску по Родине, в которой не жил, но которую ощущаешь в себе как единственную духовную реальность.

Когда я эмигрировал в Европу, Толя, живший уже в это время в Израиле, написал мне: «Европа — живой организм только по сравнению с Советским Союзом (заметь: НЕ пишу — с Россией)». А ведь он не жил никогда ни в России, ни в Европе — он просто мыслил категориями, выработанными русской патриотической мыслью конца XIX — начала XX века.

Ностальгией по России Толя болел еще в СССР.

Советскую Москву он видел одной из зон огромного лагеря для бывших русских людей. Как-то мы шли с ним по Ленинскому проспекту из школы, где вместе работали, к нашему общему другу. Он сказал мне: «Видишь — вдоль тротуаров колючая проволока?» Я не видел...

Вырвавшись из этой зоны, Толя уехал в Израиль. Но как сказал глубоко им чтимый Ю. Марголин: «Израиль — не санаторий. Люди, приезжающие сюда в плохом настроении, рискуют найти много поводов для добавочных огорчений». Этим «добавочным огорчением» стали для Толи не экономические или бюрократические неурядицы в молодом государстве — он вообще был безразличен к внешним благам, — а отчаянное сознание еще большего отрыва от России, чем тот, что ощущался в Москве. «Для меня Израиль, — писал он мне, — самая лучшая из чужбин». С первого же дня жизни вне России он ощущал «ужас инопланетности, инобытия».

Он уехал из СССР, потому что знал, что в этой стране нет будущего для его сына: советская система не дает той альтернативы, на которой настаивает Артур Кестлер в «Иуде на перепутье». К тому же за правозащитную деятельность Толя грозила тюрьма.

Но отъезд из одной заграницы в другую казался ему кошмаром. Он писал мне: «Мне только 40 лет, всего лишь сорок, физически я здоров, как кабан, и моя заграничная командировка может — выговорить чудовищно! — затянуться на десятилетия». А за сына он радовался: «Главное — он на своей почве, в своей стране, не изгой, не эмигрант».

Толя жил в стихии русского языка, русской поэзии и повторял вслед за Блоком: «Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня та же лирическая величина. На самом деле — ее нет...» В книге «Конец трагедии»* он разъяснял: «Лирическая величина — величина производная от величины сущей». Сущностью для него была Россия как некая субстанция, не воспринимаемая чувственным опытом, но целиком определяющая опыт духовный. В эмиграции Толя стал терять ощущение важности этого опыта для мира и укрепляющей его силы для него самого, а потому (писал он мне) «здесь существование мое — противоестественно».

Жизнь и гибель Толи Jakobсона — опровержение расистских толкований национальной сущности: в мистическом чувстве причастности к определенной нации никакой роли не играют ни кровь, ни предки по плоти. Анатолий Jakobсон — «лицо еврейской национальности» — был носителем лучших черт русской интеллигенции, и только русский — и никакой иной — дух цементировал его земную жизнь, был ее оправданием. Немецкий историк Берндт Энгельман в книге «Германия без евреев» первым, кажется, поставил вопрос не о том, как страдали лица еврейского происхождения при нацистах, но и о том, сколько потеряла сама Германия, лишившись верных своих сыновей, чьи предки были евреями. В книге Энгельмана приведены слова Курта Тухольского, «немца еврейского происхождения»: «Не только член правительства, облаченный в строгий сюртук, или почтенный ученый советник и господа и дамы из «Стального шлема» явля-

* Анатолий Jakobсон. Конец трагедии. Изд. им. Чехова, 1973.

ются Германией. Мы тоже ее часть. Вы раззявите рты и орете: «Мы, только мы любим эту страну!». Но это неправда... С таким же правом мы, которые лучше пишем и говорим по-немецки, чем большинство националистических ослов, с таким же правом мы называем то, что владеет нашей душой: эти реки и леса, эти берега и эти дома, эти проселки и эти луга — это наша страна!.. Страна эта многоликая. А мы — одна из ее частей. И при всех противоречиях стоит непоколебимо, без знамен и фанфар, без сентиментальности и пылающего меча — наша тихая любовь к нашей Родине».

Для городского жителя Толи Яacobсона, возможно, не леса и проселки определяли Россию. Он был причастен к ней через ее мысль, ее искусство, ее поэзию.

В одной из своих лекций, намекая на наши с ним споры об отчуждаемости идей, он с гордостью говорил о толстовском учении, из которого, как ни старайся, не сделаешь бандитских выводов, весьма возможных при оперировании некоторыми западными «прогрессивными» идеями: «Среди присяжных толстовцев было немало позеров и святош. Но среди них не было ни одного палача, ни одного убийцы. И не могло быть! Толстовское учение нельзя обратить в сторону насилия, как его ни крути. В этом направлении идея неотчуждаема, никакой хунвейбин не в состоянии превратить ее в инструмент своей политики».

Русская религиозная философия казалась ему высочайшим в истории человечества открытием смысла жизни и сущности человека. Убить русскую религиозную этику — убить Россию. Убийцами Толя видел тех, кто руководствовался «идеями» классового гуманизма. Анализируя стихотворение Марины Цветаевой «Ох, грибок ты мой, грибочек», Толя говорит: «Это было то, что сейчас принято у нас уничижительно называть «абстрактным гуманизмом», хотя это как раз самый конкретный гуманизм, направленный непосредственно на человека... Сейчас, после того, как красные убили больше красных, чем белых, и больше, чем белые убили красных, это стихотворение Цветаевой читается другими глазами».

В блестящей лекции о романтической идеологии, читанной им в Москве и позже опубликованной в книге «Конец

трагедии», Толя высказал, возможно, главную свою боль — боль по убиенной русской гуманистической идее.

Это была одна из лекций, которые он читал ученикам одной московской физико-математической школы. Раз в две недели после уроков актов зал школы наполнялся старшеклассниками: они шли не на очередное «мероприятие», куда обычно нужно загонять силком, — они стекались, как первые христиане в катакомбы, к скрываемой и преследуемой вере. Шли с родителями, соседями, знакомыми. Для Толи Якобсона это были, по его признанию, счастливейшие минуты его жизни, минуты раскованной правды, пира искренности, праведного гнева, убийственного юмора, высокой поэзии. Создавалась иллюзия, что мы перенесены в Россию Серебряного века: те же проблемы, те же чувствования, те же поэты. Толя читал о Блоке, об Анненском, о Пастернаке, о Маяковском, о Есенине, о Цветаевой, об Ахматовой. Ему удавалось то, что удается не каждому литературоведу, — сочетать адекватность, тончайший анализ структуры поэтического текста, без привнесения в него литературоведческих домыслов, с раскрытием своей души, души исследователя, читателя, современника. (Это свойство присуще и опубликованным в СССР переводам Якобсона из Эрнандеса.) Слушатели даже не понимали, чем они так захвачены: поэзией, о которой шла речь, личностью человека на сцене или счастьем прикосновения к русской правде.

В лекции о романтической идеологии Толя Якобсон говорил о совести, об ответственности каждого человека только перед собой. Подчинение чужой воле — шаг к преступлению перед человечеством: «Это называется отчуждением личности — когда человек отрешается от собственного «я» и действует, заражаясь, заряжаясь чьей-то волей; передоверяя свою совесть и свой разум какой-то высшей силе, какому-то верховному закону, как его ни назови. Я говорю «передоверить», потому что индивидуальная совесть, индивидуальный разум доверены каждому из нас самой природой». И это говорилось людям, которые вот сейчас, направляясь на эту лекцию, читали на огромном плакате, протянутом через весь Ленинский проспект: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи»! Это открыто говорилось в то время, когда люди шептались по углам о процессе Даниэля и Синявского, когда еще слышалось эхо от монолитного воя людей вслед трави-

мому Пастернаку, когда Солженицын своим письмом IV съезду советских писателей пытался напомнить об этике писателя русского. Толя Яacobсон говорил о распаде личности у тех, кто не умел быть самим собой, о персонализме: «...художнику, мыслителю полезно бывает не идти в ногу со всеми, не маршировать в едином строю, а посмотреть на это шествие откуда-нибудь сверху или хотя бы со стороны... Со стороны в то же самое время — начиная с 17 года — раздавались голоса, которые плохо доходили до слуха современников, шагающих стройными колоннами по столбовой дороге прогресса».

Толя не просто излагал философии. Он взывал как трибун, убеждал как учитель.

Было в нем что-то от Маяковского «Облака в штанах», «Флейты-позвоночника» и «Про это»: то же несоответствие между обликом бойца, «агитатора, горлана, главаря» и поведеньем индивидуализма, та же склонность к ёрничеству, сочетающемуся с рафинированным вкусом и полным отсутствием пошлости, тот же полемический азарт, та же внешняя самоуверенность, скрывающая бытовую неприкаянность и повышенную ранимость, ...те же мысли о «точке пули в самом конце».

Но, в отличие от Маяковского, он был борцом против борцов, агитатором против агитаторов, главарем тех, кто ненавидел всяких главарей. И в лекции своей об идеологии романтизма он показал, что у тех, у кого Маяковский призывал учиться делать жизнь, можно научиться делать только смерть. «Во весь голос» издевался Толя Яacobсон над теми, кто пришел в Россию из коммунистического далека. Этот человек из будущего оказался «существом без имени. Безыменским». А на обсуждении в толстовском литературном музее в Москве моей книги о «Войне и мире» Толя, в частности, сказал: «Кое-кто полагает, что «Война и мир» была бы еще совершеннее, если бы Толстого осенила социал-демократическая благодать» (всем было ясно, кого имеет Толя в виду). Советских критиков и литературоведов, которые слишком заботились о борцовской направленности литературы, он называл «китайцами», разумея, конечно, Китай коммунистических хунвейбинов. В книге о Блоке он замечает, что различие между строго придерживающимися генеральной линии и уклонистами не столь уж велико: «Отличие питекан-

тропской генеральной линии от ее синантропской разновидности — чутошное».

Он разделял недоверие многих сегодняшних интеллигентов к политике. То, что он делал на лекциях, то, о чем писал, он не мог назвать политикой: «Когда государство расправляется с людьми — это политика. Когда человек хочет препятствовать этой расправе — это не политика» (из книги «Конец трагедии»).

Толя не принимал компромиссов со словом, с мыслью. Может быть, поэтому он был нелегок в общении с теми, кто на такой компромисс более или менее охотно шел. В предисловии к «Концу трагедии» он писал: «...я смолоду ориентировался на те представления о человеческом достоинстве и о профессиональной чести, без которых всякое литературное дело есть ложь». А жил он в том мире, где допускалось говорить правду в лучшем случае в обмен на некоторые уступки в пользу лжи. В школе, где он преподавал историю и русскую литературу, ему разрешалось говорить без оглядки, но ставилось условием... считаться с обстоятельствами. Он искренне соглашался, но как только доходило до дела, срывался в... полную правду. Однажды после уроков в день очередной Толиной лекции должна была состояться дискуссия об эстетической теории Чернышевского. Мы договорились с Толей, что после его разгромного анализа этого псевдофилософского примитива, лежащего в основе русской материалистической эстетики, выступит один из коллег-словесников в качестве оппонента: надо было, чтобы «там» увидели, что был «дан отпор»: мы все дорожили школой, в которой, в частности, сам Толя мог работать относительно свободно. Толя, по видимости, с полным пониманием отнесся к этой идее. Но когда его оппонент начал (весьма неубедительно) доказывать то, во что сам не очень верил (и Толя это знал!), Толя не выдержал: сидя среди слушателей, он сначала застонал (на весь зал), потом стал выстреливать остротами, но в конце концов не выдержал, ворвался на сцену и, как это часто с ним бывало в минуты полной растерянности от чего-то крайне абсурдного, схватил себя за волосы, заметался и, заикаясь от гнева, довел разгром материалистической эстетики, а заодно и ее незадачливого защитника до беспощадного финала.

Он был страстен и неуправляем.

Он принял участие в составлении первых «Хроник» как раз потому, что был, как говаривали в старину, «консеквентен». Он не смог бы стать подпольщиком — его натура была для этого слишком экстравертна. Он был открыт для всех, ничего не умел скрывать, если это касалось того, чего никак нельзя было скрывать. Ему глубоко противна была толпа с ее «пошлым опытом, умом глупцов», с ее хамством и склонностью к коллективному насилию. И это вовсе не потому, что он был труслив или слаб физически. Мне рассказывал один наш общий друг, как Толя уложил коротким хуком на платформу одного из закавказских вокзалов человека, назвавшего кого-то «жидовская морда». В работе о Блоке он говорит о трагизме надежд великого поэта на то, что «в огне революции чернь преобразится в народ»: после революции «надежде и вере пришел конец... Чернь осталась чернью, хамство — хамством. Поэт погиб». Одним из самых ярких проявлений хамства Толя считал идею насилия, эту, по мнению марксистов, «повивальную бабку истории». Он выступал против той части русских интеллигентов, которые «посмели отринуть (пусть только в мышлении) завет своих предков, духовных и кровных, и прельстились мракобесием, поверив, что бывает на свете «возвышенное злодеяние» (Ницше)». Он напоминал: «Если мы не одичали вконец, то это потому, что духовная атмосфера, нравственный климат нашей эпохи созданы не только фюрерами всякого рода, но — в большей мере — Львом Николаевичем Толстым». Благодаря Толе Якобсону, и поныне весьма чтимые поэты 20-х годов: Э. Багрицкий, М. Голодный, Н. Тихонов — войдут в будущую историю советской литературы не как этакие певцы народной свободы, а как барды насилия, поэтические выразители фашистской и империалистической этики (см. его работу «О романтической идеологии»).

Были у него слова, особенно ему дорогие: гуманизм, либерализм, интеллигенция, цивилизация. Покушаясь на них, говорил он, «неизбежно покушаешься на человечность, свободу, духовность».

Он очень всерьез относился ко всему тому, что было связано с утверждением этих понятий.

Толя Якобсон был вполне ренессансным человеком, и полнота его плотских потребностей ничуть не ограничивала взрывов его духовных сил. Он брезгливо относился ко всякой

половинчатости, требовал от людей безоглядной погруженности в мысль, в страсть. Я помню, как он чуть было не вышвырнул из класса ученика, который во время урока о французской революции был недостаточно внимателен: «Как ты смеешь смотреть в окно, когда мы говорим о Дантоне!». Он нервно морщился, вскакивал и начинал метаться по классу, когда ученик допускал небрежную формулировку, безответственное высказывание о самых значительных вещах. Возраст собеседника не мог служить оправдывающим обстоятельством: Толя возмущался невежеством ученика восьмого класса с той же нетерпимостью, как и невежеством учителя. Ученики никогда не обижались на него, и я часто видел на лице обруганного Толей школьника выражение своего рода гордости из-за того, что он был обруган на таком высоком уровне. Учитель Яacobсон не ставил никаких оценок, кроме «5» и «2». Подчас он не замечал, что «пятерку» ставил не отвечающему ученику, а себе: бывало, ученик изрекал поразившую Толю мысль и замолкал, не зная, как ее раскрыть, а Толя, метнувшись со своего учительского места, на целый урок разражался блистательной лекцией, в которой развивал тезис, вряд ли столь глубоко осмысленный самим учеником, получавшим как соавтор все же высший балл.

На его уроках истории прошлое, настоящее и будущее спрессовывались так прочно, что совершенно отчетливо переходили одно в другое. Когда Толя говорил об опричнине или коллективизации, слушатели знали, что речь идет о сегодняшнем и будущем России. Причем никогда он не занимался дешевыми аллюзиями: он был весьма строг при оперировании историческими фактами.

Рядом с огромным чудом Солженицына чудо таких людей, как Толя Яacobсон, подобно подлеску у корней могучего дуба, выросшего на бесплодной земле. Толя писал в своей книге «Конец трагедии»: «Когда явился Солженицын и спас честь русской литературы, его явление было как чудо. Оно было более изумительно, чем явление таких гениев, как Мандельштам и Пастернак, потому что эти двое сформировались на почве, из которой росли большие деревья, и сами вымахали до небес. Не диво! Солженицын вырос на мертвой, выжженной земле, где и трава-то, казалось, не растет».

На этой земле вырос и Толя Яacobсон.

И, знать, не так уж безнадежно мертва эта земля.

Учитель не умирает весь. То, что дал Толя всем, кто его слышал и умел слушать, останется в людях. В них будет жить его духовное завещание: «жить и беречь, как зеницу ока, последнюю человеческую свободу: свободу творческого духа, основание которой — *свободная совесть*. Эта свобода — последняя; она — высшая из всех свобод, потому что сопряжена душе человека; и еще потому она последняя и высшая, что человек, даже потеряв все остальные свободы, не может расстаться с ней (расстаться с совестью), оставаясь человеком» (из работы о Блоке).

От редакции: Полностью разделяя с автором этой статьи оценку личности и значения Анатолия Яacobсона для современной русской культуры, мы пользуемся случаем, чтобы выразить нашу глубокую скорбь по поводу его безвременной и трагической кончины.

ФАЙН Герман — педагог, публицист (псевдоним — Герман Андреев), литературовед. Родился в Москве в 1928 году. После окончания Педагогического института преподавал русский язык и литературу в московских школах — и, в частности, в специальной математической школе № 2, прославившейся творческими поисками и относительно независимой гуманистической мыслью, за что она и подверглась идеологическому и организационному погрому.

В 1975 году эмигрировал из СССР. В настоящее время преподает русскую литературу в нескольких западногерманских университетах.

Колонка редактора

Музыкальное чудо России

Восход Галины Вишневской был триумфальным. Она покорила слушателя сразу и навсегда. Двадцать пять лет назад певица переступила порог Большого театра, и с тех пор голос ее звучал в лучших оперных и концертных залах всех пяти континентов, завораживая нас своей необычайной силой и глубиной. В нашей стране она достигла всего, о чем может мечтать актриса: прима-солистка, профессор Московской консерватории, Народная артистка Советского Союза, кавалер ордена Ленина и так далее, и так далее. Ни один сколько-нибудь значительный правительственный концерт не обходился без ее участия. Казалось бы, все предвещало ей одни только лавры и почести.

Но в стране, где мерилом человеческой ценности является идеология, судьба любого творца зависит не от собственного артистического потенциала, а от степени его лояльности к существующей политической системе, основополагающая заповедь которой гласит: «Кто не с нами, тот против нас!»

В причудливом кружении нашего смутного времени жизнь свела Галину Вишневскую и ее мужа Мстислава Ростроповича с Александром Солженицыным, с которым в его трудные дня они поделились кровом и дружбой. Властям этого оказалось достаточно, чтобы свести их творческую деятельность до минимума, а затем выставить из страны и вскоре лишить советского гражданства.

Власти рассчитывали, что, оказавшись вдали от родины, от близкой среды, от истоков своего искусства, дарование двух великих артистов иссякнет и сойдет на нет, после чего они сами слезно запросят обрат-

но, и тогда им можно будет продиктовать условия капитуляции.

Но кремлевские мудрецы просчитались и на этот раз. Победное шествие Галины Вишневской (о творческой судьбе ее мужа Мстислава Ростроповича за рубежом мы уже писали в тринадцатом номере «Континента») по лучшим подмосткам мира продолжается. Перед слушателем открылись новые грани ее феноменального дарования. Здесь, за пределами родины, в ней как бы пробудилось второе дыхание, благодаря которому талант ее обрел еще большую силу и красоту.

Но где бы она ни пела — в Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро или Берлине, — она прежде всего поет для своей страны и своего народа, и никакие запреты не в состоянии заглушить ее голос, ибо это голос самой России.

Критика и библиография

НУЛЕВОЙ ЧАС

*...он не выдержал, сказал, наконец,
долгожданное: «Все — говно».*

А. Битов. Пушкинский дом

Странно и сладостно продолжение этих «записок на манжетах»*, то «из мертвого дома», то «из подполья», именуемых русской прозой. Радостно и страшно чтение романа Андрея Битова. Отточенность стиля, новизна формы, интеллектуальность юмора, точность психологической нюансировки, серьезность замысла и глубина мысли отличают это столь неожиданное и столь долгожданное повествование о разорванном времени, интеллигенции и Культуре.

Как в ранних рассказах начала 60-х годов Битов не скрывал, а скорее подчеркивал свое пристрастие к Достоевскому — так и полифоническая структура «Пушкинского Дома» есть уникальная в своем успехе попытка следования творческому методу Достоевского, плодотворное развитие романного жанра не подражателем, а влюбленным учеником и исследователем. Достоевский интересует и вдохновляет Андрея Битова именно как исследователя, и роман Битова являет собой как бы экспериментальное подтверждение знаменитой теории поэтики Достоевского, разработанной М. М. Бахтиным. Герои и равноправно вовлеченный в их круг Автор представляют собой, прежде всего, диалогически взаимодействующие, самостоятельные и независимые сознания, точки зрения на мир и самих себя, живущие и развивающиеся в действии романа.

Андрей Битов. Пушкинский дом. «Ардис», Анн Арбор, 1978.

* Бумаги нет по-прежнему...

Стремлением к поступку* — созданию романа — поставленный перед вопросом пролога: «Что делать?», подчеркивая этим следование русской литературной традиции и извечность жизненных коллизий, — Автор разворачивает жизнеописание Льва Николаевича Одоевцева, «из тех Одоевцевых, ... наследника рода». Выбор героя не случаен, а обусловлен поисками характера лучшего и сознания высшего: «...проявилась одна замечательная, лишь на первый взгляд противоречащая распространенным представлениям черта аристократизма — живучесть... Между тем, в высшем понимании, аристократизм и является высшей формой приспособленности и самой жизненной формой... Эта-то их (русских аристократов. — А. Г.) способность и проявилась. Они ничего не приняли из перемен, но остались жить в измененном мире с тем, чтобы сохранить в себе хотя бы те присущие им и несущие их структуру черты, которые словно бы могут являться общечеловеческими, как-то: честность, принципиальность, верность слову, благородство, честь, мужество, справедливость, умение владеть собой... Они потеряли все, но эти черты им хотелось бы потерять в последнюю очередь: это была их природа...»

Время — центральная точка, важнейшее понятие, к постижению которого стремится автор в своей истории «воспитания чувств» Левы Одоевцева. От «кое-каких неприятных перемещений» деда «в сторону замечательного предка, так сказать 'во глубину сибирских руд'», через «определенную и неблагоприятную роль», которую сыграл в драме с дедом «его сын, Левин отец, в юности отказавшись от него, а через двадцать лет заработав себе кафедру критикой его школы», — прослеживает Битов неотвратимость превращения жизни своего героя в «цепь побегов, предательств и измен». Ибо «когда интеллигент впервые вступил в дверях в разговор с хамом, стал объясняться — тогда и началось»: произошла трансформация, перерождение до исчезновения не только исторических и социальных традиций, но и индивидуальных моральных качеств.

* «Способность к поступку — основной признак мужчины. Все остальное можно считать вторичными половыми признаками...». — А. Битов. Путешествие к другу детства. (1964).

От изображения времени в связях семейных: «Отец — это и было само время. Отец, папа, культ — какие еще есть синонимы?» — автор переходит к исследованию времени в отношениях личных и общественных, к хронике любви Одоевцева, к его дружбе-вражде с Митишатьевым — соучеником, сотрудником («общее паразитирование на теле русской литературы»), совладельцем любимых и нелюбимых женщин. Прустовски точный анализ любовных переживаний героя, направленный, казалось бы, к изящному парадоксу в стиле замечания Свана о времени, впустую растроченном на женщину «не в его вкусе», разрешения не имеет. Одоевцев, подобный персонажу Пруста природной способностью чувствовать и некоей культивированной избранностью, отличается от него отсутствием внутреннего нравственного идеала — хотя бы эстетизмом питаемого; отсутствием микромира внутреннего и внешнего, для подлинной избранности необходимого, но непрерывно разрушаемого переменчивыми ветрами социального бытия. «Человек ... вынужден, как бы юридически, не доверять собственным, свойственным ему, точным по природе ощущениям и чувствам, разучается руководствоваться ими в своих поступках, то есть перестает их совершать — СВОИ поступки. Это и приводит к отмиранию естественно нравственной человеческой основы, являя собой классический образец ДЕЗОРИЕНТАЦИИ человека как биологической особи. И если нас вот сейчас спросить, о чем же весь этот роман, то мы бы сейчас не растерялись и уверенно ответили бы: о дезориентации».

Авторские размышления и комментарии, цитаты и литературные реминисценции, образцы литературного и литературоведческого творчества персонажей, версии и варианты сюжетных поворотов, приводимые автором, определяют новаторскую форму повествования. Причудливое, порой контрастирующее сочетание структурных элементов романа необычайно отчетливо проясняет смысл социально-исторический — предел падения, безжизненность, безвремяе, нулевой час общества и личности. Моменты бытия, реальности, безрезультатно преследуемые Автором «в поисках настоящего времени», неизменно и неизбежно оказываются, по логике повествования, прошедшими, недостижимыми, неосуществимыми, несуществующими — не может быть настоящего в мире этого романа, омертвленном действитель-

ностью мире Андрея Битова и его героев, ибо «время есть цифра, время есть: отношения бытия к небытию» (Достоевский). Смелость Автора-творца, вершащего романное действие и распоряжающегося жизнью персонажей вплоть до воскрешения героя из мертвых и продления происходящего в 1999 год, — необходимое условие философского итога повествования и логически неизбежной оценки окружающего мира, вне зависимости от желаний героев, автора, читателей и критиков, — тщетны поиски значимости незначимого: безграничность небытия обращает время в ноль, личность — в точку.

Ироничные или серьезные, афористичные или смешные — всегда глубоко пережито-продуманные наблюдения и суждения, разбросанные по страницам романа.

О прошлом: *«Как смели те же люди совершив несправедливость — они же и восстанавливать ее!.. Не мытьем — так катаньем: не вышло отменить в тебе твою жизнь посадив, отменим — отпустив... Слишком, нельзя столько. Казнь — пожалуйста, возмездие хоть оставьте Богу!»*

О настоящем: *«Сейчас все всё знают. Форма это известно. Форм у нас не так много, и они все взаимозвестны. Где был? на гулянии. Что делал? гулял. Форма — известная, содержания — нет... Стихийное или массовое, праздничное гуляние — есть потерявшаяся демонстрация... нас несколько удручает это невеселое хождение. Мы рассматриваем толпу, заглядываем в лицо, ищем узнать — нет лица! Что за невезенье такое?»*

О будущем: *«Вы будете читать «Улисса» в 1980-м году и спорить и думать, что вы отвоевали это право... Тут-то конец света и поспеет. Представляете, конец света, а вы не успели Джойса достать».*

О революции и культуре: *«...Революция не разрушит прошлое, она остановит его за своими плечами. Все погибло — и именно сейчас родилась великая русская культура, теперь уже навсегда, потому что не разовьется в свое продолжение. А ведь еще вчера казалось, что она только-только начинается... Теперь она камнем летит в прошлое... Гибель — есть слава живого!.. Народный художник Дантес отлил Пушкина из своей пули. И вот, когда уже не в кого стрелять — мы отливаем последнюю пулю в виде памятника».*

Многие из очаровательных ранних рассказов Битова представляются сегодня эскизами к роману. Уже там писатель определил круг своих героев и тем. Размышляя о классическом сюжете, Битов писал в рассказе «Пенелопа»: «...никак не отделаться от безобразности всего этого с точки зрения чисто человеческой. И до странности кое-что схоже. Недаром же мы живем в эпическое время. Только не помпезность мера эпичности. А вот это хамство и предательство...»

О том и роман.

А. Гимейн

ПОГОВОРИМ О ЗВЕРЮШКАХ, МИЛЫЕ ДЕТКИ...

«Морские свинки» Людвика Вацулика, книга, написанная в 1970-м, вышедшая затем на многих европейских языках, по-чешски издана семью годами позже, в торонтском издательстве «68». Окончательно убедившись в неисполнимости естественного желания выпустить книгу на родине, писатель в предисловии к изданию зарубежному высказал, как он называет, «запасное желание»: «Пускай в объявлениях, рекламе, вкладках и т. п. прямо-таки провокационно не упоминается вся эта история со съездом писателей 1967 г. и всё, что за ней до сих пор последовало. Меня и так уж постоянно во все это упаковывают здесь и за границей, так что я и сам себя под этими обертками еле обнаруживаю. В гомоне событий, которыми я влеком, редко-редко промелькнет тихое мгновение, когда я слышу шепот старого вопроса: кто я и чего действительно хочу? Ибо ничего того, что мы сегодня имеем и к чему я свою руку приложил, — я не хотел».

И верно, фамилия на обложке вызывает немедленное желание, не приступая к чтению книги, изложить историю последних десяти-двенадцати лет с точки зрения того, как приложил к ней и продолжает прикладывать руку некто по имени Людвик Вацулик. Но прочтешь — и забываешь, и даже недоумеваешь, нужно ли было автору делать такое предупреждение:

Ludvik Vaculik. Morčata. Sixty-Eight Publ., Toronto, 1977.

настолько все биографическое, историческое отходит на задний план перед миром, в который погружаешься на ста шестидесяти страницах карманного формата, перед миром, в который долго остаешься погруженным, почти задыхаясь, не умея и не пытаясь осмыслить. Единственная рациональная мысль, которую вылавливаешь, наконец-то вынырнув (забросив книгу подальше и еще не рискуя перечитывать), — это, что дело писателя — писать. Писать, а не подписывать (неважно, самые лучшие манифесты или протоколы обысков). Писать, а не произносить речи (на съезде ли, на допросе). Писать, а не демонстрировать (не мне бы это говорить). Писать книгу за книгой, из года в год, писать и печататься, и иметь столько читателей, сколько людей захочет быть твоими читателями (а не только тех, кому несколько менее дрожащих иностранцев рискнут привезти экземплярчик). Но это, увы, в нормальной стране, а в нормализованной... А и в нормализованной писатель Людвик Вацулик написал своих «Морских свинок», которые перерастают любую, самую гражданственную биографию.

Вот я и сейчас, уже за машинкой, все тяну, все оттягиваю, как оттягивала полтора года, разговор об этой книге. Все равно, что о влюбленности: легче указать в толпе — вот он, мой «предмет». Но так я могу кивнуть в сторону Набокова — а Вацулика? много ли из вас читает по-чешски? Один раз у меня был такой счастливый случай, когда читатель сидел в моей комнате и заливался хохотом над первыми страницами подsunутой мною книги. «Погоди, — сказала я мрачно, — вот дочитаешь до конца, забудешь смеяться». Так оно и вышло.

«В Праге живет больше миллиона людей, которых я не хотел бы здесь перечислять», — так начинается рассказ скромного банковского служащего, добропорядочного отца семейства, в меру сентиментального, в меру любопытного, типично по-чешски реалистического и не склонного к полету воображения. Государственный банк, где работает герой, находится, «как вы все, конечно, знаете», на Вацлавской площади. «Это величественное здание снаружи облицовано мрамором, но внутри не давайте ввести себя в заблуждение. Пожалуй, достаточно, если я вам скажу, что в тот день, когда мы, банковские служащие, или «банкиры», отсчитываем из казны свою зарплату и распахиваем ее по кошелькам,

мы со страхом поглядываем на роскошные вертящиеся двери нашего банка, не идет ли кто за своими сбережениями. А зарплата у нас, не подумайте, отнюдь не щедрая! Как говорится — только что не крадем. Мы, впрочем, почему бы и не признаться, крадем. Да только это безнадежно: мало кому из нас удастся донести украденные деньги до дому, жене и детям. На выходе из банка стоят часовые, которые каждого детально обыскивают и забирают все, на что нет документа. Только не думайте, что конфискованные деньги вернутся в казну! По крайней мере, мы, банкиры Государственного банка, больше никогда их там не видим. На это можно смотреть по-разному. Если же вы, милые детки, мысленно все задаете и задаете вопросы, почему это так получается в нашем народном хозяйстве, можете принять во внимание и то, что я вам сейчас нечаянно открыл. Но эта проблема скорее подошла бы для детектива, чем для книги по естествознанию».

Это, конечно, не реальное описание реального Госбанка в реальной — пусть даже нормализованной Праге. Одному рассказчику все кажется естественным. Но мы пока еще смеемся: его простодушной наивности, его стилю, где канцелярская тяжеловесность мешается со специальной умильностью детского чтения и в то же время с деталями, явно для такого чтения не рекомендованными. Мы еще смеемся, забывая, что онный Госбанк стоит посреди того самого города, в трущобах которого происходил процесс Йозефа К.; мы смеемся, еще не зная, что все мы — являемся? становимся? можем оказаться? готовы стать? — морскими свинками.

Да, безобидными морскими свинками. Этих зверюшек заводит скромный банковский служащий для своих детей. Старичок-специалист, которого держат в банке только потому, что он единственный помнит значение слова «ломбард» («не то что бы ломбард использовался в наших финансах, но ... время от времени кто-нибудь из министерства внешней торговли обращается с вопросом, что такое ломбард»), обнаружил, что конфискованные деньги не возвращаются не только в банк, но и вообще в оборот, а значит, число служащих банка скоро превысит число банковских билетов, но — «зачем нам говорить о банке, детки, поговорим лучше о зверюшках, они и красивей, и спокойнее. Лежу на полу возле морских свинок и наблюдаю». Позиция всевластного наблю-

дателя постепенно превращает мелкого служащего в изобретательного экспериментатора. Когда первый зверек, простудившись, умирает, герой жалуется на службе: «Мы же не хотим, чтобы дети привыкали глядеть на то, как умирают. Тогда бы эти морские свинки служили совсем противоположной цели, нежели мы задумали». И его сослуживец, тот, что присоветовал завести морских свинок, отвечает: «Истинная цель морских свинок, пан коллега? Это у вас еще впереди».

Ему еще предстоит узнать «истинную цель морских свинок». Сначала пройти через опыт Пантократора (злого? нет, никакого, просто любопытного и обладающего властью удовлетворить свое любопытство): погружу зверька в ванну, погляжу, сколько он продержится под водой; пожалею — вытащу (нет, не пожалею, а пощажу до новых опытов); могу нечаянно забыть, не выключить кран, случайности — неизменный элемент отправления власти, разумеется, случайности на беду подвластного; могу желать спасти, да не сумею, не поспеть, в последнюю минуту расхотеть... «Никогда в жизни не зови на помощь отвратным голосом», — говорит герой, конечно, не морской свинке, а своему девятилетнему сыну, застрявшему ботинком в расселине скалы. «Как же я должен звать на помощь?» — спрашивает едва оправившийся от страха и крика мальчик. «Как угодно, но так, чтобы не вызвать омерзения у спасателей».

«Не вызывать омерзения у спасателей», хоть этот спасатель спасает, хоть нет, — в этом ли «истинная цель морских свинок»? Или в том, чтобы неутомимый исследователь, рассказывая совсем про другое, вдруг озаренно сообщал о своем очередном открытии: «А морские свинки, ибо книга эта о морских свинках, милые детки, — морские свинки булавок не едят»...

А между тем происходит, действительно, много чего другого. Пока дети днем играют с морскими свинками, а отец по ночам играет с ними же во Всемогущего и ведет дошный дневник наблюдений, пока все семейство совершает загородные прогулки, приглядывая домик (переехать бы из Праги, свое хозяйство завести, маме бросить изматывающее учительство), — странные дела творятся в банке. И не то странно, что государственные финансы катятся в хаос, в водоворот, в Мальстрем, как предсказал старичок-специалист.

Но в кабинете этого старичка, так и прозванного «инженер Мальстрем», наш герой обнаруживает огромную бочку. Что? Зачем? (В нашем уме мелькают смутные идеи: в бочке... с водопада... Но не в финансовый же водопад кидаться во вполне реальной кадлушке?.. Что-то там, что ли, было в бочке? Автор — не герой, а сам Вацулик, и тот честно пожимает плечами: «Не знаю». А герой успевае раз испугаться, а на второй раз... а на второй раз бочки уже нет.) А когда семья глядит с железнодорожного моста на приглядевшийся им домик, во двор его выходит старичок, в котором герой узнаёт все того же «инженера Мальстрема».

Впрочем, с нашим героем уже было такое, что он встретил на улице старшего сына-прогульщика и дал ему оплеуху, а потом оказалось, что сын его и школы не прогуливал, и отца на улице не встретил, и оплеухи не получал. Так что не доверимся герою, но и не не поверим: неважно — кто бы ни был хозяин этого домика и двора, а туда наш рассказчик, уже не рассказчик, уже передоверенный кому-то, кто говорит о нем «он», придет искать своей гибели. Возле бочки («Он знал уже, зачем эта бочка, и нужды не имел убеждаться. Не нуждался, да и не хотел. Хотел он резко и быстро повернуться, выбежать из дому, перескочить изгородь и оказаться среди людей, среди людей!») в задней комнате опустелого дома («Господи! на дворе было бы лучше»), зажатый меж двух, как две капли воды, схожих (а не с ним ли еще? не с морскою ли свинкой? — «мягкие толстые губы») убийц, казнимый недостойно — пистолет целит в живот, почему не в висок?! — но заслуженно («он чувствовал, что его казнят страшной казнью, но отнюдь не без причины и не без вины»), вчерашний Пантократор кинжалом (! — «с детства мечтал об этом») пронзает одного убийцу и — в дверной раме встречает второго.

Бедная морская свинка, возжелавшая стать Богом над меньшими братьями и как магнитом притянутая к бредовому возмездию (казненная ли? — неизвестно, последняя фраза: «Но он никогда не пришел, и они [семья] уже никогда ничего о нем не узнали» — почти теми же словами, и так же загадочно и страшно, кончается «Змеиное яйцо» Бергмана), познала ли она свою «истинную цель»? И в чем эта истинная цель — и человека, не затем сотворенного, чтобы

быть «морской свинкой», и настоящей, маленькой, живой, пушистой морской свинки, тоже создания Божьего?

Н. Горбаневская

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО АДУ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ТЮРЕМ

Вслед за книгой Владимира Буковского, одного из начинателей разоблачения психиатрических репрессий в Советском Союзе, издательство «Хроника» выпустило книгу «Карательная медицина». Ее автор — 25-летний фельдшер Александр Подрабинек, работник московской «Скорой помощи». В мае 1978 г. он был арестован и в августе осужден на 5 лет ссылки по статье 190¹ УК РСФСР. Единственным обвинением была «Карательная медицина».

Книга представляет собой наиболее полный из опубликованных на русском языке свод сведений о советской психиатрии как орудии подавления инакомыслия. О всестороннем рассмотрении проблемы свидетельствует уже перечень глав этого труда. Он открывается главой о причинах использования психиатрии в карательных целях. Они кроются в тоталитарности советской системы. Замкнутость, несвобода нашего общества, установившееся единомыслие, традиционное игнорирование общественного мнения сделали возможным превращение одной из отраслей медицины в орудие репрессий. Придание психиатрии столь несвойственных медицине функций было облегчено отсутствием в нашем обществе «культуры свободы». Свобода и терпимость учат уважать чужие мнения, и в такой атмосфере невозможно огульное обвинение в психической неполноценности из-за несогласия или даже непонимания. В советском обществе несогласие рассматривается как ненормальность не только властями, но и обывательской массой. Кому из нас не приходилось, увидев поступок человека, мотивы которого нам

А. Подрабинек. Карательная медицина. «Хроника», Нью-Йорк, 1979.

неясны, воскликнуть: «Он сумасшедший!» В нетерпимости к чужому мнению, в самоуверенном его осуждении видит автор психологическую основу карательной медицины, ее корни. От этой нетерпимости один шаг до наказания за поведение, не соответствующее традиционным нормам. По мерке советского обывателя, эгоизм, трусость и рабская покорность характерны для «нормального человека». Социальное поведение диссидентов выходит за рамки строго очерченных норм общественного поведения советских людей. Это поведение диктуется иными нравственными категориями, ненормальными по советским стандартам. Это не только психически, но и нравственно здоровые люди, несущие нашему больному обществу культуру свободы и демократии, за что их и обрекают на заточение в психиатрических больницах.

За этой главой следует «Краткий экскурс в историю карательной медицины», где прослеживается возникновение и укрепление в общественном сознании принципа ненаказуемости душевнобольных и рассматриваются случаи применения психиатрических репрессий, известные в русской и советской истории. Глава эта включает очерк о создании сети нынешних специальных психиатрических больниц-тюрем и их историю до наших дней.

В главе «Правовые аспекты карательной медицины» дается юридический комментарий к статьям советского Уголовного кодекса, по которым формулируются обвинения инакомыслящих (ст.ст. 64, 70, 72 и 190¹ УК РСФСР). Автор подробно обосновывает антиконституционность каждой из этих статей и их противоречие положениям Всеобщей Декларации прав человека и других международных договоров и пактов о правах человека, которые обязался соблюдать Советский Союз. Затем рассматриваются ст.ст. 11, 58-61 и 403-413 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и закрытые инструкции, регулирующие применение принудительных мер медицинского характера. Автор указывает на существующие в этих статьях лазейки, облегчающие властям и следственным органам нарушение демократических прав обвиняемого.

Затем в отдельных главах описывается обычный путь от ареста до освобождения из психиатрической больницы (следствие, экспертиза, «лечение», выписка, надзор после осво-

бождения); внутренний режим спецпсихбольниц, снискавший им печальную славу тюрем, которые пострашнее «обыкновенных»; принципы оценки психического состояния в советской судебной психиатрии (автор утверждает, что диагнозы, выносимые психиатрами диссидентам, не научны, а лишь наукообразны, и демонстрирует это на ряде примеров); дается перечень психофармакологических средств, применяемых в советских психбольницах, и описывается разрушительное действие на психику и физическое здоровье каждого вида «лечения».

В главе «Каратели» автор дает портреты ряда советских психиатров, так или иначе причастных к репрессиям против инакомыслящих (в приложении имеется Черный список — 103 фамилии таких людей, а также Белый список — жертв психиатрических репрессий, ставших известными общественности).

Заключительная глава — «Тенденции развития карательной медицины». Автор констатирует уменьшение числа судебных дел по политическим статьям, завершающихся заключением в спецпсихбольницу, но при этом замечает: «Следствием провозглашенной советским правительством «политики разрядки» явилось не уменьшение репрессий, а более тщательная их маскировка, усиление камуфляжа и дезинформации. В крупных городах, где аккредитованы иностранные корреспонденты, власти предпочитают утаивать шумные судебные процессы. А в провинции, откуда информация не доходит даже до «Хроники», такие случаи по-прежнему возможны, и уменьшение числа дел о заключении инакомыслящих в СПБ может быть лишь кажущимся».

Автор отмечает использование такого метода помещения в психбольницу, как госпитализация, для которой, по инструкции, не нужно решения суда. При этом человек попадает не в спецпсихбольницу, а в психбольницу общего типа, но зато огласки меньше. В больницах общего типа тоже применяется разнообразное «лечение», и срок пребывания там может быть весьма длительным.

Литература о психиатрических репрессиях сейчас уже достаточно обширна. Основную ее часть составляют свидетельства жертв карательной медицины. Нет нужды говорить о ценности обнародования каждого частного случая. Но автором обобщающей работы естественно стал Александр

Подрабинек. Благодарение Богу, его минуло помещение в психбольницу — он изучил проблему психиатрических репрессий, включившись в борьбу с ними, которая ведется диссидентами начиная с 50-х годов и дала целый ряд героев — С. П. Писарев, Владимир Буковский, Семен Глузман и др. Благодаря многолетним усилиям, оплаченным многими жертвами, удалось добиться активного осуждения западной общественностью психиатрических репрессий в СССР. Основным источником информации об этих репрессиях с января 1977 г. стала Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях, в которую вошел и Александр Подрабинек.

Эта молодежная группа выявляет жертвы психиатрических репрессий, заявляет протесты по каждому известному случаю и информирует о них советскую и западную общественность. Благодаря активности Рабочей комиссии миру стали известны имена многих жертв, давно погребенных в психбольницах и обреченных прежде на безвестность; врачей, ставших палачами. Членам Рабочей комиссии, самозабвенно отдающимся своей работе, не раз выпала радость, редко испытываемая диссидентами: обнять человека, которого удалось освободить благодаря их настойчивости. Владимир Борисов, Юрий Белов, Михаил Копысов обрели свободу после энергичного вмешательства Рабочей комиссии и кооперирующего с ней усилия Международного комитета по борьбе с злоупотреблениями психиатрией.

Александр Подрабинек, находясь в самой гуще борьбы с психиатрическими репрессиями, имел возможность опросить многих бывших узников психбольниц, их родственников и других людей, так или иначе соприкасавшихся с карательной медициной. Этот способ сбора материала, не доступный ни одному исследователю, работающему на Западе, ни даже самиздатским авторам, находящимся в СССР, но не вовлеченным столь непосредственно, как Подрабинек, в борьбу против психиатрических репрессий, дал возможность всестороннего исследования проблемы, столь важной для нашего общества и столь тщательно скрываемой от него.

Жизненная ситуация автора «Карательной медицины» определила и недочеты его труда, еще не законченного к моменту ареста. Не всегда детали описанных в ней «медицинских случаев» были выверены достаточно точно. Саше

было трудно достать даже «Хронику текущих событий», особенно ранние выпуски. К тому же условия, в которых он собирал материалы для своей книги и писал ее, не располагали к академической сосредоточенности. Несколько приводов в милицию, несколько обысков — дома, у знакомых (где была изъята более полная рукопись «Карательной медицины») и личных при задержаниях на улице, в аэропорту и т. п., «предостережение» КГБ, арест на 15 суток за посещение баптистов по поводу госпитализации их единоверца Волощука, постоянная скрытая и демонстративная слежка, шантаж (увы, осуществленный) арестом брата — таков был быт активного члена Рабочей комиссии Саши Подрабиника почти с ее основания. В результате в тексте книги оказались неточности, а в Белом списке — и пробелы (исправленные при редактировании сотрудницей издательства «Хроника» Леной Штейн).

В заключение хочется сказать, что, несмотря на мрачность темы, на трагизм описанных в книге судеб, она оставляет светлое впечатление, и причина тому — радость общения с ее автором, Сашей Подрабинекком.

Он ничего не пишет о себе, но его мироощущение, честность и бесстрашие его жизненной позиции, его горячее сочувствие мучимым людям и непримиримость к их палачам, его заразительная жизненная энергия сообщают книге обаяние его личности. Встречаясь с Сашей, я постоянно вспоминала Владимира Буковского, которого тоже знала совсем юным. По внешности и по манере держаться они очень разные. Но их роднит лишенная позы самоотдача, полная поглощенность делом, которая не оставляет места для размышлений о собственной безопасности, о собственной жизни. Избранное ими благородное дело — это и есть их жизнь.

Думаю, что внутреннее родство с Буковским и привело к тому, что Саша Подрабинек как бы принял от него эстафету, продолжил именно то дело, за которое получил свой страшный срок Буковский. Мне не пришлось спросить об этом Сашу, но похоже, он сам сознает эту преемственность, и она не случайна: возможно, пример Буковского определил для Саши выбор его жизненного пути.

Л. Алексеева

ОХОТА ЖИТЬ

По общесоюзной и ежевечерней телепрограмме «Время», «общество потребления» загнивает столь наглядно, столь помоечно, что с уверенностью можно сказать: представление об экологическом кризисе не у себя дома советский человек имеет достаточно полное. Объективности ради, однако, стоит добавить, что с кризисом своим западное общество — и не без помощи государств — ведет действенную борьбу. Общество — то есть массы. Самые широкие массы заинтересованных граждан.

Запад Западом: в конце концов это для нас всего лишь краткое и устрашающее зрелище. Был и остается он для нас, Запад, мифом о загробной жизни. Как Остап Бендер, помнится, говорил. Ну, мифы — мифами, а реальность — реальностью, и задаться вопросом о том, как же оно, с вышеупомянутым кризисом, обстоит в собственном дому, — вполне естественно.

Так вот. Задавшись этим вопросом, мы не найдем концов. Чем мы дышим — сокрыто от нас под грифом «совершенно секретно»: начиная с 1975 г. даже в специальной литературе по охране биосферы в СССР отсутствуют показатели загрязненности нашего воздуха, воды и почвы. И поэтому я здесь выпишу ряд мрачноватых госсекретов, «проявленных» на свет Божий крупным отечественным ученым-экологом. Итак, «знаем ли мы», что:

... более 1000 наших городов находятся в зоне «настораживающей» — по содержанию вредных газов в своей атмосфере. Около 100 — в зоне «непосредственной опасности для здоровья». Около 10 — в зоне «чрезвычайной опасности».

... за последние десять лет число заболеваний раком легких в стране удвоилось.

... количество генетически неполноценных граждан составляет ныне 7-8% всего населения страны и обещает к 1990 году достигнуть 15%.

Борис Комаров. Уничтожение природы. Обострение экологического кризиса в СССР. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1978.

...каждый год на этот свет в стране появляется 200000 неполноценных новорожденных.

...на каждую единицу товара социалистическое хозяйство производит в 2 раза больше всевозможных загрязнителей воздуха.

...каждый советский автомобиль отравляет воздух чуть ли не в 4 раза интенсивней, чем американский.

...ПХБ — полихлорированные би-финилы — опаснейшее соединение, и когда это стало известно, то, несмотря на то, что оно является прекрасным пластификатором, Запад отказался от его производства и начал контроль за его содержанием в мировом океане. Вскоре Запад охватила тревога: ПХБ усиленно вытекал из-под «железного занавеса» с водами Немана. Западные специалисты призвали своих советских коллег принять меры, но последние, и как выяснилось — вполне искренне, отрицали саму возможность производства ПХБ в Союзе. Однако, по настоянию западной стороны, были проведены контрольные измерения. И что же? ПХБ этот обнаружился буквально в каждом водоеме отечества. Оказывается, начиная с 50-х годов один оборонный завод, укрытый в глубинке, производя особо прочные изоляции для военной аппаратуры, так исподтишка, в полном секрете даже от специалистов-экологов, отравил доморощенным ПХБ все наши водные ресурсы.

...советское браконьерство освоило новый вид оружия, а именно — ракеты типа «земля-земля» с головками теплового наведения. Дикие козули и олени, имеющие несчастье обитать в Забайкальском военном округе, массово становятся жертвами полигонных упражнений с этим видом оружия. И это понятно. Лучшей мишени не найти: они и движущиеся, и теплокровные... пока по человеку приказ не даден.

...горные и торфяные разработки, промышленные и городские свалки, исчезнувшая под поверхностью водохранилищ земля, пустоши и болота лесов после вырубок и пожаров, овраги и пески на месте пахотных и пастбищных угодий — короче говоря, площадь уничтоженной земли составила уже 10% всей пригодной для человеческой жизни территории СССР. Что такое эти 10%? Это — Англия, Франция, Италия, ФРГ, Швейцария и страны Бенилюкса. Равное нашему совокупное население этих стран прожи-

ваит на уничтоженном у нас жизненном пространстве — размером в 1,45 млн. кв. км.

... что направление главного удара по природе сейчас это — Сибирь и Крайний Север, что масштабы разрушения природы в районах БАМа превосходят все, известное ранее, что —

«Из дико цветущего моего государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой окружены репа, капуста да свекла; посему все страсти страны свелись к страсти овощной, земляной, толстой. Огород в соседстве фабрики с непременным звуковым участием где-то маневрирующего паровоза, и над всем этим безнадежное белесое небо городских окраин — и все, что сюда воображение машинально относит: забор, ржавая жестянка среди чертополоха, битое стекло, нечистоты, взрыв черного мушиного жужжания из-под ног... вот нынешний образ моей страны — образ предельного уныния, но уныние у нас в почете, и однажды им брошенный (в свальную яму глупости) лозунг «половина нашей земли должна быть обработана, а другая заасфальтирована» повторяется дураками, как нечто, выржающее вершину человеческого счастья».

Это Набоков; из повести «Истребление тиранов». Канун 37-го.

А вот Афанасий Никитин, много раньше:

«Нет земли краше нашей. Господь Бог да устроит ее».

Крупный советский ученый-эколог, назвавший себя Борисом Комаровым, поражает своей способностью к той деятельной любви, о которой когда-то писал Достоевский. Его книжка об обострении экологического кризиса в СССР — это, прежде всего, свидетельство жизнеспособности русского человека, отстаивающего Бога, Все Живое на своей земле. Афанасий Никитин эту землю не на авось отсылал: к Богу, живущему будущими поколениями русских людей.

Кровной нитью воедино связан человек, сфера его обитания со сферой бытия. Экологический кризис есть очередная стадия вовлечения нас, живых, со всем живущим на земле, в небытие, в ничто. Именно 60-е годы откровенно обна-

ружили логику технологического процесса по умерщвлению Всего Живого и сначала — Бога, крепь связующую. 66 миллионов вырубали душ из соборного населения этой земли, ввергнутой в эксперимент поистине всемирно-исторического — по последствиям — значения. А из каждой оставшейся в живых, особенно из вновь рожденной, топором идеологическим вырубали Предка — тем самым впрок заготовливая гибель Потомку. Обрубленные проводки связей с прошлым человечества (в какой-то мере законсервированным на Западе) и с человечеством будущего замкнулись на себя, в тупике исторического мгновения. И отдельно взятая душа, и страна в целом — мы превратились в мину замедленного действия, заложенную в толщу времен, и поэтому проблематичным стало наше будущее, сбывавшееся до сих пор. Идеологии, системе вслед за человеческой природой понадобился воздух, вода наших речек, рек, озер и морей и сама земля наша. Они так и говорят, функционеры плотоядной системы: «Мы проиграли уже Азов, Арал и, видимо, Каспий». Нас-то, Человека, проиграли давно, а в эпоху НТР приходится поднимать ставки, игра по-крупной пошла: нашим жизненным пространством.

Знает ли читатель, что Байкал у российской интеллигенции в 60-х «отыграло» Министерство обороны СССР? И вот с какою высшей целью: обусть нужно было тяжелые бомбардировщики, шины их. Обували на валюту — кордом, покупаемым в Швеции и Канаде, но, экономии для, решили производить свой, советский корд. А технология производства его требует огромных запасов чистой воды. И вот так стратегические интересы «политики мира» определили судьбу «части нашей души», как назвал озеро Леонид Леонов. «25 миллионов лет существует Байкал, — замечает ученый. — ...Он пережил множество геологических катаклизмов, множество смен животного мира и растительного. Но социальных перемен в среде «хомо сапиенс» всего в течение нескольких десятилетий 20-го века «старине» Байкалу не пережить». И вот логика аннигиляции: выиграв Байкал, МО СССР проиграло озеро стратегическим интересам идеологии абсолютно впустую: уже с 1964 года этот самый корд добывают, как водку, преимущественно из нефти... Байкал же медленно, но верно подыхает «ради небольшого в масштабах страны процента производства корда, ради содержа-

ния нескольких свиноферм (они потребляют дрожжи), ради ничтожного количества грубой оберточной бумаги, в какую заворачивают гвозди, и столь же ничтожного количества лаков и красок (на них идут таловое масло и скипидар). И это все».

Байкал — только один из эпизодов обреченной на проигрыш игры. Борис Комаров анализирует десятки аналогичных потерь. Сумма рассекреченных им фактов вызывает шок: в смысле саморастраты — необратимой — заветную Америку мы давным-давно и догнали, и перегнали. По реализации небытия на душу населения СССР вышел на первое место в мире, стремительно увеличивая отрыв от прочего человечества. Причем все это — молчком, втихую, секретненько. Самое трагичное, что показатели нашей НТР — показатели того, насколько нас аннигилировали, — огласке не подлежат. Этого нам знать не положено, чего творят они с нами, с 85% населения страны, страдающими от последствий порчи воздуха, воды и земли, вот эти 15% функционеров... Будущему, Потомуку они дают однозначный ответ: после нас хоть потоп, хоть «светлое будущее». Экология констатирует: эта система не только античеловечна, она несет гибель Всему Живому. Только целым комплексом политических, социальных, экономических и нравственных реформ можно приостановить дальнейшее сведение природы на нет. Именно приостановить: потому что если сейчас прекратить загрязнение среды, то и тогда поллютанты, разряжаясь, будут отравлять наших детей и внуков столь же интенсивно, как и нас. Только осознанный альтруизм как альтернатива нынешнему самоедству способен спасти и страну, и само человечество в общем Доме его бытия.

XX век начался тем, что предтечи «правых» и «левых» тоталитарных систем провозгласили: «Бог умер». Последняя четверть века может и должна стать этапом возрождения любви, внутренним взмывом человечества. Тут последняя ставка — в гласности, в свободе выкрикнуть болевую любовь, кричать ее непрерывно: «сдвинуть общественное сознание с мертвой точки могут лишь общие усилия той «дружины ученых и писателей», какого бы рода они ни были, которая, как писал Пушкин, несет истинное просвещение и культуру, невзирая на окрики и атаки с разных сторон. Да где же она, дружина?.. Где она, во всем поле — от Куликова

до Байкала?..» — этими словами кончается книга. Выходом на грань отчаяния, негодования против мертвого часа русского общественного сознания. Однако Борис Комаров поименно называет современных русских людей, ученых и писателей, сходящихся в решимости противостоять небытию. И публицистика В. Чивилихина, и «Царь-рыба» В. Астафьева, и творчество В. Распутина, и усилия десятков ученых — таких, как, например, Г. И. Гамазий, директор Байкальского лимнологического института.

Стране, по слову Василия Шукшина, охота жить, и последним напряжением подорванных своих сил она мобилизует и высылает в бой за себя дружину лю б в и, в деяниях которой, в сотнях поступков (среди них книга Бориса Комарова — поступок крупный и заметный) возобновляется надежда Потомка в свой черед дохнуть воздухом земли, завязывается узелок, крепнет истончившаяся нить.

Сергей Юрьенен

НАУКА ВСТУПАЕТ В ПАРТИЮ

В книге «Управляемая наука» М. А. Поповский описывает сегодняшнее состояние взаимоотношений партии и науки и приходит к выводу, который в сжатом виде содержится уже в самом заглавии: советская наука потеряла всякую идейную независимость.

Поповский — моралист, и его волнует преимущественно моральный образ советского ученого. Перестав быть «ученым» в классическом смысле слова, тот превратился в некоего «практиканта» науки. Его профессиональный прагматический кодекс не заслуживает названия морали.

Стоило ли писать целую книгу в доказательство столь очевидного тезиса? Кажется, да. Книга рассеивает широко распространенные иллюзии, родившиеся из наблюдения пропорции ученых среди известных имен диссидентства.

Но, на мой взгляд, заслуга Поповского-моралиста состоит в том, что он превратился в историка. Богатейший

Марк Поповский. Управляемая наука. Оверсиз, Лондон, 1978.

документальный материал, заложенный в книгу, делает из нее первое критическое размышление о советской науке в целом. Выходя за пределы исследования нравов научной среды, Поповский дает ценнейшее описание механизмов, приведших советскую науку в состояние управляемой.

Книга открывается перечнем жертв партийной обработки русской науки, начавшейся с первых же дней Октября. Особое внимание посвящается судьбе генетика академика Н. И. Вавилова, о котором автор написал десять лет назад книгу «Тысяча дней академика Николая Вавилова» (см. также главы из его новой книги о Вавилове во 2 вып. сборника «Память»).

Среди многочисленных попыток партии найти подходящее административное устройство науки, Поповский уделяет особое место идее «научно-учебных колхозов», придуманной проф. Бурским в 1931 году. Эта попытка «создать гибрид концентрационного лагеря с институтом» проживает под различными видами до сегодняшнего дня. Она вдохновила «шараги» военного времени и более прозаичные «номерные лаборатории». Как низка ни была научная продуктивность таких гибридов, они прельстили власть своей «легкой управляемостью».

Секретность и закрытость являются неизменными элементами советского научного ландшафта — о них Поповский говорит в главах «Тайна, покрытая мраком» (о внутренней секретности) и «Мы и они, или Russian time» (о закрытости в международном плане). Генеалогия современных научных городов (Академгородок в Новосибирске, Протвино, Пущино и т. п.) в главе «Города и люди» справедливо возводится к тому же проф. Бурскому, чья надежда на большую продуктивность сконцентрированных мозгов не осуществилась, зато эти научные гетто выступают как образцовые места управляемости науки.

Долгое время советская власть, завоевав одни командные высоты, обрабатывала науку в некотором смысле лишь *извне и сверху*. Теперь дело обстоит иначе. Партия проникла в мельчайшие звенья и клетки научной среды и установила в ней собственные принципы действия и собственные критерии в отборе и продвижении личного состава науки. Малейшее движение любого научного сотрудника происходит лишь с согласия парткома. Естественное побуждение людей к науч-

ному творчеству выворачивается и превращается в пищу, которой питается контроль над наукой же — благодаря основному механизму: право на научную деятельность покупается-продается ценой соответствующего квантума лояльности по отношению к партии — малого на малой, крупного на крупной ответственности. Ныне научная среда непроницаема снизу и сама отбрасывает ненадежные с партийной точки зрения элементы (об этом рассказано в главах «Товарищ директор и другие» и «Наука: оброк или барщина»). Вдобавок, приходится наблюдать, что — увы! — аморальность не обязательно сопровождается научной бесплодностью. Яркими примерами Поповский уничтожает столь наивную веру в имманентную справедливость и признается, что рассеялась его мечта о науке как о «последнем убежище всего лучшего», что сохранилось в советском обществе.

Итак — успех партии по всей линии фронта? Неполный и, может быть, ненадолго, отвечает Поповский. В главе «Неуправимые» он описывает, как, вопреки всем усилиям партии, религиозное возрождение, наблюдаемое во всем советском обществе, дает знать о себе и в такой защищенной среде, как научная. Многочисленные ученые участвуют в правозащитном движении. Новоиспеченная интеллигенция национальных, особенно мусульманских республик (глава «Вавилонская башня с пятиконечной звездой») постепенно выходит из подчинения.

Поповский еще во вступлении к книге оговаривает, что процесс поглощения науки властью в СССР он рассматривает в отрыве от аналогичного явления на Западе. Вдобавок, автор пренебрег разбором общих и специфически марксистских истоков управляемой науки. Еще в XIX веке это поглощение стало на повестку дня. Процесс, прагматически начатый Бонапартом, был теоретически отображен Огюстом Контом по-гегелевски, в виде растворения власти в науке. Маркс точнее предвосхитил XX век — в виде взаимного поглощения, правда, приписав ему форму равноправной идиллии. Отсюда и «научный социализм», с которым так долго не везло его преемникам.

Пыхтел в 1909 г. Ильич над «Материализмом и эмпириокритицизмом» и не заметил, что XX век в науке был бесшумно открыт без него. Не заметил прозорливый вождь, что хулиган Эйнштейн за четыре года до этого накрыл ему

лысину ослиным колпаком. Не повезло Ильичу с науками. Заветная идиллия заставила себя ждать больше полсотни лет. В большевистской программе оказалась дыра. Дыру несостоявшейся рабоче-крестьянской идиллии быстро восполнили: для покорения деревни — коллективизацией, а для города — индустриализацией. Но в отношении науки партия долго блуждала в беспрограмьи и за отсутствием специфической формы социалистического преобразования применяла лишь общую — террор. Была попытка создать свою собственную, «параллельную» науку в лице «красной профессуры», но и к ней пришлось применить общую меру.

В те же 20-е годы была изобретена теория «пролетарской науки», но приложилась она не столько в виде теории, сколько в соответствующей «практике». Стали с мясом вырывать из физики теорию относительности, из статистики — закон больших чисел, из биологии — генетику, и т. д. Рано или поздно приходилось всё задним числом восстанавливать, а «пролетарскую науку» подпирать на ходу «отечественным приоритетом», борьбой с «космополитизмом и низкопоклонством» и т. д. После каждого приступа сталинской горячки удавалось все-таки обескровленной науке вырваться из партийных объятий.

Здесь сказалась специфика науки как таковой. Не ради ее прелестных глаз Бонапарт впервые нарядил ее в мундир арсенально-пороховой службы. Она уже в XIX веке стала непосредственным источником материальной власти и одновременно производительницей своей собственной, потенциально универсальной идеологии. Косвенно или прямо (в случае гуманитарных и социальных наук) она производит средства власти, которые власть вынуждена присваивать, иначе пропадет. Вдобавок, «продукт» науки по определению непредсказуем и не поддается планированию, в отличие от материального производства. Советской власти удалось установить контроль над промышленностью и земледелием и оградить их от внешней конкуренции, тогда как развитие науки на Западе постоянно подтачивает и так уже неустойчивые формы партийного контроля над советской наукой. Не партийными же мозгами Америку догонять и перегонять! Таким образом и удалось науке на протяжении десятилетий сохранить определенную долю независимости. (Сказанное можно с соответствующими поправками перенести и на ар-

мию, непосредственно конкурирующую с американской.) За последние 20 лет нащупалась, наконец-то, специфическая и предельно простая формула установления контроля: принять науку в партию.

За десятилетия чекистской обработки партия накопила в науке достаточно компетентную и густую сеть погромщиков, стукачей и податливых карьеристов. Наука стала достойна вступления в партию. Пришла пора с успехом возобновить не удавшуюся Ленину идиллию. Партия негласно признала свое поражение в идеологической борьбе в естественно-математических, а частично и в социальных науках. Попытка идеологического контроля заменилась оперативным контролем над научным аппаратом. Научно-теоретические изречения классиков сохранились для юбилейно-праздничных случаев да для вступлений к диссертациям. Словесное признание их правоты выражает лишь одно — признание административной верности партийному аппарату.

Чудо «научного социализма» совершилось: партия держит в объятиях свое собственное живое отражение. Посредницей послужила фея-панацея XX века, пресловутая НТР (научно-техническая революция), сулившая даром излечить все неизлечимые язвы советского общества. Сегодня невеста согласна идти под венец. Правда, чистая наука ей до лампочки: став управимой, она сама рванулась к власти — будь это с помощью Ньютона, Ленина, оплеванного Эйнштейна или любого подвернувшегося.

В. Карлинский

КОСТЕР ДЛЯ «НОВЫХ ФИЛОСОФОВ»

Французские журналисты С. Бускасс и Д. Буржуа собрали отрывки статей о «новых философах» из французской и международной прессы и назвали этот сборник «Нужно ли послать на костер 'новых философов'?» В книгу вошли, в

Faut-il brûler les «nouveaux philosophes»? Le dossier du «procès». Etabli par Sylvie Bouscasse et Denis Bourgeois. Nouvelles éd. Oswald, Paris, 1978.

частности, высказывания главы французской социалистической партии Франсуа Миттерана; писательницы Доминик Десанти, порвавшей с компартией, но не с коммунизмом; главного редактора журнала «Нувель Обсерватер» Жана Даниеля; главного редактора «Континента» Владимира Максимова; идеолога французского «еврокоммунизма» Жана Эленштейна; Бернара-Анри Леви, одного из «новых философов» и издателя большинства сочинений «новой философии»; и даже некоего Молчанова из «Литературной газеты».

Но прежде чем разбираться, кто и за что вздумал «сжигать» этих «новых философов», вернемся вспять и посмотрим, кто они такие, откуда взялись, чего хотят, куда движутся. Словом, драчуны ли они, стреляющие из рогатки по «старой философии», или отцы-основатели философской школы? А может быть, ни то и ни другое?

Любопытно, что появление «новых философов» связано, в основном, с одним событием и одним явлением, которые, на первый взгляд, между собой никак не связаны. Событие — это волнения мая 1968 г. во Франции, явление — Солженицын. Но оба они привели к разочарованию определенной части левой молодежи в «ортодоксальном» коммунизме и «реальном» социализме.

Оппортунизм левых партий и профсоюзов в 1968 г. оставил революционно (марксистско-ленински) настроенную молодежь у разбитого корыта. Для некоторой части молодой интеллигенции начался процесс пересмотра позиций, бывших прежде фундаментальными. Родилось сначала инстинктивное недоверие к партаппаратам, а затем обоснованное противостояние всем партиям-государствам, будь то советского, китайского или кубинского образца. Начался медленный, но верный отход от марксизма и его святая святых — теории перехода к коммунизму через диктатуру, т. е. «временное» усиление Государства.

Лейтмотив изысканий «новых философов» — критика Государства как такового. Почти все произведения их пронизаны, пропитаны откровениями, найденными у Солженицына. Своей духовной силой, силой художественной правды и опыта сопротивления Солженицын помог им постичь истину: марксизм несет в себе тоталитарное государство. И «новые философы» выступили против Государства. При этом они впали в вековечное заблуждение анархизма —

утопическое отрицание государственных структур, необходимых для выживания обществ. У некоторых из них это вылилось в неуклюжих попытках поставить на одну доску тоталитарное государство коммунистического типа и государство, сосуществующее с гражданским обществом и зависящее от него.

Когда истина поразила молодых мыслителей, они стали «новыми философами». (Впрочем, надо восстановить истину: это не самоназвание, сами они между собой во многом различаются и единым течением себя никак не считают, но, видимо, было что-то разительно общее в их, одна за другой выходявших книгах, и брошенная кем-то этикетка прижилась.) «Новые философы» начинают потрошить Ленина, Маркса, Энгельса, Ницше, Фихте, Гегеля — ариаднина нить тянется — и так до Платона.

Поскольку они, как правило, умны и талантливы, но еще и потому, что большинство их были известны как «левые», даже «леваки», — к ним прислушиваются, о них говорят, пишут. Их превозносят и проклинают.

В сборнике приведено несколько статей деятелей французской компартии. Член ЦК партии Салини пишет в «Юманите»: «...так называемые новые философы — пессимисты, они презирают Историю и ненавидят все прогрессивное, они лгут, обманывают трудящихся». И далее пытается доказать, что они на деле «новые правые». Эта формулировка тоже была живо подхвачена и повторялась в самых так наз. «объективных» органах печати. Впрочем, и сами коммунисты выступали не только на страницах партийной печати. «Еврокоммунист» Элленштейн в «Монде» восклицал: «Они пишут о Колыме, но забывают о Сталинградской битве... Они говорят о революциях проигранных, изуродованных, жестоких к человеку, но забывают о настоящем «варварстве с человеческим лицом» (заглавие книги Б.-А. Леви), которым является капитализм... Они пишут, что Сталин был в Ленине, Ленин в Марксе, Маркс в Руссо, Руссо в Рабле, Рабле в Платоне, — но кто же вдохновил Платона?» Далее Элленштейн развивал довольно обветшалую теорию, заключающуюся в том, что бесчеловечность советского социализма основана на отсталости дореволюционной России и что надо строить «свой» социализм, который несомненно будет «с человеческим лицом», а не брать за образец СССР. Фальси-

фицируя историю России, Элленштейн в то же время ядовито заканчивает: «История существует, хоть это вам и не по душе, дорогие юные философы».

Троцкистов (пример их позиции — напечатанная в сборнике статья Венсана) бесит, что «новые философы» во французской революции усматривают исключительно террор, а в русской — ГУЛаг, вместо того чтобы признать великие достижения этих революций. При этом троцкисты, как и положено, путают все на свете: переворот с революцией, диктатуру с демократией, счастье с несчастьем и т. д. — зато все выдержано в рамках доктринальной терминологии. Что же касается маоистов, то они, обвиняя «новых философов» во всех смертных грехах, повторяют набившие оскомину даже в Китае маоистские лозунги.

Трудно пройти мимо помещенной в сборнике статьи Молчанова («Литературная газета», 1977, 16 ноября). Проговорившись, что игнорировать «новых философов» невозможно, автор немедленно обвиняет их в иррационализме, в клевете на СССР и другие соцстраны (только не сказано, «с умыслом или без умысла на подрыв и свержение существующего строя»), а потом... начинает доискиваться, кто же были родители «новых философов», с удовольствием не находит рабочих и крестьян и с еще большим удовольствием обнаруживает, что аж двое из них носят подозрительную фамилию Леви. Как основной аргумент — хоть и не на тему — возносится похвала новой советской конституции. Молчанов называет сочинения «новых философов» философской пародией и заявляет, что раз их главный враг — марксизм, то, следовательно, они играют на руку капитализму и империализму.

Ненависть марксистов к «новым философам» вполне понятна. Известный журналист Энтховен пишет: «Жамбе открыто заявляет, что народ должен прежде всего прочесть «Архипелаг ГУЛаг». Несколько лет тому назад в Венсенском университете его бы за это без лишних слов линчевали».

Может быть, в том, что сегодня кое-кто задумается, прежде чем линчевать, и кроется значение «новых философов». В какой-то мере они уничтожили химеры, распространяющиеся по латинским странам Западной Европы. В умах новых поколений рождается — у кого осуждение, у кого

сомнение, у кого отрицание политических, социальных, исторических, философских ценностей, по инерции почитаемых прогрессивными.

Я не поленился каждый раз ставить определение «новые философы» в кавычки — по той простой причине, что их трудно считать философами в полном смысле слова. Их можно назвать, пожалуй, мыслителями-энтузиастами. «Новые философы» направили свою энергию на уничтожение исторического зла (его можно назвать революционной философией), но замены ему не нашли, да, в общем-то, и не искали*. Они естественно, пожалуй, вернулись к классическому анархизму, к антиэволюционности, к отрицанию возможности свободы, пока существует государство как таковое.

Владимир Максимов в парижском еженедельнике «Ну-вель Литерер» сравнил «новых философов» с мальчиком, который случайно увидел в лесу, как убили по приказу князя зодчих, выстроивших ему собор. Максимов пишет: «В каждом из нас живет такой мальчик» — и называет явление «новых философов» главным для себя событием года.

«Новые философы» получили большой отклик и в других странах. Особенно следует отметить Италию, где удар был нанесен сразу и по еврокоммунизму, и по терроризму, откалывая от обеих идеологий массы лево настроенной молодежи. В западном полушарии «новые философы» нашли отклик и в США, и, с другой стороны, в странах Латинской Америки, где на смену уничтожаемой внешне и вырождающейся внутренне герилье начинают приходиться течения, опирающиеся на идеологию (иногда — для начала — только на терминологию) прав человека и занятые открытой, конкретной социальной работой. Хуже было в Мексике, где в условиях значительной демократии сохраняют силу традицион-

* Возможно, упрек рецензента не вполне справедлив. Как существует «отрицательное богословие», так имеет право на существование и «отрицательная философия», и «уничтожение исторического зла» — ее несомненная первая цель. Впрочем, те, кто были первыми ласточками «новой философии», Кристиан Жамбе и Ги Лардро, недавно выпустили новую книгу «Мир. Ответ на вопрос: что такое права человека?» (в одном из ближайших номеров мы напишем о ней). Как свидетельствует само заглавие, авторы перешли к философии «положительной». — *Прим. ред.*

ные подрывные организации и их ветхая идеология: там «новых философов» одни обзвали правыми, другие — прямо фашистами, а третьи — вообще провокаторами.

Так или иначе, «новые философы» пробудили западный мир от спячки: правых — от чванства, левых — от иллюзий. Коммунистов всех стран и всех «тенденций» они вынудили проявить злобу, т. е. слабость.

В сущности, они лишили топлива некоторые приготовленные для мира костры. Так что ясно, почему их хотят послать на один из оставшихся... И будут хотеть этого еще долго. И сборник, о котором идет речь, останется ценным документом об одном из важных периодов борьбы Запада с тоталитаризмом.

В. Рыбаков

«ПРОБА ПОДНЯТЬСЯ ИЗ ГРОБА»

Эта строчка из стихов вечного лагерника, поэта Валентина Соколова, по-моему, объясняет, почему в нечеловеческих условиях лагерей и тюрем — от сталинских до нынешних — возникает и живет поэзия. За полвека сложилась целая ветвь нашей литературы — лагерная. И не на одном языке! Даже если не причислять сюда тех писателей и поэтов, которые попали за колючую проволоку уже сложившимися профессионалами, даже если оставить в стороне лагерный фольклор, если говорить только о тех, чье творчество началось (а для иных и закончилось) в ГУЛаге, то все равно придется говорить о целой ветви каждой — или почти каждой из литератур «республик свободных».

Как во всякой литературной среде, есть в ГУЛаге и свои мастера и свои начинающие, и крупные таланты и графоманы... Как во всякой литературе, есть в лагерной и свои реалисты — те, кто пишет на темы «окружающей действительности», и свои романтики — чьи произведения вообще не касаются этой действительности.

Поэзия в концлагерях. Центр исследования тюрем, психтюрем и концлагерей СССР. Израиль, 1978.

Но подойдем к стихам этого сборника просто как к литературному явлению, отбросив все «обстоятельства места и времени», рассмотрим поэзию как поэзию, без скидок на то, где это все создавалось и каковы биографии авторов.

Все имена, представленные в сборнике, — а их пятнадцать — говорят, в частности, о таком простом факте, что при тех предельно стандартизированных условиях лагерного бытия, в которых эти поэты пишут, все они бесконечно разные. Так что бытие их весьма мало влияет на их сознание, а тем более на высшую его форму — творчество.

Вот Геннадий Черепов, отсидевший в первый раз 14 лет, затем несколько лет проведенный «на воле» и снова, лет восемь тому назад, попавший в число политзаключенных. Из своих сорока восьми лет Черепов как минимум половину жизни провел в лагерях. И первые стихи написал тоже в лагере — примерно году в 1955.

Сочетание живописности с музыкальностью, строго классических ритмов с экспрессией образов позволяет говорить о стихах Черепова как о чем-то во всяком случае вполне профессиональном:

Но все же иногда молебен звездный слушай,
Чтоб боль с висков стряхнуть.
В ногах — покой могил, не ждут полета души,
В тяжелых взглядах — ртуть.
Малиновым звезда сияет окаянно,
Стекло гневный зрак,
Ослепший и немой, несет созвездий раны
Из суток в сутки мрак...

Вольт Митрейкин, стихов которого, к сожалению в сборнике немного, уже несколько лет как вышел из лагеря, но до сих пор не публикуется. Не будем гадать, почему, но во всяком случае причиной этому никак не слабость или непрофессиональность: стихи Митрейкина, простые как песня, с явной фольклорной тенденцией, полны напряженного чувства, лаконичны, строги по образности — чуть ли не сухи, жестки по ритму, и сам контраст между этой жесткостью звучания и космичностью видения создает образ, не передаваемый иначе, как самими стихами; это истинная лирика, пересказ которой — невозможен:

По дорогам и тропам, по полям и лесам
Шли и падали в пропасть, шли и падали
в пропасть —

В небеса.

Поднимались и снова, позабыв о былом,
Бились, нищие словом, бились, нищие словом,
В звезды лбом.

Обобщение судеб людских увидит здесь всякий, но конкретно представить себе тех, чья судьба исчерпана этими строками, — уже дело индивидуального восприятия читателя. Тем эти стихи и значительны, что все мы в самые разные минуты жизни «бьемся в звезды лбом» — бывает, что и в стену, но это не о тех, это о тех, кто — в звезды...

В сборнике опубликованы стихи трех украинских поэтов — Стуса, Сверстюка и Светличного (в подлиннике) и стихи еще одного поэта на таком языке, который впервые, пожалуй, входит в поэзию — ибо это — лагерный жаргон. Больше половины слов на этом языке человеку, им не владеющему, непонятны, но поскольку партия и правительство позаботились и продолжают заботиться о том, чтобы как можно большая часть населения этот язык изучила, причем именно в местах его бытования, то поэту — а имя его Леонид Ситко — никак не грозит пока опасность остаться без читателей. Вот строки из стихотворения «Эпитафия на могиле блатного»:

Ты врезал дубаря, ты сквозанул с концами,
Туда, где никому не надо ксив,
В одну хавиру вместе с фраерами,
У Господа прощенье закосив...

Поразительно, что это — не пародия! Это лирика! И чуть ли не впервые в истории гулаговского языка!

Интересны стихи Якова Хромченко, тоже многолетнего 'зэка, живущего сейчас в Израиле:

От перегона к перегону,
По формулярам, по делам...
Опять к земле прибита зона
Гвоздями вышек по углам...

Но наиболее, на мой взгляд, значительное поэтическое явление — Валентин Соколов. Он, если так можно выразиться, уже патриарх поэтов Архипелага. Со времени первого ареста (1950 год) он провел в лагерях больше времени, чем «на воле». Впервые посаженный 28 лет тому назад за «участие в студенческой антисоветской группе», он вышел из лагеря в 1958 году и через год был снова арестован «за антипартийную агитацию», и опять просидел не то 6, не то 7 лет. Потом несколько лет относительной свободы — и снова:

Здравствуй, зона! Бесноватей
Песне в узеньком квадрате,
Стен твоих, твоих запреток...
Ты душе — глоток озона,
Здравствуй, зона!..
Здравствуй, здравствуй, надзиратель,
Чёрт мордастый!..

Вот это ощущение дома родного, в который возвращается человек из того мира, который именуется «воля», — попробуйте-ка перевести это на какой-нибудь иностранный (не восточноевропейский!) язык? Да не слова — психологию «простого советского заключенного», который почти рад этому возвращению — на каком языке, какой читатель, кроме советского, сможет это воспринять во всей полноте?

Дата третьего ареста и срок точно неизвестны, но к нынешнему дню этот поэт, который первые свои стихи написал в лагере, все еще находится за решеткой.

Все, что написано — проба,
Проба подняться из гроба,
Проба понять тебя, небо,
.....

И лишь с высоты креста
Можно понять тебя, небо,
Хлебом насущным у рта.

Только «смертию смерть поправ», только пройдя через последнюю дверь отречения, можно почувствовать ту раскованность духа, когда лагерно-тюремный быт людей, уже забывших о том, что такое проблеск надежды, становится и сам призрачным, а единственной реальностью остается та духовная жизнь, которую уже никто не отнимет — разве что

вместе с физическим существованием, да и то едва ли... Эта свобода духа — свобода перешедшего все пределы реальности — то, о чем так точно рассказал Солженицын, то, что когда-то угадал еще Джек Лондон в своем «Звездном страннике». Это — когда тело в наручниках, а дух «дышит, где захочет». И у Соколова это состояние выражается в гротескности изображаемого, в гротескности музыкально-ритмического строя, в кривозеркальности его образной системы:

Там в холодных казематах, там в домах казенных,
Как шары катались в лапах головы казненных,
Я ослеп от тех шаров по могилам-лузам,
Я ослеп от тех шагов по кровавым лужам...

И все же главный герой поэзии Соколова — не Ужас, а Скука. Она страшнее охранников, колючки, кумов и собак... Скука, оказывается, то главное, что создано за полвека и в лагерных зонах и в «большой зоне».

«Страшно как и пусто как / жить под знаком пустяка». Поэма Соколова «Гротески» выглядит реалистической в этом гротескном мире «советской действительности». Ибо никакая фантазия не способна на больший гротеск, чем простые советские будни, хоть в лагере, хоть за его пределами.

Стихи Соколова выходят далеко за пределы поэзии специфически лагерной. Это и есть истинная советская поэзия, только не такая, какой ее хотят видеть или делать дирижеры ССП, а действительно советская поэзия, говорящая о советской действительности так, как о ней должен сказать поэт. Официальные же лебеде-кумачевые пассажи следует со всей литературоведческой строгостью назвать «искажение советской действительности», а что за это положено, судить не нам...

Остается добавить, что сборник впервые явил читателю одну из важнейших сторон русской поэзии наших дней — едва ли хоть одна страна в мире может похвастаться таким разнообразием литературных течений: сколько бы школ или направлений не возникало в американской или французской поэзии, а вот такого направления — лагерная поэзия — нет больше ни у кого. Это — завоевание самой передовой литературы в мире, это — уникально (до тех пор, пока не дошли до нас стихи из лагерей Чехословакии или Камбоджи...)

Василий Бетаки

В КОНЦЕ ВЕКА, В НАЧАЛЕ ВЕКА...

Американское книжное издательство «Путь жизни» выпустило первый том воспоминаний Мстислава Валериановича Добужинского, знаменитого русского художника, одного из столпов «Мира искусства». Воспоминания эти пролежали в рукописи двадцать лет (Добужинский умер в 1957 году), и появление их в печати можно расценивать как серьезное событие в истории русского изобразительного искусства. Сложилось эти воспоминания из многочисленных заметок и набросков, которые Добужинский делал в течение всей своей долгой жизни (он умер в возрасте 83-х лет). Несмотря на многочисленные переезды и прочие перипетии его богатой событиями жизни, у него сохранилось множество писем и фотографий, относящихся и к его молодости, и к более позднему времени. Обращать свои старые записи Добужинский начал уже в последние годы жизни. Тогда нью-йоркский «Новый Журнал» предложил ему напечатать его воспоминания, а издательство имени Чехова — выпустить их отдельной книгой. Отрывки из воспоминаний Добужинского действительно появились в нескольких номерах «Нового Журнала», но с издательством дело обстояло хуже — оно вскоре закрылось, и художник уже не смог увидеть издание своих мемуаров полностью. Он был очень расстроен крушением своих надежд на выход книги, но воспоминания продолжал писать, много работая и над собственными записями, и над свидетельствами своих современников — многих из них уже не было тогда в живых. В одном из писем к Сергею Бертенсону («Новый Журнал» № 53) Добужинский пишет: «У меня написана вчерне, хотя местами очень подробно, вся моя жизнь и окружающее до 1917 года. Я пишу все время урывками, и всё поправляю и дополняю... Поистине, когда вызываешь в памяти всю картину прошлого и нашу петербургскую жизнь, могу сказать — как мы были неисчислимо богаты!»

И еще в одном из писем высказывается он об этой своей работе так: «Я пишу без всякой цели, для себя, и потому совершенно не стесняюсь писать откровенно о том, что не предназначается для печати. Я боюсь и «литературщины»

М. Добужинский. Воспоминания, т. 1. «Путь жизни». США, 1978.

и стараюсь излагать все как можно проще, без всяких «красот».

Однако Добужинский мечтал все-таки увидеть свои воспоминания книгой, именно книгой. Он по многу раз переделывал, переписывал уже завершённое — четырежды была переписана вся книга полностью, а некоторые места — и еще большее количество раз. И вот эта дорогая художнику рукопись, в которой он так тщательно и любовно собрал по крупицам всю свою жизнь, пролежала в столе двадцать лет. Издана она была при содействии сыновей — Ростислава Мстиславовича и Всеволода Мстиславовича Добужинских.

«Поистине, когда вызываешь в памяти всю картину прошлого и нашу петербургскую жизнь — могу сказать, как мы были неисчислимо богаты!» — эти слова Добужинского можно поставить эпиграфом к книге его воспоминаний.

Дело не только в богатстве его собственной жизни — жизни художника, уроженца Петербурга, много ездившего со своим отцом, генерал-майором, служившим в разных краях России (мальчиком Добужинский жил в Кишиневе, много лет — вплоть до окончания гимназии — в Вильне, лето обычно проводил у матери, разведенной с отцом и жившей в своем имении в настоящей российской глубинке). Дело именно в богатстве и разнообразии жизни, окружавшей его, в богатстве и разнообразии ее путей и возможностей. Это главное, что поражает в воспоминаниях. Несомненно, портреты знаменитых современников, которые Добужинским написаны очень тщательно, точны и интересны. Дягилев, Сомов, Философов, Бенуа, Остроумова-Лебедева, Мережковский, Розанов, Фокин, Чюрленис, Рахманинов — созвездием этих имен отнюдь не исчерпывается число художников, писателей, музыкантов, о коих пишет Добужинский. И хотя в описании их он столь же неподражаемо тонок, как и в своей графике, в конечном счете не это представляется мне самым ценным в его воспоминаниях, а тот воздух времени, который художник вовсе не хотел «живописать», не пытался дать о нем какое-то особое представление. Он стремился всего лишь к точности описаний, но эта точность, скупость в передаче событий собственной жизни и жизни русского искусства начала века привела к тому, что мы читаем воспоминания Добужинского как сви-

детельство почти документальное и в высшей степени объективное.

По этой книге можно восстановить быт и Петербурга, и российской деревни последнего десятилетия прошлого века и первых двух десятилетий нашего. Добужинский с детства был очень привязан к городскому пейзажу, очень внимателен к нему: первые, совсем еще ребяческие, рисунки его отражали виденное из окна, или на улице, во время прогулок с няней, или в Новгороде, где жила его многочисленная родня с материнской стороны.

Мать Добужинского, оперная певица, была дочерью священника, но очень недружелюбно относилась к официальной церкви, в те времена в большой мере бюрократизированной. После развода родителей Добужинский воспитывался у отца, профессионального военного, который принадлежал к лучшей части русского офицерства, хранившей старые, благодородные традиции армии. К гимназии генерал-майор относился весьма неуважительно, не любя ее за способность засушивать все самое интересное — касалось ли это истории, литературы или языков. Он пытался вначале дать сыну домашнее образование, но в конце концов все же был вынужден отдать его в гимназию. Ту же непочтительность вызывало в старом Добужинском и Министерство народного просвещения, которое он, как и многие в то время, называл министерством «народного обалдения». В России было множество устаревших, закосневших институтов, поэтому тот факт, что лучшая часть тогдашнего русского общества жаждала перемен, был совершенно естественным. Но, как пишет в своих воспоминаниях Добужинский, при всем недовольстве многими порядками в тогдашней России, очень небольшая часть людей, интересовавшихся политикой и философией всерьез, склонялась к переменам столь радикальным, как построение социалистического общества. Добужинский от всех этих вопросов был далек, но веяния времени не могли его не коснуться. Уже в гимназии, в старших классах, он начал читать сочинения Маркса — не столько по собственной инициативе, сколько побуждаемый к этому одноклассниками, среди которых постоянно велись политические споры и дискуссии. Добужинский пишет, что социализм, каким он себе его представлял по сочинениям его апологетов, виделся

ему невыносимо, чудовищно скучным. Он решительно не мог себе представить, чтобы такого рода общество могло быть реально создано и люди в нем могли бы себя чувствовать счастливыми. Ему казалось, что подобное общество может воспитывать только глубоко ущербных людей.

Эти страницы воспоминаний читаются с острым интересом: ведь нам, в сущности, очень мало известно о том, как воспринимались социалистические теории, что называется, рядовым гражданином общества. Мы знаем только аргументы политических сторонников или политических противников этих теорий, причем — в изложении советских историков, которые, мягко говоря, грешат против истины... Добужинский пишет прежде всего о «скушности» социализма, он очень часто повторяет это слово, явно на нем настаивая — и тщательно при этом старается отразить именно тогдашнее свое отношение к этому вопросу, не приводя ничего из более позднего времени, из сложившегося уже после 17-го года и в эмиграции взгляда на социализм. И слово «скушно», которое повторяет Добужинский, чрезвычайно любопытно именно в этом контексте. Для нас оно, во всяком случае, совершенно неожиданно — уж больно непривычно слышать его в применении к тому, что лежит в основе более чем шестидесятилетнего периода в жизни России и давно обросло великим множеством самых разных слов и выражений, исходящих как от апологетов социализма, так и от противников его. Но вот такого простого и бытового, такого свежего и «ненаучного», «неидеологического» слова, как «скушно», слышать нам еще не доводилось.

Добужинский, естественно, очень большую часть своих воспоминаний уделяет «Миру Искусства», созданному Дягилевым, и всей плеяде знаменитых художников, окружавших его. И если литературные портреты этих людей, составляющих славу русского искусства, можно найти и во множестве других мемуаров, то у Добужинского в большей степени возникает, если так можно выразиться, портрет свободы духовной и творческой — в атмосфере которой прошло начало двадцатого века в России.

Можно с уверенностью сказать, что, не будь этого ощущения легкости, в котором проходил сам творческий процесс, — я не имею в виду легкости создания, но легкости, в

которой рождались самые разные направленности в работе и поиске художников, легкости, которая их стимулировала и обогащала, — не будь этой легкости, называемой попросту свободой, и не было бы создано три четверти того, что было создано в этот период, что сделало Россию одной из богатейших по духовному наследию стран мира.

Разумеется, Добужинский не первый писал об этом, но его способность к детализации, внимательность к мелочам делают рассказ настолько зримым и представимым реально, что, кажется, речь идет о совсем близких временах — рукой подать, и это вызывает ощущение зависти, словно сам мог бы жить той жизнью, да только по случайности и по собственному нерадению не нашел ее.

А между тем это — начало века, родившее октябрь 17-го года, который свел потом к нулю, обесценил и уничтожил все самое драгоценное, что возникло вместе с новым столетием.

В. Иверни

Коротко о книгах

МЕНАХЕМ БЕГИН.

В БЕЛЫЕ НОЧИ

«Москва-Иерусалим», Тель-Авив, 1978 г.

«Истории известно немало случаев, когда граждане создают подполье, чтобы действовать против власти, в Советском Союзе власть создала подполье против граждан». Эта на вид парадоксальная формула на самом деле точно вскрывает сущность советских карательных органов, с их секретностью, с их отсутствием какого-либо подобия гласности, с их органичностью для «государства нового типа» (в большей даже степени, чем для родственного ему «нового порядка»).

Только это «подполье», размах деятельности которого ни одному террористу в мире и пригрезиться не мог, сумело уничтожить шестьдесят шесть миллионов собственных граждан. А как это происходило (да и продолжает происходить), мы уже знаем из множества книг, но мир по множеству причин оставался слеп ко всем свидетельствам, пока не появил-

ся капитальный труд А. Солженицына. Книга Менахема Бегина «В белые ночи» вышла в оригинале еще в 1952 году. Еще жив был Сталин, еще ГУЛаг функционировал в тех самых, классических формах, по сравнению с которыми сегодняшней ГУЛаг кажется более мягким. Еще не было большинства лагерных воспоминаний — хотя бы потому, что авторы их или сидели в лагерях или даже еще не попали туда...

М. Бегин, арестованный в 1940 году в только что захваченном Вильнюсе, прошел весь путь допросов, тюрем и лагерей за срок довольно короткий — немногим более полутора лет, но ему хватило этого не только для того, чтобы потом написать книгу, в которой все стороны существования людей в этом аду описаны подробно, с потрясающей наблюдательностью, но и сделать глубокие и обоснованные выводы о самой сути советской систе-

мы вообще. Автор ставит один из кардинальных вопросов, касающихся сути системы: почему «на советских процессах обвиняемые отрекаются от идеи и одновременно отказываются от жизни. И мир удивляется, что заставило их пойти на двойную жертву?» Среди причин поведения обвиняемых на показательных процессах Менахем Бегин главной считает изоляцию, и не просто «режим изоляции» подследственных, но «изоляцию режима»: ощущение полной напрасности жертвы, безнадежного молчания вокруг того, что творится, легко приводит к почти добровольному самооговору. Вторым важнейшим фактором Бегин считает лишение сна — способ, впрочем, далеко не новый, и только третьим, действующим не на всех арестованных, а лишь на идейных коммунистов, вроде Бухарина (и кестлеровского Рубашова), — ту социальную общность палача и жертвы, которая позволяла следователю говорить «мы с вами», как позже писал об этом Солженицын. «Коммунисты, — пишет Бегин, — являются наиболее удобным объектом для применения методов НКВД, способных сломить дух че-

ловека без физического воздействия».

Сверх полутора лет тюрем и лагерей, автор прожил — вернее, пробродяжил — в Советском Союзе еще около года. Вот хронологически и весь его опыт советской жизни. И, тем не менее, польский гражданин, покинувший СССР с армией генерала Андерса, М. Бегин сумел понять за этот недолгий срок то главное, что и составляет самую бесчеловечную в современном мире социальную систему. Не случайно приводит он потрясающие примеры: врач — польский еврей — говорит в бараке одного из печорских лагерей: «Если бы мне предложили выбрать между Печорлагом и концлагерем Дахау, я, кажется, выбрал бы Дахау». И это — человек, сидевший и там и тут, человек, который мог сравнить не по слухам, а на собственном опыте обе системы... Не соглашаясь полностью с такого рода высказываниями, Бегин между тем пишет: «Необходимо различать нацистские лагеря до 1939 года и лагеря массового уничтожения периода второй мировой войны». По сравнению с первыми — советские лагеря несомненно страшнее, по сравнению со вторыми — они все же дают человеку

ть надежды на выживание...

Сходство двух государственных укладов Бегин объясняет следствием одного и того же идеологического фактора: «Не случайно диктаторы Германии и России со всей беспощадностью искореняли веру в Бога. Любая религия проповедует сострадание». А различие между ними «не в жалости, не в этической, а в экономической посылке, заключенной в советском сокращении *'рабсила'*». Бегин приводит потрясающий пример: в Ташкенте однажды в один день арестовали сотни граждан, ехавших без билета в трамваях. Все эти «зайцы» получили от года до двух лет лагерей, а иным сроки и продлили уже на месте...

Рабсила — уже давно не рабочая, — рабская сила.

Книга Менахема Бегина издана по-русски только что, через четверть века после ее выхода в свет на иврите. Но значения своего она не утратила и займет свое место среди самых глубоких книг на тему ГУЛага. Дополняя то, что написано о лагерях, она раскрывает еще некоторые стороны советской действительности. Достоинство удивления и уважения то, что автор, будучи иностранцем, во-первых, сумел так глубоко проникнуть в суть советского строя, во-вторых, нигде и никогда не смешивает понятия «советская система» и «русский народ». (Впрочем, это же — характерная черта всех многочисленных воспоминаний польских граждан, сидевших в 1939-42 гг. в советских лагерях.) Как всякий истинный националист, он не имеет ничего общего с шовинизмом.

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ

ЗАПИСКИ НОЧНОГО СТОРОЖА

«L' Age d' Homme», Лозанна, 1979

Новая книга Александра Зиновьева — по сути дела, не новая: это утерянная в свое время глава из «Зияющих высот», нашумевших на

весь мир и переведенных уже на все основные европейские языки.

В условиях Ибанска ночным сторожем оказывается,

разумеется, интеллигент. Как и в основном тексте «Зияющих высот», сюжета в книге фактически нет, да и нужды в нем не имеется — заданы условия, несколько «правил игры», определяющих ибанскую действительность, и уже из них вытекает с железной логической необходимостью и то, что Кандидат, Физик и Сторож занимаются ремонтом (в порядке «левой» халтуры ремонтируют квартиру Чина, которая находится в доме, который построен бригадой Героя, который за это... и так далее и тому подобное). Из тех же правил вытекают и противоестественные роли других людей в обществе: секретарш, талантов, директоров, порядочных людей... Одно из этих правил гласит, что научный ибанизм как теория существует и развивается, а общество, строго базирующееся на нем и только на нем, деградирует, перейдя всякие пределы деградации, но почему-то не перестает существовать. «Удобная точка зрения» — наука «о полном ибанизме давно существует, а вот самого этого полного ибанизма пока нет». Удобна она тем, что оставляет всегда и всем щель для оптимизма вопреки реальности. И все же, несмотря на

этот оптимизм, — стиль ибанской жизни, разумеется, серый. Доминирующий цвет. Цвет во всех смыслах. На всех уровнях. И вопреки законам оптики он — в основе всех цветов. И эта серая среда не только «борется» с «отщепенцами», она нуждается в их существовании, ибо если ей не с кем «бороться», то монолитность ибанского общества, а значит, и его существование, оказывается под угрозой. Внешний враг — по мысли Зиновьева — не оказывает такого сплывающего влияния, если его не трансформировать во врага внутреннего. И типичен именно такой отщепенец, как Ночной Сторож, который даже не сможет рассчитывать на известность и поддержку со стороны Запада. В этом смысле он не только в худшем положении, чем известные диссиденты, но и более массовое явление. И несмотря на полную его беззащитность, на полную неспособность бороться с ибанизмом как таковым, именно его существование дает какие-то возможности смотреть оптимистически на дальнейшую историю Ибанска. Даже если количество «ночных сторожей» будет увеличиваться только в результате липовых дел, заво-

димых на того или другого человека, система не может не породить отщепенцев в количестве, явно превышающем ее потребности в жупе-лах.

А уж лагерь строгого режима или психушка ждет ночных сторожей, или (и!) вместе с этим — «звание» диссидента

— это неважно. Колесо вертится, Ибанск стоит, и даже призрак его будет стоять, как считает Зиновьев. И поэтому оптимистические выводы, которые можно все же сделать из книг Зиновьева, появляются у читателя как бы помимо авторской воли.

ВЛАДИМИР ГУСАРОВ

МОЙ ПАПА УБИЛ МИХОЭЛСА

«Посев», Франкфурт, 1979

Броское название этой книги — не столько преследует рекламные цели, сколько является символом. (Автора трудно заподозрить к книготорговой рекламности, так как книга была написана для самиздата, где лет десять и распространялась, прежде чем достигла типографского облика.) В книге Гусарова о Михоэлсе вообще речь не идет. Ни о его театре, ни о его убийстве. Автор замечает, что ему даже неизвестно, знал ли его отец — тогда первый секретарь ЦК Белоруссии — о том, что готовится это убийство, и принимал ли он участие в этом деле. Только после прочтения книги становится понятной символичность на-

звания. Во всем масштабе символа, ибо на первый взгляд название кажется просто спекулятивным. Но что же это за символ? Вот это и есть самое интересное в книге. Речь идет не столько о самом авторе — «типичном представителе золотой молодежи», то есть детей крупных партийных чиновников, сколько о самой среде — об отцах и детях. Автор и типичен для этой среды, и нетипичен. Начинал он жизнь, как все сынки из этого круга, — мог позволить себе то, чего простой человек никак не мог, ибо щитом ему служило положение отца. Надо поехать куда — есть отцовская служебная машина с шофером, напьешься до бес-

чувствия — папа выручит из любого вытрезвителя, из любой милиции вытащит. А когда отец пытался «проучить» своего недоросля, то это оказывалось и бесполезным, ибо сын в глубине души презирал отца, и даже опасным, ибо мог и сдачи дать.

А нетипичен он прежде всего потому, что обычно дети высших партийных чиновников, если даже они с ранней молодости и враждебно настроены к власти, быстро остепеняются и научаются извлекать все выгоды из своего положения. Гусаров же — не остепенился. С 1952 года его таскают по тюрьмам и психушкам, где он вполне приобщился к жизни обычных людей, но и тут не выжить бы ему, если бы не отцовские связи: свой бунт он начал, матерно обругав Сталина в присутствии множества свидетелей в ресторане. Это был еще бунт балованного барчука, но то, что за этим последовало, — стало настоящей школой

жизни. Годы должны были пройти, прежде чем Гусаров смог отдать себе отчет в том, над какой пропастью он стоял. Но, к чести его, — и поняв все, он не остановился. Не примирился с властью, не махнул рукой — дескать чего там, все так живут, что мне больше всех надо, что ли? Юношеский протест, неприятие лжи, максимализм перешли у него в стойкую идиосинкразию к власти, в физическое отвращение к ней, усиленное сознанием своей причастности, общей с другими вины.

В известном смысле — как свидетельство об определенной среде, о «барчуках» советского общества, книга Гусаров уникальна и неожиданна. А что касается символа — символа, а не рекламного названия, то все «папы» убивали всех «михоэлов». Ибо само сосуществование партии и интеллигенции — явление противоестественное, так же, как сосуществование мира роботов и творческого духа.

ЕФИМ ЭТКИНД

МАТЕРИЯ СТИХА

Институт славистики, Париж, 1978

Как пишет в предисловии автор, «история у этой книги, судьба ее необычная и мучительная». Начатая еще лет десять тому назад в Ленинграде, книга завершена в Париже и издана здесь. Исследование по русской поэтике, одно из наиболее обстоятельных и всесторонних в отечественном литературоведении, оказывается в положении контрабанды, ибо имя автора, как и все имена писателей, вынужденных эмигрировать, совсем по-орвелловски исчезает не только из настоящего, но и из прошлого советской литературной жизни.

Книга Эткинда отличается от большинства стиховедческих работ прежде всего тем, что всяческие подсчеты размеров, ударений и прочих элементов стиха сведены к минимуму. С другой стороны, автор не ограничивается тем, чем часто исчерпывает себя критика поэзии — комментированием «содержания» и метафорического строя стихов. Если первое — анализ чисто формальный, некая стихобухгалтерия, а вто-

рое — анализ «идейный» (подсовывание критиком поэту того, что он якобы хотел сказать, — почему тогда не сказал?), то книга Эткинда принципиально нова тем, что ведет читателя от мельчайших атомов формы к выражению через сами эти атомы философской, лирической, эмоциональной сути стихотворения. Для искусств наиболее сложно организованных, с наименьшей возможной энтропией, форма сама и есть содержание, ибо ни один ее элемент — «не формален»: любой звук или поворот ритма и есть молекула эмоции и мысли. Не может быть вообще того «единства формы и содержания», о коем твердит марксистское литературоведение, взявшее это понятие у рационалистов XVIII века. Не может быть, ибо, говоря о «единстве», уже предполагают возможность их раздельного существования.

Ежели мы такого единства требуем, значит может быть и некое «не-единство»? Голое содержание? Но даже в газетной статье «такая жи-

вотная не бывает». Но форма газетной статьи — есть форма всеобщая. И вверх по лестнице индивидуализации формы, вплоть до сложнейшей поэтической строфы, все сложнее структурность произведения, все меньше в нем случайного. Структурность — почти синоним понятию форма — противоположна случайному словосочетанию — синониму такого понятия, как хаос. Тут как в информатике, как в кибернетике: чем выше организованность, тем ниже энтропия. Концентрированность информации — эмоциональной, образной, духовной, становится все большей с подъемом по «лестнице контекстов». Емкость тридцати прозаических слов — это одно, емкость фразы, из них составленной — уже на порядок сложнее организованной, — на порядок же и выше, а емкость стихотворных строк из тех же элементов — уже на несколько порядков выше, ибо и ритм и музыка звуков — все повышает организованность системы экспоненциально. Потому-то и невозможно пересказать стихи прозой; если же это можно сделать без потерь, то перед нами не поэзия. Эткинд показывает это на примере сонета Хераскова, который отличается от

прозы только последовательной — по правилам сонета — рифмовкой четырнадцати строк да пятистопным ямбом. Одно это уже, конечно, повышает организованность системы, хотя отличие от прозы лишь по двум признакам — ритм и рифма — далеко недостаточно. Одна только ритмичность как таковая: ритмы звуковых, образных, смысловых, грамматических и прочих повторов, ритм во всех смыслах этого понятия — уже сложность, напоминающая современные представления о структуре физической материи... Это говорит нам, что стих — не игра, не каприз, а высшая степень организованности словесной материи. Но материя сама не возникает из ничего, она есть трансформация изначальных духовных субстанций, уже несущих в себе принципы структурности, упорядоченности. Информативность и состоит в этой упорядоченности. Структура противостоит энтропии, космос — хаосу. Информация — не есть материя, но она первична, как чертеж, по которому строят нечто материальное... И нет понятий содержание и форма — чем примитивнее форма, тем беднее содержание. Хаос вообще бессодержателен, хотя мате-

рии в нем может быть сколько угодно...

По мысли Эткинда, это отнюдь не значит, что проза беднее, ближе к хаосу. Проза и поэзия — два пути, два разных принципа структурализации словесной материи. Но одна из форм — поэзия — дается читателю как бы в виде импульса, другая же — проза — существует как шаг за шагом движущееся познание. Уместно будет провести параллель: религия и наука. Знание духовное, данное разом, неделимо, и длинный путь к познанию той же сути шаг за шагом...

Они не противоречат друг другу, это разные пути познания.

По мысли Эткинда — и это представляется важнейшим в книге — поэтическое слово обогащается новыми смыслами в зависимости от степени индивидуализации контекста. Есть контекст общесловарный. Это низший уровень, речь тут идет о «простом» значении слова. Он есть и в простом разговоре и в стихе. Следующая ступень — контекст фразеологический, где слово обре-

тает дополнительные смыслы, затем контекст литературного направления (классицизм; к примеру, остановился здесь, без дальнейшей индивидуализации) — в наше время на уровне этой ступени останавливаются графоманы, это уровень поэтической банальности. Наконец, контексты личный (данного поэта), контекст цикла стихов и контекст отдельного стихотворения, когда те же слова в другом стихотворении того же поэта несут другие оттенки смыслов...

Итак, форма и есть содержание, структура и есть смысл, структура, а не материя первична. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Так начинается величайшая поэма в истории человечества — Евангелие от Иоанна. И нет четкой границы между духом и материей, как нет ее между формой и содержанием. Ибо материя есть Дух в доступном для нас воплощении, Слово — есть материя стиха, но структура его, как и всякая структура, явление нематериальное и вместе с тем — первичное.

ДАВИД САМОЙЛОВ

«ВЕСТЬ»

«Советский писатель», Москва, 1978

Новая книга Давида Самойлова привлекает внимание не тем, что в ней помещено несколько поэм на исторические темы, написанных в обычной, действительно «самойловской» манере. С манерой этой, да и с самой концепцией Самойлова можно спорить. Не этим книга интересна, а несколькими лирическими стихотворениями, которые оказались «томов премногих тяжелей». Ни в одной из предыдущих книг не проявлялся столь пронзительный и печальный лиризм:

Выйти из дому при ветре,
И поклониться отчизне,
Надо готовиться к смерти,
Так, как готовятся к жизни...

И вот так «ветрено, холодно, вольно» сочетается в самойловской лирике есенинское с ахматовским, вроде бы несовместимое, — и эта несовместимость высекает искру неподдельной поэзии. Режущей искренности:

Упущенных побед немало,
Одержанных побед немного,

Но если можно бы сначала
Жизнь эту вымолить

у Бога —
Хотелось бы, чтоб было
снова

Упущенных побед немало,
Одержанных побед немного.

Когда рядом с такими шедеврами в книге появляются длинноватые поэмы, то, при всех их достоинствах, не по ним судишь о поэте.

Но на одной поэме приходится остановиться. Впервые она была опубликована еще в «Дне поэзии» несколько лет тому назад. И рядом с лирикой, в которой и душа, и совесть говорят своим голосом, поэма эта выглядит по меньшей мере странно. Называется она «Струфиан». В подзаголовке — «недостовверная повесть». Но, к сожалению, ее недостоверность не в том, что существа с летающей тарелочки похитили Александра I, и не в том, что автор высмеивает известное предание о святом старце Федоре Кузьмиче, которого не без оснований отождествляют порой с самим Александром, ушедшим

в отшельники, — нет, дело в том, что автор приписывает казаку намерение преподнести царю трактат «об исправлении Российской империи» и, стилизуя — не совсем удачно — язык начала прошлого века, вкладывает в его уста следующие идеи:

На нас, как ядовитый чад
Европа насылает ересь...
Дабы России не остаться
без хомута и колеса,
необходимо наше царство
в глухие вести леса.
В Сибирь, на Север, на
Восток,
оставив за Москвой заслоны,
как некогда увел пророк
народ в предел незаселенный.
Необходимы также меры
по возвращенью старой
веры...

Вот ради чего Самойлов писал свои три сотни строк ненаучной фантастики! Приписав «Федору Кузьмичу» такие проекты, хотел он, чтобы в его пародии на социально утопические труды, коих Федор Кузьмич никогда не писал, углядели бы власти пародию на известное «Письмо вождям Советского

Союза» А. И. Солженицына, в котором, есть, в частности, мысль о «необходимости заселения наших огромных и поныне почти пустых пространств Северо-Востока». Идея же Солженицына о необходимости «экономики негигантизма с дробной, хотя и высокой технологией» у Самойлова превращается в «хомут и колесо». Прием явно недобросовестный.

И потому странным контрастом кажется то, что в одной и той же книге с этим верноподданным зубоскальством находятся стихи действительно прекрасные:

Чет или нечет?
Вьюга ночная.
Музыка лечит.
Шуберт, восьмая.
Правда ль, нелепый
Маленький Шуберт —
Музыка — лекарь?
Музыка губит.

Поэтому книга «Весть» и кажется явлением очень противоречивым не только с точки зрения художественной, но и с точки зрения просто человеческой.

ЖЕРТВА В ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ

*L. Shamkovich. The Modern Chess Sacrifice
David Mc Kay Company, New York, 1978*

В многоликом спектре изгнанной за рубеж русской интеллигенции шахматные художники занимают особое место. К счастью, к ним неприменимы горькие коржвинские строки: «Я умер там и не воскресну здесь...» Скорее наоборот, о них можно сказать по-елагински: «Мне незнакома горечь ностальгии, мне нравится чужая сторона...» Быть может, для шахматистов процесс адаптации в новых условиях и дальнейшего развития дарований упрощается шахматной семьей мира, девизом которой давно стали слова — *gens una sumus*.

Из покинувших страну гроссмейстеров можно было бы составить сборную России в изгнании, если бы ФИДЕ допустила команду к соревнованиям. В такой дружине был бы второй шахматист мира Корчной, победитель престижного Гастинского турнира Джинджихашвили, чемпион Голландии Сосонко, призер многих состязаний Лейн, неоднократный чемпион Израиля

Либерзон и двухкратный чемпион России (РСФСР) и США (Открытые первенства) Шамкович; а если нужна была бы женская доска — Алла Кушнир.

Гроссмейстеры, гордость отечественного искусства, не только добиваются блестящих спортивных успехов, но начали завоевывать и западный книжный рынок. Виктор Корчной на нескольких языках выпустил уже две книги: «Лучшие партии» и «Автобиография». Его примеру последовал Леонид Шамкович, чью книгу «Жертва в шахматной партии» представило читателям нью-йоркское издательство МакКей.

Книга Л. Шамковича выгодно отличается от классической работы Шпильмана «Искусство жертвы в шахматах» своей классификацией, четко разграничивающей «жертвенные мотивы» во всех стадиях игрового процесса: от дебюта до эндшпиля. Если согласиться с гамсуновским утверждением, что правда — незаинтересованная субъ-

С 1976 года ежемесячный журнал

«ПОСЕВ»

Выходит также как
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Это издание «П о с е в а» предназначено специально для переправки

в Р О С С И Ю

и для распространения среди граждан СССР за рубежом.

Ежеквартальный «П о с е в» содержит избранные статьи из трех текущих номеров ежемесячника, особо важные для читателей в России.

Ежеквартальный «П о с е в» внешне похож на ежемесячный. Фотография на обложке. Вдвое меньший формат (15 × 21 см). Увеличенное число страниц (от 96 до 128). Тонкая бумага. Убористый шрифт.

Имеющие возможность переправлять журнал в страну или передавать советским гражданам могут получить его бесплатно по адресу издательства:

A. Kandaurow c/o POSSEV-VERLAG
Flurscheideweg 15, D - 6230 Frankfurt/Main - 80
West Germany

Издатели будут благодарны и за материальную помощь, которая позволит увеличить тираж журнала.

По страницам журналов

ТОНКИЙ ЖУРНАЛ

(«Эхо», №№ 1 — 4)

Критик из «Русской мысли» писал, что журнал «Эхо» напоминает дом Собакевича, где каждая вещь, каждый предмет похож на хозяина и как бы утверждает: я тоже Собакевич.

Проза «Эха» и в самом деле перекликается с творчеством одного из двух редакторов журнала, потому что и сам он, и его авторы работают в одной школе, в так называемой «ленинградской прозе». А поскольку Марамзин — мужчина видный, то в этом, вероятно, и заключается соль хохмы.

Приведение же компонентов «Эха» к общему эстетическому знаменателю — явление необычное в нашей журнальной практике и заслуживает серьезного разговора. Например, журнал, который вы сейчас читаете, состоит из совершенно разных материалов. Нас объединяет разве что одинаковая дистанция от любого идейного, национального и культурного экстремизма да некоторый запас терпимости и уважения к собратьям по перу. «Континент» принадлежит к категории *толстых* журналов, вызванных жаждой независимого общественного мнения. Русская периодика издавна брала на себя задачу гражданского размышления, когда таковое не находило себе места в государстве. Но когда гражданская мысль билась в открытую в университетской аудитории, в широкой прессе, в выборном органе, хирел *толстый* журнал и уступал сцену целой стае *тонких*, таких, как «Новый путь», «Весы», «Аполлон», «Золотое руно», «Перевал» и т. д. И нынешнее «Эхо» — их прямой родственник.

Толстый и *тонкий* журнал — не конкуренты. Культурный бульон вскипает на углях свободы. И когда дуют ледяные ветры — гаснет огонь самосознания и холодеет котел культуры на колеблемом треножнике. Борьба с *тонкими* велась с тем же пылом-жаром, что и с проблесками независимости на страницах *толстых*. Акт о смерти русской куль-

туры содержался в известном постановлении о роспуске творческих групп, объединений, товариществ — родителей *тонкой* периодики.

И «Эхо», заявляя о себе задолго до политического потепления, до таянья *толстых* журналов, свидетельствует не только о возникновении у нас культурной среды, но и о ее чрезвычайной жизнестойкости. Зачем же встречать первую ласточку литературным матом?

Что может быть у нее общего с пресловутым гоголевским персонажем? Разве можно представить себе, чтобы Собакевич, намаявшись день-деньской на основной работе, сел бы ближе к ночи за редактирование, правку, перепечатку рукописного сырья? А потом бы вез собранный номер из Парижа в провинцию, где типография подешевле? Когда спрашиваешь Марамзина, во что ему обходится издание, он называет сумму, уплаченную типографу, как тот крестьянин, что, угощая нас за своим столом, приговаривает: «Кушайте на здоровье, это свое, не покупное!».

Впрочем, мой друг Марамзин не обиделся на Собакевича. По его разумению, Россию погубили не собакевичи, а маниловы в союзе с городничими во фригийском колпаке (образ Бердяева). А победы у нас собакевичи, не было бы нужды «Русской мысли», «Континенту», «Времени и нам» располагаться за границей. И «Эхо» было бы местным, а не парижским откликом.

Что вовсе не значит, конечно, что редакторы его, Марамзин и Хвостенко, плыли бы по молочной реке вдоль кисельных берегов. Шире был бы круг их подписчиков. Но так же приходилось бы садиться ближе к ночи за машинку и ездить к провинциальному типографу. Отношения с победителями не были бы натянутыми. Их просто бы не существовало. Выпускать тонкий журнал — сужу по его зарубежным кузенам — всегда добровольная нагрузка, всегда субботник литератора. «Эху» не часто перепадают субсидии, чаевые, дотации. И сравнивать его с Собакевичем — явная бестактность.

Однако не будем томить читателя, еще не знакомого с «Эхом», и введем его в ленинградскую прозу. В отличие от *деревенской* и *молодежной*, она не имеет четкой социальной привязки. Квалифицировать ее можно лишь эстетически.

В ее семейном альбоме хранятся обериуты, Платонов, Зощенко. И хотя сочетание столь разнородных предтеч в одной генетической комбинации едва ли вообразимо, вы сразу же уловите знакомые черты, листая четыре первых номера «Эха».

Модернизм его прозы выявляется не столько деформацией предмета, сколько отсутствием у ленинградцев одного из трех измерений, создающих в традиционной беллетристике иллюзию жизнеподобия.

Рассказы Генриха Шефа — психологический срез души, на котором каллиграфически тщательно и до умопомрачительной плотности выписана какая-то одна психологическая подробность. Прочие: служба, жена, идейный мир его персонажа, связь с ближним и дальним — нанесены на избранную плоскость пунктирной, невесомой проекцией. *Митина любовь* к своей жене не интересна автору. А ему интересна «Митина оглядка» (название рассказа во 2-м номере) на других женщин. Не сами эти женщины, не эротическая пастила, что они радушно протягивают герою, а именно «оглядка», а именно преступный и словно помимо Митиной воли взгляд, в который проваливается, как в омут, все его существо.

«Одна абсолютно счастливая деревня» Бориса Вахтина (№ 2) лишена временного измерения. Былое и завтрашнее, жизнь и смерть не признают хронологического порядка. Молодые колхозники, «дремучий дед», заставший еще нашествие французов, а также погибший в последнюю войну Михеев — все спрессовано в едином экзистенциальном комплексе. Мертвые, освобожденные от повседневных забот, от посевной и починки забора, заняты осмыслением жизни, секретируют родовую память и откладывают ее в соты коллективного сознания. Растворившись в воздухе и в земле, солдат Михеев интенсивно размышляет, наблюдая за судьбой жены, детей, односельчан:

«Раньше я редко думал, как мне нравится наша деревня, некогда было об этом думать, надо было по ночам Полину любить, чтобы дети появлялись, днем работать, потом и ночью воевать надо было. Где тут с мыслями собраться или к учителю нашему сходить, как он приглашал, и выяснить некоторые вопросы про географию или почему наша деревня гораздо лучше других».

Из рассказов Владимира Маразмзина (№ 4) выпадает измерение, которое можно условно назвать иерархией вещей и ценностей. У писателя смыта граница между высшим и техническим моментом бытия. Бытовая деталь, отделяясь от задника, перемещается на передний план, ибо другого плана нет у Маразмзина.

Живая до рези в глазах деталь придает ленинградской прозе документально-этнографическую точность. И все же, я был обескуражен, когда один из французских редакторов (они тут такие же бесцеремонные, что и наши) приладил к моей рецензии на Маразмзина заголовок «Советский гиперреалист», имея в виду модное течение американской живописи, симулирующее уличную и домашнюю фотографию.

Ленинградской манере как раз и не свойственны ностальгическая блажь и самодержавие детали. Перемещаясь из бокового зрения в фокусный центр и стыкуясь с трагическим, деталь становится выражением возвышенного, поводом заглянуть в самые проклятые и неотвязные вопросы жизни. Сгущенный реализм обнаруживает черты реализма метафизического, унаследованного от обериутов и Платонова.

Проза «Эха» национальна по своей сути. И не из-за фольклорного орнамента и языческой мистики Вахтина. Она национальна прежде всего тем, что авторы не возвышаются над отечественной толпой ни с кафедры, ни с амвона, ни с броневика. Они — в гуще толпы, слиты с ее мифом и поверием, разделяют ее достоинства и недостатки.

И их национализм не страдает агрессивностью. В славнофиле-Вахтине проживает его брат-западник. Он-то и позволяет Полине, вдове Михеева, привязаться к пленному немцу Францу, человеку неспешному и незлобивому, ни минуты не умеющему усидеть без дела. Немец женится на Полине с благословения погибшего Михеева. Через Полину Франц полюбит русскую землю и привыкнет к русскому «тяп-ляп». Между Германией и Россией в космогонии Вахтина нет ненависти и презрения. Обе страны тянутся друг к другу как части одного, искусственно разъятого европейского тела.

А национализм Маразмзина питается убеждением, что народ непроницаем для идеологии. Пока начальник держит небо (№ 4), некто Туркин пашет на тракторе землю и жену начальника, не смеющего отлучиться с идеологического пос-

та. «Разделение труда! — кричит (Туркин), и сам разделяет без устали. — Одни небо держат, а мы, значит, пашем!». Народная речь ассимилирует язык начальства, и он распадается в ней, как в царской водке. Искореженный семантически и логически, язык начальства не достигает народно-го сознания.

Что же это всё — идеализация, антисоветская лакировка действительности? Вряд ли. Пеня на русское «тяп-ляп», Вахтин оставляет открытым вопрос, кто виноват, начальник-небодержец или дурная наследственность, но писатель признаёт, что *наш* сержант («Сержант и фрау», № 3) может окрутить и прикончить фрау Европу. Идеология притупила в нем ясность и наделила опасными рефлексам.

Герои же Марамзина, разлагая язык, мораль и политэкономии начальства, растрачивают на это свою живость. Лейкоцитоз, длящийся 60 лет, изнурил и опустошил нас всех. И благодать не имманентна народной душе, которую некому было засеять семенами разумного, доброго, вечного. Всматриваясь в изображенного Марамзиным городского зверька, влачащего безличностное, массовое существование, упиваясь его «потокотом сознания», его зощенковскую речью, взвихренной до горячечного монолога, мы начинаем понимать, что умиление и мессианская экзальтация — слишком легкий соблазн для значительного писателя, и он не рискует в него впасть.

...«Эхо» богато не только ленинградской прозой. Есть в нем хороший антикварный отдел (Введенский, Кавафис), есть «ранний» Бродский и «поздний» Лимонов. Но ведь руда оценивается содержанием главного в ней минерала. Все остальное, хотя бы и золото, относится к примесям. А в примесях «Эха» случается, увы, и не золото.

Путевые заметки В. Сосноры передают свистопляску глазного хрусталика, не успевшего за месяц в Париже приноровиться к калейдоскопу чужого, не погруженного в комендантский час города. Чтобы скрыть растерянность и несварение впечатлений, Соснора приправляет рассказ пикантными сведениями из биографий людей, принимавших его в Париже. Запах скандала, к счастью, не смешивается с ладаном прекрасных «русских» стихов Сосноры в том же 3-м номере.

Читая опубликованные в «Эхо» песни наших бардов, думаешь, что не все они выигрывают, будучи переписанными с магнитофона на бумагу. Это относится к некоторым песням Горбовского или к «Песне о французских бесах» Высоцкого. В ней говорится, как однажды нечистая попутала Высоцкого во французской столице и увлекла в «загул» по «русским кабакам». Загул загулом, но бард, заметьте, не теряет голову и помнит, где был, что пил, кто угощал, кто играл на скрипках и множество других туристических частности. Спектаклю вредят необоснованно драматическая интонация и какие-то абстрактные декорации: «Распахнуты двери больниц, жандармерий» — то, что пастернаковский летчик видел из самолётного окошка.

Вообще же, стремление прописать Запад в журнале не в качестве политической рентгенографии, а в живом натуральном виде — похвально, и читателю есть чем утолить голод. Например, роскошным описанием немецкого дома у Вахтина (никогда, между прочим, не бывавшего в Германии) или же американской исповедью Лимонова (№3)...

Лимонов раскрывает нам американское дно. Он падает в него затычным прыжком. Лимонов — мазохист и наслаждается падением в бездну. В полете он сбрасывает одну за другой все одежды и, когда ничего не остается, снимает с себя кожу. И здесь, как говорится, кончается искусство, но у Лимонова оно только начинается.

Его плаксивые жалобы (не в «Эхо», так в других журналах и газетах) на Солженицына, Сахарова, Максимова, выманивших его, дескать, из Харькова в Нью-Йорк, так же смешны и нелепы, как и жалобы на покинувшую его жену Елену. Не было бы изменницы Елены — не было бы импульса для этого стриптиза с кровью, который может быть, принесет нашему «неудачнику» славу и деньги (на Западе подобная литература в чести). И останься он в Советском Союзе, сидеть бы ему за порнографию и стонать под всем лагерем. Пришлось бы трем «искусителям» вытягивать из ямы «одного из лучших современных русских поэтов», а он потом бы плевал их в избытке благодарности.

Лимонов — вечный недоросль, папенькин сынок, ненавидящий общество своего отца, офицера НКВД. Но куда бы его ни бросила судьбина, его повсюду встречает это общество, называется ли оно социализмом или капитализмом,

КГБ или ЦРУ. Повсюду оно гнусное и несправедливое. К нему, к Лимонову. И он готов идти в троцкисты, террористы, разрушители. Но порою Лимонов устаёт от неравной и бесполезной борьбы и хочется ему успокоиться, забыться, замереть в сильных и ласковых отцовских руках. Отсюда его гомосексуализм. Отсюда запоздалая любовь к советской Родине. Отсюда мораль иждивенца, содержанки. И назойливые румяна, которые он без зазрения совести кладет на свою нарцисстическую наготу.

«Тетрадь неудачника» вызывает те чувства, на какие он, видимо, и рассчитывает. У одних — острую жалость и сострадание к этому «подонку» и «отщепенцу» (его же определения) с крестиком на шее. У других — гадливость и возмущение.

«Русская мысль» назвала приютившее Лимонова «Эхо» *нужником*. И это ее право. Только вот ведь что получается. Литература всегда была подпольем, спальней, *нужником*. И когда писатель посылал в него своего героя (Грушницкого, Свидригайлова, Ленина), мы говорили: жестокий талант. Но когда он отправляется туда под собственным именем — это нас не на шутку задевает, хотя мы и не можем знать, что в герое Лимонова от самого Лимонова, а что от неистребимой потребности поизмываться над святошей и ханжой, который и в *нужнике* не бывает и намеревается проникнуть в рай с полными штанами.

Ленинградская проза, увлекаясь структурным анализом души, массовым сознанием и типологией поступков, глуха, в принципе, к индивидуально-романтической судьбе, к страданиям вечно молодых вертеров, выродившихся на подступах к XXI столетию в Лимонова. Но сами-то они легко узнают себя в ее типологической галерее. Так, «случай Лимонова», то есть распад индивида на женскую и мужскую части, описан Марамзиным в «Блондине обеего цвета»...

Новому изданию исполнился год. «Эхо» спешит выговориться, поведать о главных событиях ленинградской прозы, накопившихся за 15 лет вынужденного молчания, и не желает при этом отставать от текущего литературного процесса. Журнал еще не обрел ровного, регулярного дыхания. Не нашел своего лица в поэзии, критике.

Будущее покажет, вспухнет ли он от заурядной беллетристики, от забавной всячины и туристской рубрики или

останется в *тонких*, с его высокими и определенными претензиями.

Э. Коган

На перекрестках советологического познания

(«Crossroads», №№ 1-3)

Вышел в свет журнал «Кроссроадс» («Перекрестки»), издающийся Израильским Институтом исследования проблем современного общества. За короткий срок своего существования (всего лишь один год) коллектив ученых-исследователей Института подготовил уже три фундаментальных тома журнала. Первый из них был опубликован во второй половине 1978 года, два других вышли в свет в конце февраля и в марте 1979 года.

В отличие от многих советологических изданий и многочисленных журналов, посвященных анализу истории и современного состояния советского государства, журнал «Кроссроадс», в полном соответствии с его наименованием, призван ознакомить читателя с самыми различными аспектами жизни и деятельности современного общества, находящегося ныне на самых противоположных перекрестках, каждый из которых связан с тем или иным уровнем социального кризиса.

Первый номер журнала посвящен в основном коммунистическому обществу, застрявшему на распутьях, утратившему реализацию собственных целей и запутавшему тех, кто ему внимает. С кратким содержанием первого номера мы и хотим познакомить читателя.

Он представляет собой солидный труд объемом в 277 страниц убористого типографского текста. Для его написания коллективом авторов (профессорами и докторами наук Института исследования проблем современного общества и Еврейского университета в Иерусалиме) использован широкий круг первоисточников на разных языках. Многие из этих источников вводятся в оборот впервые. Здесь речь идет о хрониках текущих событий, политических дневниках, информационных бюллетенях социологических обществ, стенографических отчетах их национальных международных кон-

грессов, сборниках документов об экономических связях стран Восточной Европы, документах Организации Объединенных Наций, специальных изданиях Академии Наук СССР, советских сборниках документов по национальному вопросу, русских, израильских, румынских, югославских и других ежегодниках.

Наряду с первоисточниками, авторами умело и критически использованы труды, опубликованные учеными, государственными и общественными деятелями разных стран (Бжезинского, Авторханова, Шапиро, Армстронга, Смита, Редлиха, Розена, Осипова, Семенова, Егорова, Руткевича, Нильса Бора, Тамма, Френкеля и многих-многих других). Тщательно изучена русская (советская), румынская, югославская, болгарская и американская пресса, многочисленные справочники и энциклопедические словари. Все это и дало возможность авторскому коллективу создать капитальный труд, который, казалось бы, посвящен различным темам, а в действительности — одной большой проблеме: анализу важнейших аспектов жизни и деятельности коммунистических обществ на современном этапе.

Говоря о достоинствах первого номера журнала «Кроссроадс», следует прежде всего подчеркнуть его правильную и удачно продуманную структуру. В нем четко определены пять основных разделов: идеология и политика, философия и право, экономика, национальное движение и комментарии, содержащие хронику важнейших событий последнего времени.

Не останавливаясь на каждой статье в отдельности, ибо их в журнале 16, а это, естественно, привело бы к пересказу их содержания, остановимся лишь на краткой характеристике достоинств и недостатков каждого раздела.

Первый из них, «Идеология и политика», дает полное и цельное представление о коммунистической идеологии на современном этапе. Идеология рассматривается авторами как фактор политических отношений и политических конфликтов, как неотъемлемая часть духовной культуры, вошедшая в себя философские, научные идеи, религиозные и этнические устремления, политический и социальный опыт.

Особое внимание здесь уделено «еврокоммунистической идеологии» как повторению забытых лозунгов восточноевропейского коммунизма, как модификации традиционного

тоталитаризма, одетого в национальные одежды марксизма-ленинизма и выступающего с теми же целями захвата и удержания власти. Важной частью первого раздела следует считать ярко нарисованный портрет коммунистического лидера, вождя, фюрера, одной из важнейших черт которого является лицемерие и ложь во имя сохранения так называемой коммунистической идеологии. Собирательный образ коммунистического вождя-идеолога увязан с вопросом создания, существования и процветания многослойной, пирамидальной элиты как неотъемлемой части современных коммунистических обществ; их страха перед народом, нарушения норм общечеловеческой морали во имя осуществления неких мессианских идей, и наконец, невозможностью и недопустимостью подчинения современной коммунистической идеологии закону и праву. К этому следует добавить наличие большого фактического материала о роли «чекистов», органов КГБ в обеспечении и распространении нужных партийному аппарату и политбюро «идейных» принципов.

Второй раздел рецензируемого номера журнала «Кроссроадс» посвящен философии и праву. Каждая из трех статей продолжает, развивает и конкретизирует основное содержание первого раздела. Если в первом разделе читатель знакомится с основными положениями коммунистической идеологии и непосредственными формами ее проявления, то во втором разделе речь идет о конкретных фактах вырождения советской философии и социологии как важнейших направлений гуманитарных наук.

Третий, важный, но, к сожалению, самый краткий раздел посвящен экономическим проблемам.

В советской и зарубежной печати много внимания было уделено освещению экономических реформ, проведенных в СССР и странах восточного коммунистического блока. О них говорилось как об актах, призванных произвести революцию в экономике социалистических государств. Но вскоре после их провозглашения о реформах перестали даже упоминать. Никто из государственных деятелей не считал нужным объяснить причины молчания. Ни в одном из органов коммунистической печати ничего не говорилось об итогах проведения этих реформ. Тем более интересным и новым является анализ этих итогов, данный в рецензируемом номере журнала. Весь фактический материал, сосредоточенный в

этом разделе, говорит о провале провозглашенных реформ. Ни в одной из стран Восточной Европы, за исключением Венгрии, они не достигли своей цели. Главная причина тому — их консервативность.

Много интересного и познавательного содержится в четвертом разделе, названном «Национальное движение». И в этом случае нам хотелось бы обратить внимание читателя только на один из важных вопросов, которые обстоятельно исследованы в этой части журнала. Это движение «неосионизма», активизировавшегося за последние годы в странах коммунистического мира и прежде всего в СССР. Оно явилось результатом банкротства коммунистической идеологии и, как следствие, привело к поиску еврейской молодежью выхода в сионистской идеологии, но не идеологии Бунда, зараженной социализмом, а в неосионизме, основанном на антикоммунизме и антисоциализме, который ближе к Жаботинскому, чем к Бунду. Оказавшись перед тупиком, молодое поколение евреев после долгого перерыва обратилось к опыту своих отцов, увидев единственный выход для своего национального возрождения в эмиграции в Израиль. Немалую роль в этом отношении, конечно, сыграл антисемитизм в коммунистическом обществе, хотя как таковой он, казалось бы, противоречит коммунистической идеологии. Неосионизм справедливо рассматривается здесь как национально-патриотическое движение, как возрождение национальных идеалов. Но дав обстоятельную характеристику развернувшегося движения, включая и самиздатское, автор слишком слабо отразил реакцию властей, характер и особенности борьбы с властями за обладание правами в соответствии с международными законами и декларациями.

Рецензируемый номер журнала «Кроссроадс» заканчивается рядом небезынтересных хроникальных заметок, затрагивающих довольно широкий круг разнообразных вопросов: итоги социологического обследования молодежи в СССР, которое свидетельствует о полном банкротстве предпринятого эксперимента из-за господствующих догм официальной идеологии; краткий обзор положения в области культуры в Румынии, в котором на основе материалов национальной конференции по драматургии приводятся убедительные факты подспудного недовольства в писательских кругах; эпизод,

связанный с поездкой Чаушеску в азиатские страны, как выражение стремления к осуществлению самостоятельной внешней политики (в качестве одного из примеров приведена встреча Чаушеску с Пол Потом и лобзания с ним); Израиль и евреи на страницах советской прессы и целый ряд других вопросов.

Подводя итог всему сказанному, следует отметить, что несмотря на имеющиеся недочеты, излишнюю растянутость отдельных статей, декларативность отдельных положений, первый опыт следует считать вполне удачным и весьма полезным. Хотелось бы пожелать авторскому коллективу Израильского Института исследования проблем современного общества в последующих номерах выйти за рамки СССР и Румынии и освещать также события, происходящие в других странах. И наконец, не отказываться от исторической тематики, поскольку исторические события, как известно, помогают пониманию явлений, происходящих в современном обществе.

Проф. Шалом Бен-Аба

Наша анкета

МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ О ГАЛИНЕ ВИШНЕВСКОЙ

Вопрос. Наше нынешнее интервью довольно необычное. Можно сказать, «семейное» — с мужем о жене. Можно бы, наоборот, пуритански забыть об этом и просто ставить одному великому артисту вопросы о другом великом артисте. Но, зная вас обоих, мы, пожалуй, даже не сумели бы впасть ни в ту, ни в другую крайность, потому что и «крайностей»-то этих не существует, а есть единый образ людей, связавших свои жизни на радости и на горести и отдавших себя музыке. Вот вы, признанный номер один мирового виолончельного искусства, об одном только вашем преподавании снят захватывающий фильм*, вы, знаменитый, хотя сравнительно «молодой» дирижер, и в то же время вы охотно, легко, радостно уходите в тень, становясь просто «аккомпаниатором Галины Вишневской», просто «мужем великой певицы». Как началась для вас эта роль аккомпаниатора, эта измена виолончели ради скромного сопровождающего фортепьяно?

Ответ. Начал-то я аккомпанировать — как муж. Мы ведь как поженились? Я Галю увидел впервые 11 мая 1955 года в Праге на фестивале «Пражская весна», а женились мы 15 мая. Таким образом, я в жизни потерял четыре дня. И больше терять не хотел. В бурные первые месяцы нашей совместной жизни мы

* Имеется в виду фильм Франсуа Рейшенбаха «Уроки Славы». Советскому зрителю Рейшенбах знаком по фильму «Америка глазами француза». — П р и м. р е д.

потратили много денег, а потом Галя мне говорит: «Теперь мне нужно шить себе платья». Это звучало грозно. Мне уже было известно, что ее портнихи жи-



вут в Таллине. Я знал, что ее ничто не удержит и она бросится туда, а как не хотелось расставаться!!! Да, к тому же, деньги... И тут меня осенило! Когда я был студентом консерватории, я хорошо играл на рояле. На экзамене я играл концерты Рахманинова, этюды Шопена и т. п. Потом я увлекся виолончелью и несколько подзабыл рояль. А тут я расхрабрился и предложил Гале дать в Таллине концерт с моим аккомпанементом: и дорогу оплатят, и го-

норар еще будет. Галя усомнилась: «А ты можешь?» — «Проверь — попробую». В этот день с утра до ночи я учил ее аккомпанементы и поздно вечером во время первой нашей репетиции я с ее позволения приобрел титул аккомпаниатора и вот уже ношу его 24 года. Когда нам принесли из Госконцерта билеты на поезд Москва—Таллин, я получил первый удар по своей новой шкуре аккомпаниатора. Дело в том, что как виолончелист я имел высшую категорию (как и Галя), а как аккомпаниатор — никакой. Поэтому нам на один и тот же поезд принесли разные билеты: ей в мягкий вагон, а мне — жесткую плацкарту. И не в самолюбии дело, а страх, ревность! Я и сейчас безумно ревнивый: все-таки она — одна в мире, и я ревную чем дальше, тем больше. Мне кажется, в гробу буду лежать, и то приоткрою один глаз посмотреть, кто вокруг нее вьется. А тогда, как вообразил, что она с кем-то чужим в купе и, может быть, даже с женщиной!.. Ну, ничего,

обошлось: и билеты переменили, и сыграл. Я уж и не понимал, хорошо играю, нет ли, но, наверно, сносно, раз Галя меня из аккомпаниаторов не прогнала. Она ведь не посмотрела бы — муж не муж. Много еще было смешных историй, но самое главное — это, как я счастлив, когда я ей аккомпанирую. И теперь ничуть не меньше, чем в первый раз. И счастье это творчества, сотворчества. Не стань я ее аккомпаниатором, и музыкальная моя биография сложилась бы по-другому. Ну, например, я никогда не участвовал бы в первом исполнении «Сатир» Шостаковича или вот недавно его же цикла на стихи Блока.

Вопрос. А то, что вы начали дирижировать в Большом театре, тоже связано с Вишневской?

Ответ. Да не то что связано, а прямо из-за нее начал. Мне хотелось соперничать с ней музыку, особенно в опере, где далеко не всегда дирижеры были достойны ее. А мне в музыке всегда не хватало теплоты человеческого слова, ибо виолончель — инструмент бессловесный. Я очень люблю оперу и этим обязан Вишневской — как и тем, что начал дирижировать. К тому же, я ее чаще видел, так как в театр имел доступ и мы работали вместе.

Вопрос. Но, видимо, вам, к тому же, легко аккомпанировать Вишневской? Все-таки не посторонний человек...

Ответ. Мне легко?! Безумно трудно. Когда аккомпаниатор с нормальным солистом (т. е. не с женой), даже если были в концерте какие-то огрехи у аккомпаниатора, ну, может быть, солист выразит после концерта свое недовольство, а потом аккомпаниатор вернется к себе в семью, где его приласкает жена... А куда мне идти, если Галя недовольна? Час-

то, когда ночью после концерта с трудом засыпаешь, Галя громко спрашивает: «А все-таки я думаю...» — и пошло! Правда, если я аккомпанировал хорошо, она мне спать не мешает.

Вопрос. Вот юбилей, юбилей, радостные и печальные: 25 лет служения Вишневской Большому театру, потом пять лет, как вы оба на Западе, а в 1980 году у вас еще один, глубоко личный юбилей — серебряная свадьба. Где вы думаете ее праздновать?

Ответ. Знаете, если верить советской прессе, так у нас на Западе давным-давно три дома в разных странах, так что мы могли бы выбирать, где праздновать. На самом деле, первое наше здесь свое жилье — парижская квартира, купленная уже после лишения гражданства. Да и в той больше полугодика ремонт идет, но все же есть надежда. Впрочем, есть и другая — не то что бы надежда, а так, искорка: чем чёрт не шутит, кто знает, что там будет в 80-м году, — может, еще снимемся с места, все тут бросим да отпразднуем в России? Да нет, я не пророчу, не предсказываю ничего, но — хотелось бы, понимаете, хотелось бы...

11 марта 1979 г. в с. Погребы, Броварского р-на Киевской обл. хоронили Михаила МЕЛЬНИКА. К угнетающе тяжелому состоянию, в котором пребывало село, добавилась атмосфера таинственности и страха: село было переполнено сотрудниками КГБ. Под разными предлогами было запрещено идти на похороны ученикам школы. Не разрешили хоронить с оркестром. Похороны организовали поспешно, на другой же день после смерти.

Большинство друзей Михаила из Киева даже не знали о его кончине, а тем, кто узнал уже в день похорон, учинили разные препятствия, мешая поспеть на похороны. Павел Стокотельный был задержан органами КГБ на автостанции при выезде из Киева.

Миколу Горбалья, Евгения Обертаса, которым все-таки удалось побывать на похоронах, схватили после похорон, отвезли в Броварское районное отделение милиции, устроили им обыск и продержали до поздней ночи.

Чем же этот человек, уже мертвый, вызвал такое беспокойство у властей? Кто виноват в его трагической смерти? Позднее, чтобы хоть как-то оправдать действия КГБ, станут распускать слухи, что будто бы при обыске у Михаила Мельника были изъяты радиостанция, листовки и т. п.

Михаил Мельник родился в 1944 г. в Винницкой области. В 1962 — 1967 гг. учился в Киевском государственном университете. После окончания два года работал в школах Киевской области. В 1969 — 1971 гг. — в аспирантуре института истории, откуда его отчислили за 20 дней до защиты. Причина — посещение 22 мая памятника Шевченко.

Потом — снова учительская работа в школе, но за обращение в официальные органы с письмом, в котором он протестовал против преследования украинских писателей, его исключили из партии, и он вынужден был уйти с работы «по собственному желанию».

Затем работает грузчиком на цементном заводе, позже — сторожем, перебивается случайными заработками.

И все это время подвергается постоянным преследованиям со стороны КГБ (вызовы, шантаж, разные обструкции). В ночь с 6 на 7 марта у него был произведен обыск и изъяты более пятнадцати папок его рукописей. В ночь с 9 на 10 марта он покончил с собой.

В последнем письме к жене благодарил ее за доброе сердце, за постоянную поддержку. Просил пересказать дочкам стихотворение, которое он посвятил им. (У Михаила остались две дочери: Оксана, 5 лет, и Дана, 4-х лет.) Объяснял, что на такой поступок идет сознательно, чтобы хоть как-то спасти и оградить детей и жену от несчастий и превратностей, связанных с его судьбой. Другим просил передать, что покончил с собой не из страха, а что это — самое оптимальное решение в том положении, в котором он оказался.

Безгранично жаль, что так преждевременно ушел из жизни человек, неутомимый искатель истины, такой непримиримый ко лжи. Жаль, что не увидят свет его научные труды, его исследования по истории. Мы знали этого честного справедливого человека. Пусть будет пухом тебе земля, наш друг.

*Петр Винс
Микола Горбаль
Владимир Малинкович*

*Ольга Матусевич-Гейко
Павел Стокотельный*

Памяти Юрия Домбровского

Слово прощания

Юрий Осипович Домбровский был прекрасный писатель. Но кроме того, и это значительно более редко, он был поразительным, прекрасным человеком. Самым прекрасным из всех, кого мне посчастливилось в жизни встретить. Потому он и был таким писателем, что был таким человеком. Писательство не было для него ремеслом, профессией, хотя он был профессионалом в самом высоком смысле. Писательство было его существованием. Он писал, как жил, как выпивал и закусывал, как любил и дружил, был всегда безоглядно щедрым и верным в дружбе, никогда не рассчитывал и не оставлял на завтра, все отдавал, готов был отдать последнее, безоглядно растрачивал себя. Он был поразительно сильным, могучим человеком, сильным физически и душевно, потому его и хватило на ту жизнь, которую судьба определила ему, потому он и прошел по этой жизни так, как он ее прошел, и сделал столько, сколько сделал.

Юрий Осипович Домбровский прожил большую жизнь. Он был всегда: он родился до той еще, первой войны, видел одну революцию и вторую, еще одну войну и другую, жил в году 29 и в году 37, в 41 и в 49, в 53, 56 и 68 и умер пять дней назад. Он жил все эти годы только так, как и мог жить русский писатель, и получил за то, как и чем он жил, то, что и должен был получить за такую жизнь настоящий русский писатель. Полной мерой отмерили ему. Не поскупились.

Да, время оставило свои следы, знаки на нем и на его книгах. Он был сыном своего времени. Но если бы он всего лишь выразил, или, как у нас говорят, отразил время, он не был бы таким замечательным писателем. А он был им, потому что всю свою тяжелую и прекрасную жизнь преодолевал время, оставив в своих книгах потрясающее свидетельство самого процесса этого преодоления, а в книге последней это преодоление зафиксировал.

Он был могучим человеком и знал, что сил у него много. Он был поразительно умным, мудрым человеком, хотя порой бывал простодушен и наивен, как ребенок. Но он переоценивал человеческие возможности, думая, что человек может все сам. Он шел своим путем интуитивно, ощупью, высшее, абсолютное было для него только философией, мировоззрением, но не реальностью, той самой высшей Единственной Реальностью, которая одна только и способна поддержать и вывести человека на его единственную дорогу, спасти его. Но и не зная о ней — об этой дороге, — он ее чувствовал и знал, бунтуя против нее, он ощущал ее всем своим сердцем, а потому его жизнь, его судьба и его книги стали фактом русской литературы, останутся в ней — это свидетельство силы духа, выстоявшего в борьбе со временем и преодолевшего его.

Да, Господь любил нашего Юру Домбровского, взвалил на его плечи столько, сколько не всякому было бы по плечу. И он все это выдержал, преодолел, всегда был самим собой, только собой и никем другим. А потому он и был счастливым человеком: он прожил свою жизнь только так, как мог ее прожить, не изменил себе, сделал все, что мог и должен был сделать. Он даже увидел накануне смерти напечатанную книгу, которую писал одиннадцать последних лет, ставшую его последней книгой, итогом его жизни, его художественным завещанием. Прекрасный русский роман о времени и его преодолении. Он успел подержать ее в руках и был счастлив и радовался, и больше всего боялся, чтоб кто-нибудь не заметил этой его простодушной и такой понятной радости.

Мы все так привыкли к смерти, так очерствели душой, что порой даже смерть молодого, полного сил человека не способна потрясти и ошеломить нас. А тут умер человек 69 лет, так трудно и тяжело живший, тяжело больной, усталый, к тому же успевший сделать все, что он сделать мог. Но в том-то и дело, что Юра Домбровский никогда не был больным, уставшим, тяжело жившим, все уже сделавшим стариком. Он был самым молодым из нас, самым здоровым, самым сильным, способным на то, на что никто из нас не был способен. И так до конца, до самого последнего дня.

А потому и невозможно представить себе, что больше никогда нельзя будет встретить его где-нибудь в книжной лавке на Кузнецком, в какой-нибудь «автопоилке», в писательском, простите, клубе, просто на улице, никогда нельзя будет прийти к нему домой, в его, как он говорил, «гнездо», увидеть его дома у себя, услышать по телефону. Он жил всегда и, казалось, будет жить бесконечно, потому что это с нами может произойти то-то и то-то, а с ним никогда — ничто не могло изменить его.

Он и умер так, как жил — на всем бегу, не умер, а просто отлетел. Потому и нет ощущения этой смерти, потому и нельзя представить себе, что мы больше никогда не увидим его.

Прощай, Юрочка. Спасибо тебе за все.

Феликс Светов

*2 июня 1978 года
Москва*

K

Дорогая Галя!

Даты — это только предлог. Вот мы ими и пользуемся. С Большим театром связаны лучшие годы твоей жизни. Вспоминая это, мы хотим сказать тебе то, что ты и сама давно знаешь — мы любим тебя. Любим и радуемся каждому твоему концерту, каждому твоему выступлению, радуемся все возрастающему успеху твоему. И хотя тот самый Зритель, которому ты доставляла на протяжении стольких лет радость, лишен сейчас этой радости, мы верим, что ты ещё встретишься с ним. Настанет день — и твой голос прозвучит со сцены того театра, которому ты отдала столько сил и любви, а мы, где бы мы ни находились в тот радостный день, присоединимся к овациям, которыми встретит тебя любящий и никогда не забывающий тебя москвич. Да будет стыдно тем, кто оттягивает наступление этого дня.

В ожидании же его, продолжай радовать нас, друзей твоих, и всех, кто заполняет сейчас лучшие концертные залы мира.

Будь же радостна и весела, дорогая Галя, — ты заслужила это своим талантом, своим трудом.

Редакция «Континента»

4. 4. 1979

«Галина Вишневская одна — это весь Большой театр Советского Союза вместе с его кордебалетом...»
«Франс Суар», Франция

«В своем исполнении Галина Вишневская достигла красот, которые уже за пределами воображения.»
«Вашингтон Пост», США

«Назовите это парадоксом, но певица, изгнанная, отвергнутая Большим театром, предстает перед нами королевой этого русского искусства пения, этой головокружительной силы голоса, этого трагического расцвета, этого тончайшего легато и в то же время этой театральной подачи, где каждый жест кропотливо введен в ритуал и переводит скульптурную позу в движение и смысл музыки, давая телу физическую полноту аккомпанеента, воплощенного лиризма.»

«Монд», Франция

«Флория Тоска — Вишневская пронеслась в Метрополитен Опера как блестящая комета...»
«Нью-Йорк Таймс», США

«В лице бесподобной Вишневской я встретил талант и голос, которых ждал всю жизнь...»
Бенджамен Бриттен